
Литературная
сказка
пушкинского
времени
Литературная
сказка
пушкинского
времени





Литературная сказка пушкинского времени







Литературная сказка пушкинского времени



МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» 1988







84 Р1
Л 64

Составление, вступительная статья
и комментарии
Н. А. Тарховой

Иллюстрации
Н. Г. Гольц

Л $\frac{4702010100-1636}{080(02)-88}$ 1636—88



ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ СКАЗКИ

Литературная история русской сказки начинается только во второй половине восемнадцатого столетия. До этого времени на протяжении веков она хранилась в памяти народной, как и песни, былины, пословицы, и на протяжении веков была на Руси самым гонимым жанром.

«Басни баять», «сказки сказывать небылые» (видимо, волшебные.— *Н. Т.*) запрещалось еще древнерусскими проповедниками и правительственными указами. В учебнике юношества XVIII века — книге «Юности честное зерцало» — рекомендуется «всяких побуждений к злочинству и всякой злой прелести бегать, яко: блудных писем, блудных повестей, скверных басен, сказок, песней, историй, загадок, глупых пословиц и ругательных забав и издевок, ибо все сие есть мерзость перед Богом...»[1] (определением «скверные» обозначены в перечне самые популярные жанры народной поэзии).

Почти не встречается текстов народных сказок в древней рукописной литературе (тексты былин и старинных повестей записывали, сохранились многочисленные сборники). А сказку считали недостойной записи писцы и книгочеи даже и восемнадцатого века — нет на его протяжении сказочных рукописных сборников. Это неприятие сказки, небрежение ею отражает традиционное официальное отношение к ней, сложившееся еще во времена скоморошества. Лишь в архивных делах «Тайной канцелярии» (при Екатерине II) встречаются записанные тексты сказок: как и в старину, их запрещалось рассказывать, следовательно, подслушивали и доносили.

Но для всего населения России «злая прелесть» сказки оказывалась непреодолимой никакими запретами — ее рассказывали на протяжении веков, передавали от поколения поколению и любили в равной степени в крестьянской избе и в барских хоромах.

Об обычае рассказывать сказки взрослым и детям свидетельствуют воспоминания таких разных писателей, как Д. И. Фонвизин и С. Т. Аксаков, об этом упоминается в произведениях А. Н. Радищева, И. И. Дмитриева и других. И. А. Крылов в комедии «Кофейница» сообщает об особой крестьянской повинности — рассказывать по вечерам барыне сказки, пока не заснет. А в «Записках...» А. Т. Болотова подобный эпизод рассказан о фельдмаршале Апраксине: «Пришед к фельдмаршалу, не мог я внутренне не рассмеяться тому, что здесь увидел»,— а увидел офицер в кибитке командующего солда-

---

[1] Е л е о н с к и й С. Ф. Сказки в быту и рукописной литературе XVIII века.— В кн.: Ученые записки МГПИ им. Потемкина, т. XXXIV.— М., 1954, с. 89.

та-гренадера, который во все горло рассказывал ему на сон грядущий сказку. «Низкое» занятие это во время большой войны поразило молодого человека, и он не смог удержаться от упрека: «То-то прямо приличное упражнение для фельдмаршала такой великой армии и в такое время»[1].

Искусство рассказывать сказки ценилось на Руси высоко. Имена двух сказочниц вошли в историю русской литературы — это ключница Пелагея из семьи Аксаковых и няня Пушкина Арина Родионовна. Иногда умение «сказывать сказки» становилось профессией, добывало средства к существованию: «Потешники странствовали из одного места в другое, нанимаясь за деньги на всякие увеселительные должности. Сказки и песни записывались дворецкими на тот случай, когда не будет потешников»[2]. Это явление было распространено в восемнадцатом, а, возможно, еще шире и в начале девятнадцатого столетия.

В 1797 году газета «Московские ведомости» поместила такое объявление: «Некоторой слепой желает определиться в какой-либо господский дом для рассказывания разных историй с разными повестями, со удивительными приключениями и отчасти русских сказок»[3].

Текст этот нуждается в особом комментарии, потому что он явно принадлежит человеку, знакомому с содержанием русских сказочных сборников. Они появились в последние десятилетия восемнадцатого века и оказали огромное влияние на развитие всей русской литературы и литературной сказки в частности.

Прочитать (а не услышать) сказку русские люди впервые смогли именно в этих сборниках, выходивших в 1780—1790 годы. Составленные М. Д. Чулковым, В. А. Левшиным, М. В. Поповым, П. Тимофеевым и другими литераторами, сборники носили заглавия «русских», «славянских», «древних» сказок и представляли собой попытку создания сказочного предания, аналогичного европейскому волшебно-рыцарскому роману.

Содержание этих сборников составили переложения европейских рыцарских романов, «русифицированных» материалом былин, волшебные и фантастические повести, пересказы сказок о феях, русских волшебных и восточных сказок; в виде эпизодических вставок в популярные романы включались и бытовые русские сказки (о ворах, монахах, ведьмах, суевериях, солдатские сказки и т. д.) для придания им народного колорита и занимательности.

Использование в сборниках материала исторической старины, былинного эпоса, народной сказки, изобретение «древнерусской мифологии» — все это черты осознанной деятельности по созданию русского или общеславянского предания, сообщения ему черт национальной достоверности. В. А. Левшин в предисловии к сборнику «Русские сказки», вышедшему анонимно, так формулировал эту направленность работы: «Романы и сказки были во все времена у всех народов;

[1] Елеонский С. Ф. Там же, с.87.
[2] Сахаров И. П. Русские народные сказки.— СПб., 1841, с.65.
[3] Елеонский С. Ф. Цит. изд., с.87.

они оставили нам вернейшие начертания древних каждыя страны народов и обыкновений»[1].

И хотя русская сказка занимала в этих сборниках далеко не главное место, хотя все сказки были в них «пересказаны», а иногда сильно переделаны составителями, значение сборников огромно — они в конце XVIII века популяризировали почти все наиболее распространенные в народной русской традиции сказочные сюжеты. С них началось проникновение сказочной стихии в литературу, без учета сказочных сборников невозможно представить себе развитие русской литературы в конце XVIII — начале XIX столетия, — так велико было их влияние.

Об огромной популярности левшинско-чулковских сборников сказок свидетельствуют и порожденные ими новые жанры в литературе и в театре, материалом их пользовались исследователи и теоретики литературы. А. Калайдович, например, изучал их как достоверные источники народного творчества, а А. Ф. Мерзляков в «Краткой риторике» давал определение литературной сказке как жанру, опираясь на материал этих сборников, и оно сходилось с левшинским, приводимым выше: литературная сказка, по Мерзлякову, основана на «народных рассказах и несбыточных чудесностях», «времена рыцарские и баснословные царства фей есть обыкновенные магазины для сего рода сочинений»[2].

Русские писатели конца XVIII века откликнулись на возросший интерес к сказке. Сказки писали А. П. Сумароков, И. И. Хемницер, И. И. Дмитриев и даже Екатерина II. К русским же национальным сказочным сюжетам обратился только Сумароков, который переложил стихами две бытовые сказки («Мужик у мужика украл с двора корову...» и «Жил некакий мужик гораздо неубого...»), под его пером они приобрели характер анекдота, короткого и соленого. Сказки Хемницера (в жанровом отношении они неразличимы с его же баснями) ориентированы на традицию французской нравоучительной, а Екатерины II — на жанр волшебно-аллегорической европейской сказки. Все эти произведения — только подступы к освоению сказочного жанра. Отечественная словесность XVIII столетия имеет единственный пример плодотворного обращения к нему — это сказки И. И. Дмитриева, создававшиеся в 1790—1800 годы.

В 1823 году П. А. Вяземский в предисловии к шестому изданию «Стихотворений Ивана Ивановича Дмитриева» особо отметил его заслуги в работе над сказками. В сочинении басен, писал Вяземский, «видели мы поэта счастливым победителем предшественников и образцом, открывшим дорогу последователям и соперникам. В сказках *найдем его одного* (курсив наш. — *Н. Т.*): ни за ним, ни до него никто у нас не является на этой дороге... Наш отличный сказочник соединяет в себе все, что составляет и существенное достоинство и роскошество таланта в сказочниках, которые и у всех народов на счету. Нигде не оказал он более ума, замысловатости, вкуса, остроумия, более сти-

[1] Русские сказки.— М., 1780, т.1, с. 2.
[2] Мерзляков А. Ф. Краткая риторика. М., 1809, с.70.

хотворческого искусства, как в своих сказках; оставь он нам только их, и тогда занял бы почетное место в числе избранных наших поэтов...»[1].

Дмитриев тяготел к жанру нравственно-философской сказки, получившей широкую популярность во французской литературе (Лафонтен, Вольтер, Флориан и др.). Чаще всего это был шутливый, несколько фривольный сюжетный рассказ о нравах общества. Сказочный, фантастический элемент носил в нем условный характер, повествование привлекало занимательностью, остроумием и легкостью.

Уже первые сказки писателя, «Картина» (1790) и «Модная жена» (1791), явились новым словом в русской поэзии и поражали своей оригинальностью и самобытностью. В них нет ничего фантастического. Они скорее сатирические сюжетные картины нравов. В первом случае петербургских,— это рассказ о мытарствах художника, работающего по заказу князя-сумасброда, и одновременно поэтическая картина жизни Петербурга. Сюжет второй сказки откровенно восходит к новиковским сатирам в журнале «Живописец» — он о развратных московских дворянах (молодая жена обманывает старого мужа и ловко устраивает свидание с любовником в собственном доме). Главная удача сказки в создании характеров героев — диалоги, в которых они раскрываются, исполнены естественной живости, психологически точны. Они были новостью поэзии своего времени, как и весь стиль рассказа, живой, шутливый, непринужденный.

Сказку «Причудница» (1794) Вяземский назвал «драгоценнейшим жемчугом» его (Дмитриева) поэтического венца»[2] и увидел в ней нравственно-философскую проблематику: пресыщение и скука от счастья, неумение ценить благосклонность судьбы, ветреность и неблагоразумие в желаниях он счел принадлежностью и русской жизни своего времени.

Отметим еще раз особое положение Дмитриева среди русских писателей: на протяжении почти трех десятилетий его сказки являлись недосягаемым образцом. Впрочем, большинство писателей рубежа восемнадцатого и девятнадцатого веков пробовали свои силы на ином «сказочном» поприще — в жанре богатырской поэмы. Ее называют в исследовательской литературе «богатырской повестью в стихах», «поэмой-сказкой», «сказочной богатырской поэмой». Жанр возник под несомненным влиянием сказочных сборников и отражает всеобщее увлечение историей в конце XVIII века.

Поэмы-сказки использовали национально-фольклорный материал и писались чаще всего былинным стихом: «Илья Муромец» Н. М. Карамзина, «Добрыня» Н. А. Львова, «Бова» А. Н. Радищева, «Альоша Попович» и «Чурила Пленкович» Н. А. Радищева (сын), «Бахариана» М. М. Хераскова, «Громвал» Г. Каменева и другие. Независимо от того, ориентированы писатели на штампы рыцарского романа (как Карамзин, Херасков, Андреев) или, наоборот, внутренне полемизируют с ними (как оба Радищева, Каменев), сюжеты их поэм заимствованы из сборника Левшина, они крайне фантастичны и запутан-

[1] Дмитриев И. И. Стихотворения, ч.1.— СПб., 1823, с. XLI—XLII.
[2] Там же, с. XLIV.

ны, а все герои — русские богатыри — поставлены в ситуации, ничего общего с былинными не имеющие.

Богатыри этих поэм-сказок рисовались по образцам европейского рыцарства и преподносились в этом виде читателям как герои Древней Руси. История, старина была интересна авторам не своей действительной сложностью, а привлекательна как идиллия, куда можно скрыться от современных «бедствий».

Природа идеализирована в них на манер швейцарской Аркадии, в народный жизненный уклад перенесены черты уклада западного — от Аттилы до рыцарства. Мифологические славянские персонажи соседствуют с европейскими и скандинавскими: Баба-Яга с Венерой, Перун с Одином, Лада и Святовид — со скальдами и валькириями.

Сказочно-богатырские поэмы создавались по одному оссиановскому или сентиментально-классическому образцу, как позднее по романтическо-рыцарскому рецепту — сказки и исторические повести вплоть до Кюхельбекера и Бестужева-Марлинского.

Как видим, воздействие чулковско-левшинских сборников на формирование собственно русской литературной традиции продолжалось вплоть до конца 1820-х годов.

Для иллюстрации несколько слов о «богатырской сказке» Карамзина «Илья Муромец» (1794), в основу которой положен сюжет популярной сказки «Царь-девица». Как и другие, писатель обращается к русскому эпосу без цели проникнуть в его художественную атмосферу. Русская древность явилась в поэме торжественной и идиллической утопией, а ее герой превратился в благородного и сентиментального рыцаря.

В поэме сведены эпический богатырь и героиня народной сказки, наделенные теми же чертами, что и сам автор. Так, не однажды говорится о «нежном сердце» и «чувствительной душе» Ильи Муромца, который воспринимает красоты природы наравне с персонажами сентиментальных повестей.

Идейная сторона поэмы — противопоставление трагической и непостижимой действительности утешающей иллюзорности искусства — в сюжете почти не выражена, ей посвящены пролог и многочисленные лирические отступления. Герои в поэме разыгрывают идиллический сказочно-рыцарский дуэт, а автор утверждает свое понимание поэзии, которая для него «игра» и «призрак истины», и уводит его от горестей жизни:

Ах! Не все нам реки слезные
лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
в чародействе красных вымыслов!

Среди сказочных русских поэм лишь одна выделяется относительной независимостью. Это поэма Г. Р. Державина «Царь-девица» (1812), в которой использованы мотивы, идущие непосредственно из устной традиции, и обработаны они почти без оглядки на сказочные сборники.

Державин, единственный, ставил своей задачей создание целостного народно-поэтического образа, являющегося основой произведения. Он отступает от чулковской сюжетной схемы, свободно комбинирует сказочные мотивы, подчиняя их своей задаче.

Царь-девица народных сказок — это «мудрая дева», «дева-богатырка». Именно эти ее черты выделяет поэт и им подчиняет фабулу своей поэмы, свободно перекраивая сюжет сказочных сборников в соответствии со своим замыслом и дополняя повествование деталями и мотивами, заимствованными из других — устно-поэтических текстов. В результате им создан едва ли не единственный в то время сказочный образ, близкий народной устной традиции.

Сказочные сборники и богатырские поэмы влияли в начале XIX века на жанр театрального эпического представления с музыкой, стиховыми партиями, пением. Среди этих произведений, широко использовавших колорит «национальной старины», знаменитая «Днепровская русалка» Н. С. Краснопольского (1803), оперы «Князь-невидимка» Е. Лифанова (1805) и «Илья-богатырь» И. А. Крылова (1806), театральное представление с музыкой «Добрыня» Г. Р. Державина (1804) и комическая опера «Богатырь Алеша Попович, или Страшные развалины» В. А. Жуковского (1804—1808), оставшаяся в рукописи.

Развитие русской литературы начала XIX века невозможно понять и осмыслить вне проблемы ее национального своеобразия. Победа в Отечественной войне 1812 года открыла новый период в отношении к народу; в истории развития русской общественной мысли возникла идея «народа» как активной исторической силы. Обострилось внимание культурных слоев к положению крестьянства, его мировоззрению и искусству.

Проблема народности стала одной из важнейших в литературе эпохи романтизма. Многие литераторы и теоретики литературы начинают признавать в это время фольклор частью русской общенациональной культуры. Пробуждается бурный интерес к народному творчеству, начинается интенсивная собирательская работа в области языка и фольклора, к которой оказываются причастными почти все писатели 1820-х годов.

В это время расширяются литературно-фольклорные связи, фольклорные жанры и сказка в частности проникают все шире в литературу; начинается теоретическое осмысление методов их взаимодействия.

Романтическая литература, развивая национально-историческую проблематику, усиливала сознательную ориентацию на старину. В. К. Кюхельбекер писал в 1824 году: «Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности»[1], — четко выражая декабристскую патриотическую идею.

[1] Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие.— «Мнемозина», 1824, №2, с. 42.

Эта «установка на старину», на народное предание способствовала проникновению сказки в 1810—1820 годы почти во все жанры литературы — в басню, балладу, рассказ, поэму, повесть. Однако отмеченное еще А. Н. Веселовским смешение исторического, мифологического, волшебно-сказочного пластов в сочинениях, обращенных к старине, надолго остается ведущим методом.

В литературной практике 1810—1820-х годов множество произведений в целях обогащения литературы, внедрения в нее новой проблематики эксплуатирует сказочный материал — баллады и сказочные повести Жуковского, басни А. Е. Измайлова, поэмы В. Л. Пушкина, В. К. Кюхельбекера, А. К. Дуропа, повести А. А. Марлинского, сказки М. П. Загорского, К. Н. Батюшкова, Е. Б. Кульман. В массе эти произведения по-прежнему используют национально-фантастические мотивы сказочных сборников; своей народной основой выделяются лишь «Светлана» Жуковского и «Руслан и Людмила» Пушкина.

Приведем два достаточно выразительных примера обращения писателей к народной сказке; они красноречиво свидетельствуют о том, какие возможности это открывало в литературе.

В основе сатирической поэмы-сказки А. Полежаева «Иман-козел» (1825) — сюжет о попе, который надел козлиную шкуру с рогами, чтобы напугать бедняка, нашедшего клад, и отобрать деньги. В наказание шкура намертво приросла к попу-разбойнику.

Этот сюжет был весьма распространен в народе и расценивался в 1820-е годы как свидетельство растущего неуважения к духовенству. Антипоповская поэма возникла на материале сказки, считавшейся «творимой легендой», и потребовала от автора некоторой маскировки — отсюда «восточный колорит» ее и иронический тон повествования, как бы вышучивающий само происшествие. Но сюжет, характеры персонажей, последовательность событий, общий дух поэмы сохраняют черты народной сказки.

А М. Н. Макаров создал сказку, которая называлась «Кривич-христианин и Ягая» (1827) и восходила к сюжету «Ивашка и ведьма» и «Терешечка». Она превратилась в историю, рассказывающую о падении в Древней Руси идолопоклонства и распространении христианства. Эта первая в истории русской фольклористики сознательная фальсификация народной сказки — случай крайней тенденциозности в обработке сказочного сюжета.

В 1820-е годы были сделаны, но еще очень немногочисленные, попытки популяризировать в литературе саму народную сказку. В 1829 г. опубликованы сказка В. Н. Олина «Кумова постеля» (о разбойнике, покумившемся с дьяволом), «Медведь-костолом» и «Кикимора» О. М. Сомова, анонимные сказки «Дьячок-колдун» и «Домовой». За исключением сказок Сомова, серьезно работавшего над формой передачи народного рассказа, они не представляют интереса по своим художественным достоинствам — слишком зыбки по языку, характеризуются размытостью черт и жанровой неопределенностью.

Как и в начале века, отчетливыми признаками жанра обладали переводные сказки. В этом плане представляют интерес переводы европейских сказок А. П. Зонтаг.

Ее работа прежде всего характеризуется тем, что адресована впрямую детям. Кроме того, писательница достаточно профессионально относится к материалу: будучи племянницей Жуковского, Зонтаг с молодых лет разделяла его интерес к фольклору, а позднее участвовала в замысле создания сказочной антологии для детей (вместе с Жуковским и А. П. Елагиной), к сожалению, не осуществившемся.

Еще в 1825 году Зонтаг перевела несколько сказок Ш. Перро, и они были напечатаны в журнале «Детский собеседник» Н. И. Греча (до сих пор эти переводы приписывают иногда Жуковскому, потому что издатель уведомил публику, что сказки представлены в журнал поэтом; переписка Зонтаг с Жуковским и последующие перепечатки сказок в сборниках Зонтаг рассеивают это недоразумение). Это «чистые» переводы с французского, индивидуальность писательницы мало в них проявляется.

Публикуемая в сборнике сказка «Девица-Березница» (1830) являет пример более интересной работы: это переложение немецкой сказки, в которой переводчица сохраняет сюжетную основу, но все детали как бы приближает к восприятию русских детей. Кроме того, она подробно описывает обычно лаконичные в сказках действия персонажей. В сказку включено множество сведений из разных областей жизни: описана болезнь (с подробностями, невозможными в классической сказке), картина стряпни в доме, выпечки каравая, сбора березового сока и проч. Все это картинки живые, непосредственные, часто увлекательные, но и чужеродные в сказке, что не может не чувствоваться. Такой принцип работы переводчица сохраняет во всех своих «вольных» переводах. Благодаря простоте и задушевности сказки А. П. Зонтаг приобрели в свое время большую известность, сегодняшнему читателю они неизвестны совсем.

К началу 1830-х годов — моменту возникновения литературной сказки — накопился разнообразный опыт обращения писателей со сказочным материалом. Романтическая эпоха принесла немало значительного в этой области. Особое место принадлежит сказкам Антония Погорельского (псевдоним А. А. Перовского) и В. Ф. Одоевского.

Писатели эти, быть может, самые яркие фигуры русского романтизма, развивались под сильным воздействием немецкой литературы и философии и вели свои поиски в иной сфере, нежели все другие русские «сказочники» 1830-х годов, работа и споры которых сосредоточились вокруг русской фольклорной сказки.

С ними пришла в русскую литературу романтическая фантастика. Таинственный и сложный мир их произведений знакомил читателей с проблемами, поднятыми немецкими романтиками: темой мирового зла и трагического уклонения человека с правильного пути, горьким опытом столкновения поэтического сознания с прозаическим миром,— литература вступала на путь осмысления неидеальной действительности и противоречивой природы человеческого духа. И жанр литературной сказки оказался для обоих писателей соотносимым с этой проблематикой.

Сказку «Черная курица, или Подземные жители» (1829) Перовский писал для своего племянника и воспитанника А. К. Толстого, будущего писателя. Сюжет ее отчасти сходен с повестью Л. Тика «Эльфы» и с немецкими сказаниями о гномах — в обоих случаях легкомыслие и болтливость человека разрушают благополучие подземного народа.

Как и в повестях для взрослых, Перовский мастерски балансирует в «Черной курице» на грани между реальным и фантастическим. Жизнь подземного народа, общение с ним — это сторона фантастическая, она присуща сознанию ребенка и потому полна ярких картин, чудесных превращений, но и недосказанности, тайны.

Здесь — увлекательная фабула, действие причудливо и полно движения, и с реальностью оно соотносится отнюдь не по законам «взрослой» логики. В то же время фантастическое, увлекательное повествование все время связано с пробуждающимся этическим сознанием ребенка, который вдруг почувствовал себя не просто причастным к тайне подземных жителей, но ответственным за несчастье целого народа. Сознание своей вины, непоправимости всего совершившегося готово лечь страшной тяжестью на его душу, но полученное прощение устремляет душевные силы мальчика к добру.

Реальная же сторона жизни лишена всех таинственных покровов. С юмором и добродушной иронией рассказывает писатель об окружающих Алешу людях и все время старается вскрыть разлад между миром взрослым и детским, показать, как важность и значимость событий «взрослого» мира (вроде приезда инспектора в пансион, где учится мальчик) непонятна и скучна ребенку.

В этой сказке фантастика Перовского становится доброй и светлой и действует на лучшие стороны детского восприятия.

Приобщение к сказочному творчеству В. Ф. Одоевского началось со сборника «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ» (1833 г.). Это не сказки в собственном понимании слова, а придуманные истории с невероятным сюжетом, в которых изложены волнующие писателя проблемы его времени.

Написанные в гротескно-фантастической манере, «Пестрые сказки» представляли собой произведения, критически истолковывающие современную действительность, где в невероятную ситуацию вплетены многочисленные черты реального быта.

Писатель идет от общего понимания XIX века как времени мелких интересов, материализма и пошлости (сказка «Реторта») к сатирическому обличению отдельных сторон жизни: чиновничьего мира, бюрократизма, пошлости и равнодушия светского общества, недостатков женского воспитания «на заграничный манер». Одоевский в «Пестрых сказках» предваряет манеру Гоголя, используя фантастическую форму для сатирического изображения вполне реальных людей и поступков.

Занятия педагогикой привлекли внимание писателя к детскому миру. «Дети показали мне всю скудость моей науки,— писал он.— Стоило поговорить с ними несколько дней сряду, вызвать их вопросы,

чтобы убедиться, как часто мы вовсе не знаем того, чему, как нам кажется, мы выучились превосходно»[1].

Педагогические идеи получили развитие в детских произведениях писателя, начиная с «Городка в табакерке» (1834), о котором Белинский писал: «Она (сказка) принадлежит к разряду фантастических повестей: через нее дети поймут жизнь машины, как какого-то живого, индивидуального лица, и под нею не странно было бы увидеть имя самого Гофмана»[2]. В 1841 г. все написанное для детей объединилось в сборнике «Сказки и повести для детей дедушки Иринея» (был напечатан только первый том задуманного двухтомника).

От современной ему детской литературы произведения Одоевского отличали занимательная фабула, изящество, задушевность, ясный и чистый язык, в них мало прописной морали и нравоучений. Недаром поколение, детство которого совпало с 1840—1850 гг., считало, что «Червячок» и «Городок в табакерке» составляют одно из самых милых воспоминаний юных лет»[3].

Просветитель и педагог, Одоевский избирал для детских сказок такие сюжеты, фантастические или реальные, которые расширили бы представление детей о мире, всегда бы несли новые знания и понятные детям идеи о добре и смысле человеческой деятельности: в «Червячке» рассказывается о метаморфозах бабочки; в основе других сказок — реальные сюжеты об истории лошади («Гнедко») и уличного музыканта («Шарманщик»), о судьбе французского архитектора-самоучки Андрея Рубэ («Столяр») и крестьянской сироте Насте, которая, выучившись в городе, возвращается в деревню учить и воспитывать крестьянских детей («Сиротинка»). А в драматической сказке для театра марионеток «Царь-девица», яркой и ироничной, писатель внушает детям мысль о преимуществе разума и знания, побеждающих силу и хитрость.

«Сказки дедушки Иринея» были исключительным явлением своего времени. Белинский о них писал: «...в настоящее время русские дети имеют для себя в дедушке Иринее такого писателя, которому позавидовали бы дети всех наций. Узнав его, с ним не расстанутся и взрослые... А какой чудесный старик! Какая юная благодатная душа у него! Какой теплотой и жизнью веет от его рассказов и какое необыкновенное искусство у него заманить воображение, раздражить любопытство, возбудить внимание иногда самым, по-видимому, простым рассказом»[4].

Начало 1830-х годов стало, по мысли современного исследователя, временем формирования жанра русской литературной сказки, специфической особенностью которой было стремление овладеть «систе-

[1] Одоевский В. Ф. Русские ночи.—Изд-во «Путь», 1913, с.10.
[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 10-ти тт. Т. IV, с.109.
[3] Кони А. Ф. Князь В. Ф. Одоевский.—СПб., 1903 (отдельный оттиск из «Журнала для всех»), с. 90.
[4] Белинский В. Г. Цит. изд., т. IV, с.107.

мой типичных для народной сказки образов, ее языком и поэтикой»[1]. В это время сказка перестает быть только материалом в работе литераторов, в их глазах она приобретает самостоятельное значение как создание творческого гения народа, имеющее свою эстетическую ценность.

Трудно перечислить имена всех причастных к процессу создания литературной сказки: А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, В. И. Даль, П. П. Ершов, О. М. Сомов, Н. М. Языков, Н. А. Полевой, П. А. Катенин, Н. А. Некрасов... Народный сказочный материал стал основой романа А. Ф. Вельтмана «Кащей бессмертный», повестей Н. В. Гоголя, М. Н. Загоскина, А. А. Бестужева-Марлинского... Вслед за «великими» к сказке обратились И. Ваненко (И. И. Башмаков), А. С. Орлов, К. А. Бахтурин, В. Ф. Потапов, С. Д. Дьячков, И. Гурьянов, И. П. Штевен и другие писатели.

Составившие со временем «золотой фонд» литературы для детей, сказки этой поры создавались, как правило, не для детского чтения. В сложный период становления национальной литературы народной сказке выпала ответственная роль сделаться арсеналом средств для обновления и демократизации ее языка, могучим источником новых тем, образов и представлений, связывающих литературу с народным самосознанием.

Сказка сама стала предметом и средоточием острейшей литературно-общественной борьбы, потому что с ее помощью пытались доказать справедливость своих оценок народного характера и народных идеалов представители разных общественных течений.

Летом 1831 года в Царском Селе происходило своеобразное поэтическое соревнование: Пушкин и Жуковский решили написать по сказке в народном духе. Так появились «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о царе Берендее...», само же соревнование обернулось литературным спором, в который оказались втянуты многие современники.

Исходя из одной, казалось бы, идеи и одного материала (сказок Арины Родионовны, которые Пушкин слушал и записал в Михайловском), поэты создали произведения, обнаружившие разный подход не только к народно-сказочному миру, но и разное понимание народного творчества вообще. И, как показало время, спор этот был актуален не только для них двоих.

Фольклорные интересы Пушкина на протяжении его жизни хорошо изучены, они — этапы его пути к народности. Понимая фольклор как одну из форм постижения народного духа и одновременно как способ его выражения, поэт к началу 1830-х годов отчетливо осознал значение фольклора и роль народной поэзии в создании национальной литературы.

Синтез всех фольклорных элементов Пушкин видел в сказках.

Особое место сказки среди произведений народного творчества, ее живая связь с народным самосознанием, видимо, были ясны поэту

[1] Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX в.— Петрозаводск, 1959, с.149.

достаточно рано. В своем обращении к сказке он как бы прошел все этапы, которые были пройдены и русской литературой в целом на пути ее освоения: в лицейских сказках «Фатам» и «Бова» Пушкин осваивал французскую философскую сказку (типа вольтеровской) и пересаженный на русскую почву волшебный рыцарский роман, в «Руслане и Людмиле» — материал чулковско-левшинских сказочных сборников, а в стихотворениях «Жених» и «Гусар» — материал русской и малороссийской сказок.

Обращаясь к народной сказке, поэт интуитивно нашел свой собственный метод работы над нею, родственный методу русских сказителей. И, создавая сказку, свободно отбирал сюжет, детали, мотивы из разных источников — русских и иностранных, устных и книжных, заботясь о главном: передать точно дух народного произведения, сохранить верность его структуре, то есть воспроизвести тип подлинной фольклорной сказки, сохранить народный взгляд и народное понимание ее смысла.

Каждая сказка Пушкина — как бы действующая модель, созданная по фольклорной системе, но не только из фольклорных материалов. Смысл работы — в воспроизведении национального сознания. Если это удается, то не важно, из каких кирпичиков строится целое.

Это прекрасно иллюстрирует история создания «Сказки о рыбаке и рыбке». Очень долго ее считали «самой народной» у Пушкина. Вс. Миллер, исследователь конца прошлого века, считал, что поэт заимствовал ее сюжет из фольклора, плененный «ясностью и нравственной чистотой» его, и, обработав, «возвратил народу алмаз в форме бриллианта чистейшей воды»[1].

Но среди русских сказок нет сюжета, аналогичного пушкинскому! На европейской территории России и в Сибири распространена совсем иная формула подобного народного сюжета (желания исполняют чудесное дерево, святой, живущий на дереве, птичка-дрозд, коток — золотой лобок, грош; завершается сюжет всегда превращением старика и старухи в зверей — медведей, свиней, быка и свинью. И ни в одной сказке нет ни рыбки, ни моря).

Пушкинская же сказка близка к европейской традиции, всего более — к варианту, изложенному в сборнике братьев Гримм. Как и у Гриммов, у Пушкина желания исполняет рыбка (в немецкой сказке — камбала), в обоих случаях сохраняется последовательность желаний, одинаково изменяется морской пейзаж по мере роста аппетитов старухи — от тишины к буре. Однако русский поэт очень значительно отступает от немецкого источника: он прежде всего различает в сюжете характеры старика и старухи — одну делает властной, алчной и жестокой, в другом оттеняет смирение и покорность до полного порабощения (у Гриммов старик и старуха вместе пользовались благами, полученными от рыбки), и это сразу придает сказке русский, а не европейский колорит. А кроме того, сокращает цепь желаний (старуха в немецкой сказке пожелала стать богом и папой, что ни в какой

[1] Цит. по кн.: Азадовский М. Литература и фольклор.— Л., 1938, с: 66.

степени не свойственно русскому сознанию) и вводит еще одну деталь, которой, конечно, нет у Гриммов,—корыто, с него начинает и им заканчивает сказку.

Черты национального характера, общее представление о русской жизни, сам склад русских понятий настолько преобладают в сказке, что она гораздо раньше других пушкинских произведений была усвоена устной традицией. Уже в сборнике Афанасьева, материалы для которого собирались в 1840—1850 годы, напечатана сказка, повторяющая пушкинскую, которую долго считали ее «единственным на русской почве источником»[1].

Из всех пушкинских сказок на устную традицию целиком опирается только «Сказка о попе и работнике его Балде» (она вся из устной поэзии), в других случаях важную роль играют западноевропейские, книжные и почерпнутые из них международные фольклорные сюжеты. Источниками для поэта были сборники Кирши Данилова и Чулкова, французские переводы гриммовских сказок, «Сказки 1001 ночи», сказочные новеллы В. Ирвинга, записи русских народных сказок»[2].

«Сказки» Пушкина явились одной из крупных вех в истории русской литературы. Они знаменовали новый метод усвоения народной поэзии и утверждали новую точку зрения на народность литературы (через несколько лет она была утверждена писателем в романе «Капитанская дочка»). Это было вторжение в литературу подлинно народной стихии.

Современники пристально следили за работой Пушкина над сказкой. Почти никто не сомневался в высоком качестве ее, но цель и смысл почти никому тогда не были ясны. Пушкин, как всегда, шел далеко впереди своего времени. Самой распространенной позицией среди русских литераторов по отношению к фольклору было неприятие именно первозданного народного, стихийного его начала. По мнению большинства, сказка могла стать основой произведения литературного лишь в случае устранения из нее всего «неблагородного» и «низкого». Так думали В. А. Жуковский, А. А. Дельвиг, П. А. Плетнев, Н. М. Языков, Н. В. Станкевич и многие другие.

Позицию эту точно отражает письмо Е. А. Баратынского, который писал о «Сказке о царе Салтане»: «Царь-Салтан — совершенно русская сказка, и в этом, мне кажется, ее недостаток. Что за поэзия — слово в слово привести в рифму Еруслана Лазаревича или Жар-птицу? И *что это прибавляет к нашему литературному богатству* (курсив наш.— *Н. Т.*). Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде или соберем их в одно полное целое, которое настолько бы их превосходило, сколько хорошая история превосходит современные записки»[3].

[1] Майков В. Сказка о рыбаке и рыбке Пушкина и ее источники.— «Журн. мин-ва народн. просвещ.», 1898, №5, с. 154.

[2] Азадовский М. Источники сказок Пушкина.— В кн.: Пушкин, Временник Пушкинской комиссии. Т. I.— М.—Л., АН СССР, 1936.

[3] Татевский сборник С. А. Рачинского.— СПб., 1899, с. 49.

Кс. А. Полевой увидел в сказке поэта старание «превратиться в старинного русского рассказчика», но счел это бегством от современности, отказом от запросов времени»[1].

Полемика вокруг сказки завязалась надолго и не только в критических статьях, письмах и беседах современников, но и в творчестве новых «сказочников», среди которых у Пушкина единственный последователь и единомышленник — П. П. Ершов.

Сказка «Конек-горбунок» была написана автором в возрасте 19 лет, и когда П. А. Плетнев весной 1834 года прочел ее в университетской аудитории, среди слушателей находился и Ершов, тогда еще студент. Но по значению, народности, по степени популярности в последующих поколениях она занимает место рядом с пушкинскими сказками.

Биограф Ершова и товарищ его юности А. К. Ярославцев рассказывает в своей книге легенду о том, как Пушкин, ознакомившись с «Коньком-горбунком» (сказка вышла отдельной книгой в 1834 г.), сказал: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить»[2], — то есть увидел в Ершове соратника и преемника себе. Автор «Горбунка» подражает «Сказке о царе Салтане», единственной из пушкинских сказок, к тому времени напечатанной, усваивает ее язык, стиховой размер, систему рифм. Но главное — он постиг жанровую природу фольклорной сказки и освоил народный и пушкинский метод работы над ней — метод сказителя (разрабатывать не один определенный сюжет, а творить сказку, черпая детали из разных, но оставаясь верным ее духу и смыслу).

Воспоминания Ярославцева о том, как создавалась ершовская сказка, быть может, самое авторитетное свидетельство о сказительском даре молодого писателя: «Сказка «Конек-горбунок», по вымыслу, не есть создание Ершова, она — произведение народное, и, как откровенно говорил сам автор, почти слово в слово взята из уст рассказчиков, от которых он ее слышал, только он привел ее в более стройный вид и местами дополнил»[3].

Как и Пушкин, Ершов комбинировал и по-своему интерпретировал сюжеты и мотивы разных сказок и творил целостное произведение, в котором все связано единством мира, понятий и отношений.

Прежде всего это касается героя. Традиционно в подобной сказке должен быть герой-богатырь. Ершов в «героическую» сказку вводит персонаж из другого типа сюжета — Ивана-дурака, и это перемещение требует изменить характер главного героя (Пушкин поступал так же, когда чувствовал необходимость: в его сказках аналогичным образом созданы Царевна-Лебедь, королевич Елисей, Балда). В «Коньке-горбунке» Иван-дурак на деле вовсе не глуп, а лишь носит маску глупости; соответственно меняются все нюансы его характера и поведения.

[1] Полевой Кс. О новом направлении в русской словесности.— «Московский телеграф», 1834, т. IV, с. 120.
[2] Ярославцев А. К. П. П. Ершов. Автор сказки «Конек-горбунок».— СПб., 1872, с. 3.
[3] Ярославцев А. К. Там же, с. 3.

Введенный в героическую сказку, он смешивает и смещает все ее традиционные акценты, заставляет звучать ее по-новому, нетрадиционно и свежо. Герой совмещает в себе черты «простодушного чудака», качества которого «дурацкие» лишь с точки зрения тривиального здравого смысла, он является воплощением детского начала, но в то же время наделен, по выражению Белинского, «лукавым русским умом, столь наклонным к иронии» и большим чувством независимости, что дало сюжету остросоциальный поворот[1].

Столь парадоксальные (но вовсе не противоречащие природе сказок) превращения в характере героя и расстановке сказочных сил потребовали создания и иного помощника. Вместо богатырского коня им стал Конек-горбунок, прообразом которого в фольклорной традиции В. Я. Пропп видит «замухрышку жеребенка», «шелудивого жеребенка»[2]. И как Иван в сюжете Ершова разворачивает свои достойные качества, так и сказочный конечек оказывается, по сути, настоящим богатырским конем.

В сознании читателей Ершов остался автором одного произведения, хотя писал стихи, рассказы, даже пьесу. Биограф вспоминал, что много лет писатель лелеял грандиозный замысел — «из всех русских сказок составить одну, в роде поэмы, где главным героем будет «Иван-Царевич»...» — «...сказка — сказок в десяти книгах и ста песнях»[3]. Удивительно, что писатель, создавший произведение, поставившее его имя рядом с Пушкиным, тяготел по воззрениям к традиции, им же изжитой.

«Конек-горбунок» пришел в литературу из мужицкой избы, и сказка сохранила свой крестьянский характер. Понятия и представления, реалии быта, отношения — все пронизано народным взглядом на жизнь. Это, может, самая демократичная русская сказка, недаром она пользуется такой популярностью, освоена еще в прошлом веке народными сказителями, имеет десятки подражаний — в этом у нее нет соперников.

Мир ершовской сказки еще и озорной, веселый. «Веселость» эта связана с манерой рассказывать. В пушкинские времена не знали о существовании разных «стилей» изложения у народных рассказчиков — стили повествования сказок стали открытием конца XIX века. Ершовский стиль сближается с так называемой «балагурной манерой» сказочного повествования (в 1830 г. современникам она казалась авторской), и от нее перенасыщенность «Конька-горбунка» всевозможными присловьями, поговорками, пословицами, что в принципе не характерно в таком количестве для изложения сказки. Кроме Ершова, в 1830-е годы эту манеру осваивал еще В. И. Даль.

Третьим писателем, творившим «сказочный мир», опираясь на типически конкретные черты русских сказок, был В. А. Жуковский.

---

[1] Подробнее см. об этом: Лупанова И. П. Цит. изд. Глава о творчестве Ершова.

[2] Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки.— Л., 1946, с. 154.

[3] Ярославцев А. К. Цит. изд., с. 21, 26.

Метод Жуковского отличается от пушкинского и ершовского и заключается в «облагораживании» фольклора. Хотя сказки его основаны на фольклорном материале, хотя он едва ли не чаще Пушкина вводит в их текст традиционные стилистические сказочные формулы и фольклорные словесные обороты,— общий колорит часто не является простонародно-русским.

Писатель отступает от народности в самой точке зрения на мир, во взгляде на героя и героиню, вносит в их образы черты утонченности, благородного рыцарства. Сказка интересна для Жуковского «как памятник старины, как объект для работы художника, как поэтический сюжет, но не как народная точка зрения на те или иные явления жизни»[1].

Кроме того, нельзя не вспомнить еще один важный аспект работы писателя: создавая сказки, он чувствовал себя педагогом и сам отметил эту особенность: «Надобно, чтобы в детской сказке... все было нравственно чисто, чтобы она своими сценами представляла воображению одни светлые образы, чтобы эти образы никакого дурного, ненравственного впечатления после себя не оставили — это довольно»[2],— читаем в письме П. А. Плетневу (в этой связи хочется отметить исконную «нравственность» пушкинских и ершовской сказок, которые стали со временем самым распространенным чтением даже для очень маленьких детей. Многие же сказки того времени — Языкова, например, Некрасова, Полевого — для детского чтения никак не возможны).

В 1831 году Жуковский создал три сказки. В «Берендее», написанном, кстати, гекзаметром, размером древнегреческого эпоса, популярный русский сюжет о мудрой жене литературно облагорожен: героиня, Марья-царевна, не по-сказочному нежна, женственна и утонченна, а Иван-царевич — подчеркнуто рыцарствен. Эта сказка явно проигрывала рядом с «Царем Салтаном», что было отмечено критикой: «...в ней нет того детского простодушия, той младенческой искренности, которые составляют существенную прелесть народных преданий»[3].

Работая над «Спящей царевной», Жуковский показал, как сказку иноземную можно превратить по колориту в русскую (здесь поэт как бы продолжает соревнование с Пушкиным). Такого сюжета нет в русском фольклоре, но лукавый и насмешливый стиль повествования, стих, родственный народному,— четырехстопный хорей с мужской сплошной рифмой — и национальные тона в изображении персонажей (царя, его быта, двора, царевны, ее внешности) делают эту сказку почти русской по духу, в ней осуществлена попытка запечатлеть в рассказе «русский взгляд на вещи».

Тогда же, осенью 1831 года, Жуковский написал сказку «Война мышей и лягушек». Созданная в духе «арзамасской» сатиры, она отра-

---

[1] Азадовский М. Языков.— В кн.: Языков Н. М. Собр. стих.— Л., 1948, с. XXVIII—XXIX.

[2] Жуковский В. А. Полн. собр. соч. в 12-ти тт, Т. 12.— СПб., 1902, с. 176.

[3] Надеждин Н. И. «Телескоп», 1833, ч. XIV, №5, с. 100.

жает литературную ситуацию конца 1820-х — начала 1830-х годов, когда обострилась борьба писателей пушкинского круга, сгруппировавшихся вокруг «Литературной газеты» Дельвига, против монополии Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча в журналистике, против «торгового», мещански-полицейского направления деятельности редактора «Северной пчелы».

В первом варианте сказки сатирическая ее направленность была выражена ярче, отчетливее, при публикации она оказалась затушеванной. В комических, сказочно-анекдотических ситуациях ощущается шутливая пародия на эпическую поэму вообще и угадываются элементы литературной сатиры.

Две сказки — «Тюльпанное дерево» и «Кот в сапогах» — являют собой переводы и популяризации иностранных сюжетов (из сборников братьев Гримм и Ш. Перро) для русских маленьких читателей.

По воспоминаниям фольклориста Афанасьева, Жуковский собирался остаток своей жизни посвятить переводу «Одиссеи» Гомера и собиранию сказок разных народов мира[1]. По-видимому, обе эти сказки, созданные в 1845 году, — отголоски давнего замысла поэта создать «сказочную антологию», где все произведения сохраняли бы свои особенности, манеру повествования и колорит.

И, наконец, «Иван-царевич и Серый волк» — сказка, которую сам поэт называет «во всех статьях русскою, рассказанною на русский лад, без примеси посторонних украшений». Но при этом сознается, что впрятал в нее «многое характеристическое, рассеянное в разных народных сказках; под конец же позволил себе и разболтаться»[2].

В основу сказки положены два сюжета: о добывании Жар-птицы и о Кащее бессмертном, кроме того, введены мотивы многих других сказок. Как и в «Коньке-горбунке», в «Иване-царевиче...» слиты сюжеты с героями разного типа (дурак и богатырь). Но Жуковский избирает в противоположность Ершову богатырский, героический вариант для своего героя, что и определило стилистику всей сказки.

Доблесть героя, его достоинство, чувство долга, доброта, доверчивость — качества, которые помогают ему одержать все необходимые в сказке победы. Богатая фантастика этой сказки, характерный юмор и доблестно-богатырский строй, сложное переплетение сюжетов многих русских народных сказок, мотивов и образов, взятых из сказок других народов, образуют сложное и занимательное целое. Эта сказка — свидетельство того, как глубоко воспринимал писатель народное творчество.

Сказка, однако, неоднородна по приемам и методу повествования, в ней немало чисто литературных элементов, она усложнена деталями и описаниями, вовсе не свойственными этому жанру. И, наконец, в ней звучит и авторский голос. В финальных эпизодах, когда Волк остается во дворце и учит царских детей арифметике, умирая же, оставляет груду рукописей, прорывается горькая автоирония.

[1] А ф а н а с ь е в А. Н. Народные русские сказки. Т.1.— Л., 1936, с. 448.
[2] Ж у к о в с к и й В. А. Письмо П. А. Плетневу от 1.07.1845 г.— В кн.: Собр. соч. в 4-х тт. Т. IV.— М.—Л. 1960, с. 648—649.

«Иван-царевич...» перекликается своим финалом с неразгаданной автобиографичностью «Сказки о Золотом петушке» Пушкина.

Плетнев, принимая «Ивана-царевича» для публикации в «Современнике», писал Жуковскому, что в его сказке «чувствуешь около себя действительно сказочную Русь», но заметил одновременно, что она лишена «ярких красок сказочного русского языка и больше представляет собой собственное ваше сочинение»[1].

В смысле народности сказка Жуковского уступает и пушкинским и ершовской, что Плетнев, будучи сторонником подобного же отношения к материалу народного творчества, одобрительно отметил: «Видно, что эта сказка идет не из избы мужицкой, а из барского дома, и говорит ее не барский подлипала, а прямой поэт»[2]. Гораздо раньше эту разницу в подходе к источникам отметил другой наблюдатель соревнования двух поэтов — В. Д. Комовский. Он писал по поводу сказок: «Жуковский побрился, а Пушкин так и ходит с бородой и в армяке»[3].

Три поэтических имени — Пушкин, Жуковский, Ершов — составили центр, ядро той полемики, которая развернулась более чем на десятилетие вокруг сказки. Они как бы объединили и расставили по позициям других авторов, вовлеченных в спор между «великими» и вокруг них. Каждому хотелось отразить в собственном сочинении свое понимание сказки, попробовать силы в этом жанре.

В то же время публикации сказок этих поэтов послужили как бы сигналом для многочисленных мелких писателей, эпигонов, популяризаторов, изделиями которых были завалены вскоре редакции всех журналов. Белинский, бывший принципиальным противником всех переделок сказок, сетовал на эту прорвавшуюся плотину: «Ну, пошла писать наша народная литература! Сказка за сказкой! Только успевай встречать да провожать незваных гостей! ...Ох! «Царь Салтан-Салтанович!» Бог тебе судья! Встормошил ты наш неугомонный народ — житья не стало от сказок; хоть беги со света долой!»[4].

Помимо писателей, работавших над сказкой всерьез, появилась целая плеяда пародистов, ответивших «поэтически» на проблемы, поставленные Пушкиным и Жуковским. Самые значительные среди них Н. М. Языков, П. А. Катенин и Н. А. Некрасов.

Как и Белинский, Языков был противником литературной обработки фольклорных произведений. Раздраженный «модой» на сказку, ее многочисленными переделками, поэт первую свою пародию направил и против самой этой моды, и против Пушкина, ее породившего:

Дай напишу я сказку! Нынче мода
На этот род поэзии у нас.

---

[1] Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения.— Пг., 1918, с. 476.
[2] Там же.
[3] Цит. по кн.: Языков Н. М. Полн. собр. соч.— М.— Л.: Academia, 1934, с. 70.
[4] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 351.

И грех ли взять у своего народа
Полузабытый небольшой рассказ?
Нельзя ль его немного поисправить,
И сделать ловким, милым; как-нибудь
Обстричь, переодеть, переобуть
И на Парнас торжественно поставить?
Грех не велик, да не велик и труд.

«Сказка о пастухе и диком вепре» (1835) насквозь иронична. Ирония к «сказочникам» проявилась уже в самом выборе сюжета: он не фольклорного и даже не русского происхождения. Отличается тем, что в нем нет ни настоящего героя, ни подвига, обязательно присутствующих в героической сказке: пастух, случайно победивший дикого вепря, получает в жены королевскую дочь, о которой никогда не помышлял. Этот оголенный и упрощенный почти до глупости сюжет очень подходит для пародии: он давал возможность продемонстрировать неправоту Пушкина, по мысли Языкова, отказавшегося от литературного преобразования народной поэзии, и показать, как с помощью переделки «полузабытого рассказа» можно исказить подлинный смысл сказки.

В сказке «Жар-птица» (1836) поэт задался целью доказать ненужность и нелепость увлечения литературными переработками сказок. Из фольклорного образца он заимствует только канву, которую трансформирует в драматическое действие. Именно драматизация сюжета позволяет выявить смехотворность литературного разговора о «сказочных пустяках»...

Языков строго следует избранному сюжету, но модернизирует его (вводит мотивы народных мятежей, игру в карты и пьянство в трактире, угрозы распубликовать в газетах известия о поведении героя), не оставляя тем самым ничего от старинного источника.

Несмотря на утверждение некоторых ученых, что Языков следует по пути Жуковского, что его метод оказывается ему наиболее близким, в сказке прослеживается и пародия на сентиментальное изображение чувств, свойственное сказкам и другим произведениям Жуковского»[1].

Пародийную сказку Катенина «Княжна Милуша» (1834) Пушкин назвал лучшим его творением. Эта живая, легкая и очень смешная пародия достаточно зло высмеивает и самое обращение литераторов к сказочной старине, и понимание старины у разных авторов. Поэт противостоит массовой романтической литературе, сохраняет верность своему пониманию народности, сложившемуся у него на рубеже 1810—1820-х годов (не различает былинного и сказочного начала, привержен богатырской тематике и исторической старине).

Всевозможные переделки сказок, снижение во многих из них прежних, высоких тем и образов раздражали поэта. Он написал сказочную поэму, в которой пародируются абсолютно все традиционно изображавшиеся характеры. Начиная с Владимира, который здесь утрачивает свои торжественные черты, перестает быть величествен-

[1] Лупанова И. П. Цит. изд., с. 443—450.

ным старцем и воплощением мудрости и превращается в «некрестя», держащего «сто жен в дому», все остальные персонажи: герой-рыцарь, волшебница, невеста, девы-соблазнительницы — гораздо мельче образцов, а мотивы их поведения снижены и часто нелепы.

Всего более пародия касается линии любовной: как и в других сказках, герой испытывает свою верность избраннице, но постоянно готов поддаться соблазну, и опекающей его волшебнице стоит больших трудов возвратить «рыцаря» невесте.

Очевидной пародией на всю переделочную сказочную литературу являются сказки Некрасова «Баба-Яга» и «Сказка о том, как царь Елисей хотел женить сына на Луне»... (обе 1840). Из них вторая ярче по краскам, и пародийное начало в ней очевиднее.

В основе ее — мотив добывания чудесной жены. Сказочная тема героических поисков прекрасной возлюбленной оборачивается здесь комической историей «брака по расчету», предпринятого жадным и тщеславным царским сыном и его спесивым родителем. Сказка написана размером «Конька-горбунка», герои ее лишены всех привлекательных черт, равнодушны не только к добру и злу, но и ко всему на свете, не просто глупы, а придурковаты.

Сказочная стихотворная литература десятилетия 1830-х годов огромна, можно долго перечислять переложения народных сказок в стихи, искать, кому из больших поэтов подражают малые, но это занятие достаточно бесплодное. В центре этого процесса — три поэтических имени, остальные авторы так или иначе были связаны с Пушкиным, Жуковским, Ершовым, развивая найденное, подражая им или полемизируя.

Другая линия освоения сказки в литературе связана с работой над языком. Ее главный представитель — В. И. Даль, в том же русле работали О. М. Сомов, Н. А. Полевой, отчасти И. Ваненко.

Литературная задача Пушкина, Жуковского, Ершова — познакомить читателя с миром народной сказки в ее подлинно фольклорной образности — не совпадала с той, что поставил себе Даль.

В статье «Полтора слова о нашем русском языке» Даль писал о своем «сказочном» творчестве:

«Не сказки сами по себе были мне важны, а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода,— сказка послужила предлогом. Я задал себе задачу познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком и говором, которому открывается такой вольный простор и широкий разгул в народной сказке... Сказочник хотел только на первый случай показать небольшой образчик... запасов, о которых мы мало или вовсе не заботимся, между тем как рано или поздно без них не обойтись»[1].

Дать живому разговорному русскому языку место в литературе — такова задача писателя, который в сказке открывал, обнаруживал богатейшие его возможности, как бы демонстрировал их читателю,

[1] Даль В. И. Полтора слова о нашем русском языке.— «Москвитянин», 1842, ч. 1, с. 549—550.

а потом — из сказки — позволял усваивать все эти богатства литературе письменной.

Вот почему тематика, сюжетные схемы не были существенны для Даля. Он заимствовал сюжеты и из устной традиции, и из переделок старинных сборников, и из лубочных картин. Даже только что напечатанные сказки бывали им использованы: сказка «Новинка-диковинка, или Невиданное чудо, неслыханное диво», опубликованная в первом сборнике писателя, явилась пересказом с некоторыми вариациями сказки «Невиданное диво и неслыханное чудо» из сборника «Старинные диковинки, или Собрание простонародных русских сказок и повестей в стихах и прозе» 1830 года. В своих сказках Даль создал особую форму повествования, в которой четко выявлена установка на устную разговорную речь и интонацию, иначе она называется сказ.

Главным предшественником и соратником Даля в создании сказа был Сомов, который еще в конце 1820-х годов культивировал, довольно робко, правда, сказовые формы, ориентированные на «простонародно»-разговорную речь («Кикимора», «Сказание об Укроме-табунщике»).

Сомов гораздо меньше Даля интересовался фабулой, у него встречаются сказки, представляющие собой откровенный фрагмент, кусок сказа́ («Сказание об Укроме...»), что свидетельствует о языковой по сути работе писателя. Тематически он тоже далек от Казака Луганского. С фольклорной традицией его сказки почти не связаны. Главная направленность работы писателя — реконструкция русской героической старины, подтверждающей героический характер русского народа (линия декабристская — ее разделяли Кюхельбекер, Марлинский). Другая — заключалась в воспроизведении в сказовой форме простонародных представлений о «чудесном», основанных на народных поверьях и суевериях.

Далю осуществить его задачу помогает особый прием — образ сказочника в центре всех произведений, русского парня, влюбленного в русский язык, его поговорки и пословицы. Он намечен уже в первой сказке («Об Иване, молодом сержанте...»): «У меня сказочник в лаптях, по паркетам не шатывался, своды расписные, речи затейливые только по сказкам одним и знает». В последующем творчестве писателя образ сказочника развивался и усложнялся.

Работа Даля гораздо решительнее сомовских опытов. От «пословичного» комментария, от разного рода игры с языком — использования поговорок, присловий, зачинов и концовок, Даль перешел к более серьезным языковым экспериментам. Он прибегнул к смешению различных (и часто противоречивых) стилистических планов: «сталкивание разных традиционных форм фольклорного сказа — сказочного, раешного, былинного — с разговорно-речевыми элементами и со штампами письменно-литературной речи — прозаической и стихотворной — было основным стилистическим приемом Даля в сказках»[1].

[1] Гофман В. Фольклорный сказ Даля.— В кн.: Русская проза.— Л.: Academia, 1926, с. 252.

При сопоставлении далевских сказок с народными прежде всего бросаются в глаза сложность и пестрота его стиля. Причем смешение стилей часто носит механический характер, разнородные стилистические куски просто совмещены.

Громадна роль интонации (она в сказе вообще очень значительна). У Даля преобладает интонационный разнобой, обусловленный его стилистическим методом. Интонационный строй русской сказки резко деформирован переключениями из одного плана в другой, сменой интонаций. Так писатель пытался драматизировать и динамизировать сказ.

В значительной мере далевский сказовый метод сближается с балагурной манерой повествования русских сказителей. Его шутливый, острый, наполненный поговорками рассказ напоминает юмористическую каскадную речь, рожденную в скоморошьей среде.

Манера, однако, не мешала сказочнику быть серьезным в осмыслении и в подаче материала, сказки под его пером приобрели особую — сатирическую — направленность, недаром первый сборник Даля был запрещен, а сам автор посажен под стражу.

Сатирическое начало проявляется в них по-разному: одни полны острых политических намеков («О похождениях черта-послушника», «Об Иване, молодом сержанте...»), другие представляют собой сатиру на определенное общественное или государственное установление («Сказка о Шемякином суде»), в иных случаях сказка может отразить полное небрежение народа к существующему порядку вещей и их субординации в мире («Сказка о некоем православном покойном мужичке и о сыне его Емеле-дурачке»).

Юмористический и сатирический аспекты характерны не для волшебной, а для бытовой сказки. Дорогу ей в литературу открыл именно Даль.

Белинский, считавший сатирическую сказку «в тысячу раз важнее всех богатырских» и обвинявший прежде Даля в «балагурстве» и порче русских сказок переделками «на свой лад», писал в 1846 году, что «смягчил свою строгость», читая Луганского, ибо тот «так глубоко проник в склад ума русского человека, до того овладел его языком, что сказки его — настоящие русские сказки»[1].

Два сказочника 1830—1840-х годов работали в далевской манере, усвоив главные принципы его обращения с языком.

Н. А. Полевой тяготел к более точному сохранению народного сказочного сюжета, но придавал ему с помощью прибауток, пословиц, присловий балагурный характер. Он глубоко воспринял сатирическую направленность далевских сказок и стремился к тому же в своих собственных. И. Ваненко (это псевдоним третьестепенного, но плодовитого писателя И. И. Башмакова) тоже создавал в сказках иллюзию живого сказа и для того уснащал их тексты пословицами и поговорками, имитировал балагурную рифмовку, пытался опираться на образ сказочника. Но одновременная ориентация и на слушателя, и на чита-

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X., с. 81—82.

теля создавала ту разноголосицу, что дала Белинскому возможность писать: «...его сказки сшиты из разных лоскутков: то из смурого русского сукна, то из английского, то из китайки, то из drap des dames»[1].

Сказки Полевого идеологичны, в них отражена позиция человека третьего сословия, у Ваненко — полны банального морализма, снижающего смысл народных сказок. И, как всегда у эпигонов, по своим достоинствам они далеко уступают образцу.

Возникновение литературной сказки, многолетняя и шумная борьба вокруг нее, многообразие ее форм не могли не возбуждать внимания и к первооснове, источнику — сказке народной. 1830-е годы отмечены интенсивной собирательской работой: П. В. Киреевский, А. С. Пушкин и Н. М. Языков собирали народные песни, В. И. Даль и И. П. Сахаров — сказки, И. М. Снегирев — поговорки и пословицы. В 1838 году вышел сборник «Русских народных сказок» Богдана Броницина, названный впоследствии С. В. Савченко первым опытом издания подлинно народных сказок.

Молодые писатели, входившие в литературу в те годы, зачастую бывали захвачены этим всеобщим интересом к народному искусству, к сказке. К концу 1830-х годов относятся и фольклорные интересы молодого М. Ю. Лермонтова.

Отбывая в 1837 году свою первую ссылку на Кавказе, поэт записал сказку «Ашик-Кериб», которую назвал турецкой, хотя рассказана она была, судя по тексту, местным ашугом, азербайджанцем по происхождению. Текст сказки, видимо, не предназначался для печати, не отделан ни стилистически, ни грамматически. Напечатана она была только в 1846 году и явилась своеобразным событием: она поражала своей подлинностью на фоне переделочных «восточных» повестей и сказок.

Почти на полвека опередил поэт профессионалов — собирателей фольклора, и сказка, распространенная среди всех народов Кавказа и во многих странах Азии, стала благодаря ему известна русским читателям в первозданном виде.

Русская литература знает еще один случай, когда писатель много сил и времени отдал тому, чтобы записать сказку, слышанную в детстве. Именно записать, восстановить в деталях то, что когда-то взволновало его детскую фантазию. Так появилась сказка «Аленький цветочек», в которой запечатлены С. Т. Аксаковым подлинный рассказ и интонация любимой его сказительницы — ключницы Пелагеи.

Интересно, что обе сказки, записанные писателями в устной передаче, — восточные. Они известны многим народам: «Ашик-Кериб» — на Кавказе, в Турции, в Средней Азии; «Аленький цветочек» — во многих европейских и азиатских странах. Удивительная история этой сказки — пример миграции и усвоения сказочных сюжетов народами разных культур.

---

[1] Белинский В. Г. Цит. изд., т. II., с. 509.

Теперь благодаря Аксакову сказка «Аленький цветочек», записанная со слов русской сказительницы, уже никому не кажется чужеродной; прочно войдя в нашу литературную традицию, она стала одной из самых любимых русских сказок.

Борьба вокруг сказки в 1830-е годы не была проходным эпизодом истории литературы. Из нашего далека мы понимаем значение тех событий глубже, чем современники. Писатели того времени не просто решали насущные задачи развития русской национальной литературы, осваивая в своем творчестве народную сказку. Сегодня мы знаем, что они сохранили ее для будущего, поистине возвратили народу его сокровище, спасли от забвения, быть может, исчезновения.

И когда мы перечитываем сказки Пушкина или Аксакова, Жуковского или Ершова, Даля или Одоевского, мы вновь приобщаемся той радости, что вошла когда-то с ними вместе в наш детский мир, и снова и снова испытываем благодарность к тем, кто оставил ее с нами навсегда.

Н. А. Тархова





Иван Иванович Дмитриев

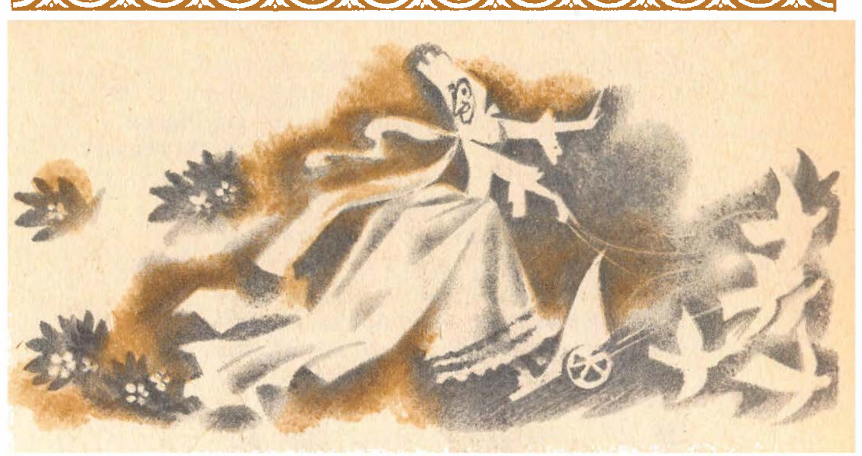
(1760—1837)

Детство будущего поэта прошло в Симбирской губернии. Писать стихи Дмитриев начал в Петербурге, во время службы в гвардейском Семеновском полку, куда он вступил в 14-летнем возрасте. Подружившись с Карамзиным, поэт почти все свои произведения печатал в «Московском журнале» и позже в других изданиях Карамзина. Вслед за карамзинскими «Моими безделками» вышли «И мои безделки» Дмитриева (1795). Быстро прославившись, Дмитриев стал законодателем в кругу поэтов сентиментального направления. С 1797 г.— член Российской академии. Все основные произведения Дмитриева-поэта созданы в 1790-е годы, собрание его сочинений 1803—1805 годов было, по существу, итоговым. То немногое, что он написал позже, не уступало прежним произведениям, но уже не влияло на развитие литературы. Книга его апологов, вышедшая в 1826 г., прошла почти незамеченной. В царствование Павла I началась стремительная служебная карьера писателя: в 1797 г. он был назначен товарищем министра уделов и вскоре обер-прокурором Сената, четыре года прослужил министром юстиции (1810—1814), после чего вышел в отставку и поселился в Москве. Умер писатель в декабре 1837 года, надолго пережив литературную эпоху, к которой принадлежал.









ПРИЧУДНИЦА



В Москве, которая и в древни времена
Прелестными была обильна и славна,
Не знаю подлинно, при коем государе,
А только слышал я, что русские бояре
Тогда уж бросили запоры и замки,
Не запирали жен в высоки чердаки,
Но, следуя немецкой моде,
Уж позволяли им в приятной жить свободе,
И светская тогда жена
Могла без опасенья,
С домашним другом иль одна,
И на качелях быть в день светла воскресенья,
И в кукольный театр от скуки завернуть,
И в роще Марьиной под тенью отдохнуть,—
В Москве, я говорю, Ветрана процветала.
Она пригожеством лица,
Здоровьем и умом блистала;
Имела мать, отца;
Имела лестну власть щелчки давать супругу;
Имела, словом, все: большой тесовый дом,
С берлинами сарай, изрядную услугу,
Гуслиста, карлицу, шутов и дур содом
И даже двух сорок, которые болтали
Так точно, как она,— однако ж меньше знали.

Ветрана куколкой всегда разряжена
И каждый день окружена
Знакомыми, родней и нежными сердцами;
Но все они при ней казались быть льстецами,
Затем, что всяк из них завидовал то ей,
То цугу вороных коней,
То парчево́му ее платью,
И всяк хотел бы жить с такою благодатью.
Одна Ветрана лишь не ведала цены
Всех благ, какие ей фортуною даны;
Ни блеск, ни дружество, ни пляски, ни забавы,
Ни самая любовь — ведь есть же на свету
Такие чудны нравы! —
Не трогали мою надменну красоту.
Ей царствующий град казался пуст и скучен,
И всяк, кто ни был ей знаком,
С каким-нибудь да был пятном:
«Тот глуп, другой урод: тот *ужасть*[1] неразлучен;
Сердечкин ноет все, вздыханьем гонит вон;
Такой-то все молчит и погружает в сон;
Та все чинится, та болтлива;
А эта слишком зла, горда, самолюбива».
Такой отзыв ее знакомых всех отбил!
Родня и друг ее забыл;
Любовник разлюбил;
Приезд к пригоженькой невеже
Час от часу стал реже, реже —
Осталась наконец лишь с гордостью одной:
Утешно ли кому с подругой жить такой,
Надутой, но пустой?
Она лишь пучит в нас, а не питает душу!
Пожалуй, я в глаза сказать ей то не струшу.
Итак, Ветрана с ней сначала ну зевать,
Потом уж и грустить, потом и тосковать,
И плакать, и гонцов повсюду рассылать
За крестной матерью; а та, извольте знать,
Чудесной силою неведомой науки
Творила на Руси неслыханные штуки! —
О, если бы восстал из гроба ты в сей час,
Драгунский витязь мой, о ротмистр Брамербас,
Ты, бывший столько лет в Малороссийском крае
Игралищем злых ведьм!.. Я помню, как во сне,
Что ты рассказывал еще ребенку мне,

[1] Слово, употребительное и поныне в губерниях. (Прим. И. И. Дмитриева.)

Как ведьма некая в сарае,
Оборотя тебя в драгунского коня,
Гуляла на хребте твоем до полуночи,
Доколе ты уже не выбился из мочи;
Каким ты ужасом разил тогда меня!
С какой, бывало, ты рассказывал размашкой,
В колете вохряном и в длинных сапогах,
За круглым столиком, дрожащим с чайной чашкой!
Какой огонь тогда пылал в твоих глазах!
Как волосы твои, седые с желтиною,
В природной простоте взвевали по плечам!
С каким безмолвием ты был внимаем мною!
В подобном твоему я страхе был и сам,
Стоял как вкопанный, тебя глазами мерил
И, что уж ты не конь... еще тому не верил!
О, если бы теперь ты, витязь мой, воскрес,
Я б смелый был певец неслыханных чудес!
Не стал бы истину я закрывать под маску,—
Но, ах, тебя уж нет, и быль идет за сказку.
Простите! виноват! немного отступил;
Но, истинно, не я, восторг причиной был;
Однако я клянусь моим Пермесским богом,
Что буду продолжать обыкновенным слогом;
Итак, дослушайте ж. Однажды, вечерком,
Сидит, облокотясь, Ветрана под окном
И, возведя свои уныло-ясны очи
К задумчивой луне, сестрице смуглой ночи,
Грустит и думает: «Прекрасная луна!
Скажи, не ты ли та счастливая страна,
Где матушка моя ликует?
Увы, неужли ей, которой небеса
Вручили власть творить различны чудеса,
Неведомо теперь, что дочь ее тоскует,
Что крестница ее оставлена от всех
И в жизни никаких не чувствует утех?
Ах, если бы она хоть глазки показала!»
И с этой мыслью вдруг Всеведа ей предстала.
«Здорово, дитятко! — Ветране говорит.—
Как поживаешь ты?.. Но что твой кажет вид?
Ты так стара! так похудела!
И бывши розою, как лилия бледна!
Скажи мне, отчего так скоро ты созрела?
Откройся...» — «Матушка! — ответствует она.—
Я жизнь свою во скуке трачу;
Настанет день — тоскую, плачу;

Покроет ночь — опять грущу
И все чего-то я ищу».
— «Чего же, светик мой? или ты нездорова?»
— «О нет, грешно сказать». — «Иль дом ваш не богат?»
— «Поверьте, не хочу ни мраморных палат».
— «Иль муж обычая лихого?»
— «Напротив, вряд найти другого,
Который бы жену столь горячо любил».
— «Иль он не нравится?» — «Нет, он довольно мил».
— «Так разве от своих знакомых неспокойна?»
— «Я более от них любима, чем достойна».
— «Чего же, глупенькая, тебе недостает?»
— «Признаться, матушка, мне так наскучил свет,
И так я все в нем ненавижу,
Что то одно и сплю и вижу,
Чтоб как-нибудь попасть отсель
Хотя за *тридевять* земель;
Да только, чтобы все в глазах моих блистало,
Все новостию поражало
И редкостью мой ум и взор;
Где б разных дивностей собор
Представил быль как небылицу...
Короче: дай свою увидеть мне столицу!»
Старуха хитрая, кивая головой,
«Что делать, — мыслила, — мне с просьбою такой?
Желанье дерзко... безрассудно,
То правда; но его исполнить мне не трудно;
Зачем же дурочку отказом огорчить?..
К тому ж я тем могу ее и поучить».
«Изрядно! — наконец сказала. —
Исполнится, как ты желала».
И вдруг, о чудеса!
И крестница, и мать взвились под небеса
На лучезарной колеснице,
Подобной в быстроте синице,
И меньше нежели в три мига
Спустились в новый мир, от нашего отменный,
В котором трон весне воздвигнут неизменный!
В нем реки как хрусталь, как бархат берега,
Деревья яблонны, кусточки ананасны,
А горы все или янтарны иль топазны.
Каков же феин был дворец — признаться вам,
То вряд изобразит и Богданович[1] сам.

[1] Автор поэмы «Душенька». (Прим. И. И. Дмитриева.)

Я только то скажу, что все материалы
(А впрочем, выдаю я это вам за слух),
Из коих феин кум, какой-то славный дух,
Дворец сей сгромоздил, лишь изумруд, опалы,
Порфир, лазурь, пироп, кристалл,
Жемчуг и лалл,
Все, словом, редкости богатыя природы,
Какими свадебны набиты русски оды;
А сад — поверите ль? — не только описать
Иль в сказке рассказать,
Но даже и во сне его нам не видать.
Пожалуй, выдумать нетрудно,
Но все то будет мало, скудно,
Иль много-много, что во тьме кудрявых слов
Удастся Сарское Село себе представить,
Армидин сад иль Петергоф;
Так лучше этот труд оставить
И дале продолжать. Ветрана, николи
Диковинок таких не видя на земли,
Со изумленьем все предметы озирает
И мыслит, что мечта во сне над ней играет;
Войдя же в храмины чудесницы своей,
И пуще щурится: то блеск от хрусталей,
Сребристыя луны сражаяся с лучами,
Которые почлись за солнечные нами,
Как яркой молнией слепит Ветранин взор;
То перламутр хрустит под ней или фарфор...
Ахти! Опять понес великолепный вздор.
Но быть уж так, когда пустился.
Итак, переступя один, другой порог,
Лишь к третьему пришли, богатый вдруг чертог
Не ветерком, но сам собою растворился!
«Ну, дочка, поживай и веселися здесь! —
Всеведа говорит. — Не только двор мой весь,
Но даже и духов подземных и воздушных,
Велениям моим послушных,
Даю во власть твою; сама же я, мой свет,
Отправлюся на мало время —
Ведь у меня забот беремя —
К сестре, с которою не виделась сто лет;
Она недалеко живет отсюда — в Коле;
Да по дороге уж оттоле
Зайду и к брату я,
Камчатскому шаману.
Прощай, душа моя!

Надеюсь, что тебя довольнее застану!»
Тут коврик-*самолет* она подостлала,
Ступила, свистнула и вмиг из глаз ушла.
Как будто и не была.
А удивленная Ветрана,
Как новая Диана,
Осталась между нимф, исполненных зараз;
Они тотчас ее под ручки подхватили,
Помчали и за стол роскошный посадили,
Какого и водо́м *не видано* у нас.
Ветрана кушает, а девушки прекрасны,
Из коих каждая почти как ты... мила,
Поджавши руки вкруг стола,
Поют ей арии веселые и страстны,
Стараясь слух ее и сердце услаждать.
Потом, она едва задумала вставать,
Вдруг — девушек, стола не стало,
И залы будто не бывало:
Уж спальней сделалась она!
Ветрана чувствует приятну томность сна,
Спускается на пух из роз в сплетенном нише;
И в тот же миг смычок невидимый запел,
Как будто бы сам Диц за пологом сидел;
Смычок час от часу пел тише, тише, тише
И вместе наконец с Ветраною уснул.
Прошла спокойна ночь: натура пробудилась;
Зефир вспорхнул,
И жертва от цветов душистых воскурилась:
Взыграл и солнца луч, и голос соловья,
Слиянный с сладостным журчанием ручья
И с шумом резвого фонтана,
Воспел: «Проснись, проснись, счастливая Ветрана!»
Она проснулася — и спальная уж сад,
Жилище райское веселий и прохлад!
Повсюду чудеса Ветрана обретала;
Где только ступит лишь, тут роза расцветала;
Здесь рядом перед ней лимонны дерева,
Там миртовый кусток, там нежна мурава
От солнечных лучей, как бархат, отливает;
Там речка по песку златому протекает;
Там светлого пруда на дне
Мелькают рыбки золотые;
Там птички гимн поют природе и весне,
И попугаи голубые
Со эхом взапуски твердят:

«Ветрана, насыщай свой взгляд!»
А к полдням новая картина.
Сад превратился в храм,
Украшенный по сторонам
Столпами из рубина,
И с сводом в виде облаков
Из разных в хрустале цветов.
И вдруг от свода опустился
На розовых цепях стол круглый из сребра
С такою ж пищей, как вчера,
И в воздухе остановился;
А под Ветраной очутился
С подушкой бархатною трон,
Чтобы с него ей кушать,
И пение, каким гордился б Амфион,
Тех нимф, которые вчера служили, слушать:
«По чести, это рай! Ну, если бы теперь,—
Ветрана думает,— подкрался в эту дверь...»
И, слова не скончав, в трюмо она взглянула —
Сошла со трона и вздохнула!
Что делала потом она во весь тот день,
Признаться, сказывать и лень,
И не умеется, и было бы некстати;
А только объявлю, что в этой же палате,
Иль в храме, как угодно вам,
Был и вечерний стол, приличный лишь богам,
И что наутро был день новых превращений
И новых восхищений;
А на другой день то ж. «Но что это за мир? —
Ветрана говорит, гармонии внимая
Висящих по стенам золотострунных лир.—
Всё эдак, то тоска возьмёт и среди рая!
Всё чудо из чудес, куда ни поглядишь;
Но что мне в том, когда товарища не вижу?
Увы! я пуще жизнь мою возненавижу!
Веселье веселит, когда его делишь».
Лишь это вымолвить успела,
Вдруг набежала тьма, встал вихорь, грянул гром,
Ужасна буря заревела;
Всё рушится, падёт вверх дном,
Как не бывал волшебный дом;
И бедная Ветрана,
Бледна, безгласна, бездыханна,
Стремглав летит, летит, летит —
И где ж, вы мыслите, упала?

Средь страшных Муромских лесов,
Жилища ведьм, волков,
Разбойников и злых духов!
Ветрана возрыдала,
Когда, опомнившись, узнала,
Куда попалася она:
Все жилки с страха в ней дрожали!
Ночь адская была! ни звезды, ни луна
Сквозь черного ее покрова не мелькали;
Все спит!
Лишь воет ветр, лишь лист шумит,
Да из дупла в дупло сова перелетает,
И изредка в глуши кукушка занывает.
Сиротка думает, идти ли ей иль нет,
И ждать, когда луны забрезжит бледный свет?
Но это час воров! Итак, она решилась
Не мешкая идти; итак, перекрестилась,
Вздохнула и пошла по вязкому песку
Со страхом и тоскою;
Бледнеет и дрожит, лишь ступит шаг ногою;
Там предвещает ей последний час *ку-ку!*
Там леший выставил из-за деревьев роги;
То слышится *ау;* то вспыхнул огонек;
То ведьма кошкою бросается с дороги
Иль кто-то скрылся за пенек;
То по лесу раздался хохот,
То вой волков, то конский топот.
Но сердце в нас вещун: я сам то испытал,
Когда мои стихи в журналы отдавал;
Недаром и Ветрана плачет!
Уж в самом деле кто-то скачет
С рогатиной в руке, с пищалью за плечьми.
«Стой! стой! — он гаркает, сверкаючи очьми. —
Стой! кто бы ты ни шел, по воле иль неволе;
Иль света не увидишь боле!..
Кто ты?» — нагнав ее, он грозно продолжал;
Но, видя, что у ней страх губы оковал,
Берет ее в охапку
И поперек кладет седла,
А сам, надвинув шапку,
Припав к луке, летит, как из лука стрела,
Летит, исполненный отваги,
Чрез холмы, горы и овраги
И, Клязьмы доскакав высоких берегов,
Бух прямо с них в реку, не говоря двух слов;

Ветрана ж: ах!.. и пробудилась —
Представьте, как она, взглянувши, удивилась!
Вся горница полна людей:
Муж в головах стоял у ней;
Сестры и тётушки вокруг ее постели
В безмолвии сидели;
В углу приходской поп молился и читал;
В другом углу колдун досужий[1] бормотал:
У шкафа ж за столом, восчанкою накрытым,
Прописывал рецепт хирургус из немчин,
Который по Москве считался знаменитым,
Затем, что был один.
И всё собрание, Ветраны с первым взором:
«Очнулась!» — возгласило хором;
«Очнулась!» — повторяет хор;
«Очнулась» — и весь двор
Запрыгал, заплясал, воскликнул: «Слава богу!
Боярыня жива! нет горя нам теперь!»
А в эту самую тревогу
Вошла Всеведа в дверь
И бросилась к Ветране.
«Ах, бабушка! зачем явилась ты не ране? —
Ветрана говорит. — Где это я была?
И что я видела?.. Страх... ужас!» — Ты спала,
А видела лишь бред, — Всеведа отвечает. —
Прости, — развеселясь, старуха продолжает, —
Прости мне, милая! Я видела, что ты
По молодости лет ударилась в мечты;
И для того, когда ты с просьбой приступила,
Трехсуточным тебя я сном обворожила
И в сновидениях представила тебе,
Что мы, всегда чужой завидуя судьбе
И новых благ желая,
Из доброй воли в ад влечем себя из рая.
Где лучше, как в своей родимой жить семье?
Итак, вперед страшись ты покидать ее!
Будь добрая жена и мать чадолюбива,
И будешь всеми ты почтенна и счастлива».
С сим словом бросилась Ветрана обнимать
Супруга, всех родных и добрую Всеведу;
Потом все сродники приглашены к обеду;
Наехали, нашли и сели пировать.

[1] В старину их называли досужими. См. Ядро Росс. истории кн. Хилкова. (Прим. И. И. Дмитриева.)

Уж липец зашипел, все стало веселее,
Всяк пьет и говорит, любуясь на бокал:
«Что матушки Москвы и краше и милее?» —
Насилу досказал.

(1794)





Николай Михайлович Карамзин

(1766—1826)

Родился в Симбирской губернии, первоначальное образование получил в Москве, в пансионе профессора Шадена. Служба в Петербурге в Преображенском гвардейском полку была непродолжительна.

С 1784 г. Карамзин жил в Москве, где вошел в круг «Дружеского ученого общества», созданного Н. И. Новиковым для воспитания учителей, издателей, переводчиков, способных содействовать отечественному просвещению. Четыре года будущий писатель занимался переводами для новиковского журнала «Детское чтение для сердца и разума».

1789—1790 годы посвящены были путешествию за границу, в результате которого появились «Письма русского путешественника».

Возвратившись в Москву, Карамзин, следуя единственному тогда примеру Новикова, отказывается от государственной службы и начинает издавать «Московский журнал» (1791—1792), к сотрудничеству в котором привлек многих писателей и поэтов. Там же были впервые напечатаны произведения самого Карамзина: значительная часть «Писем русского путешественника», повести «Бедная Лиза» «Лиодор», «Наталья, боярская дочь», стихи, рецензии, переводы.

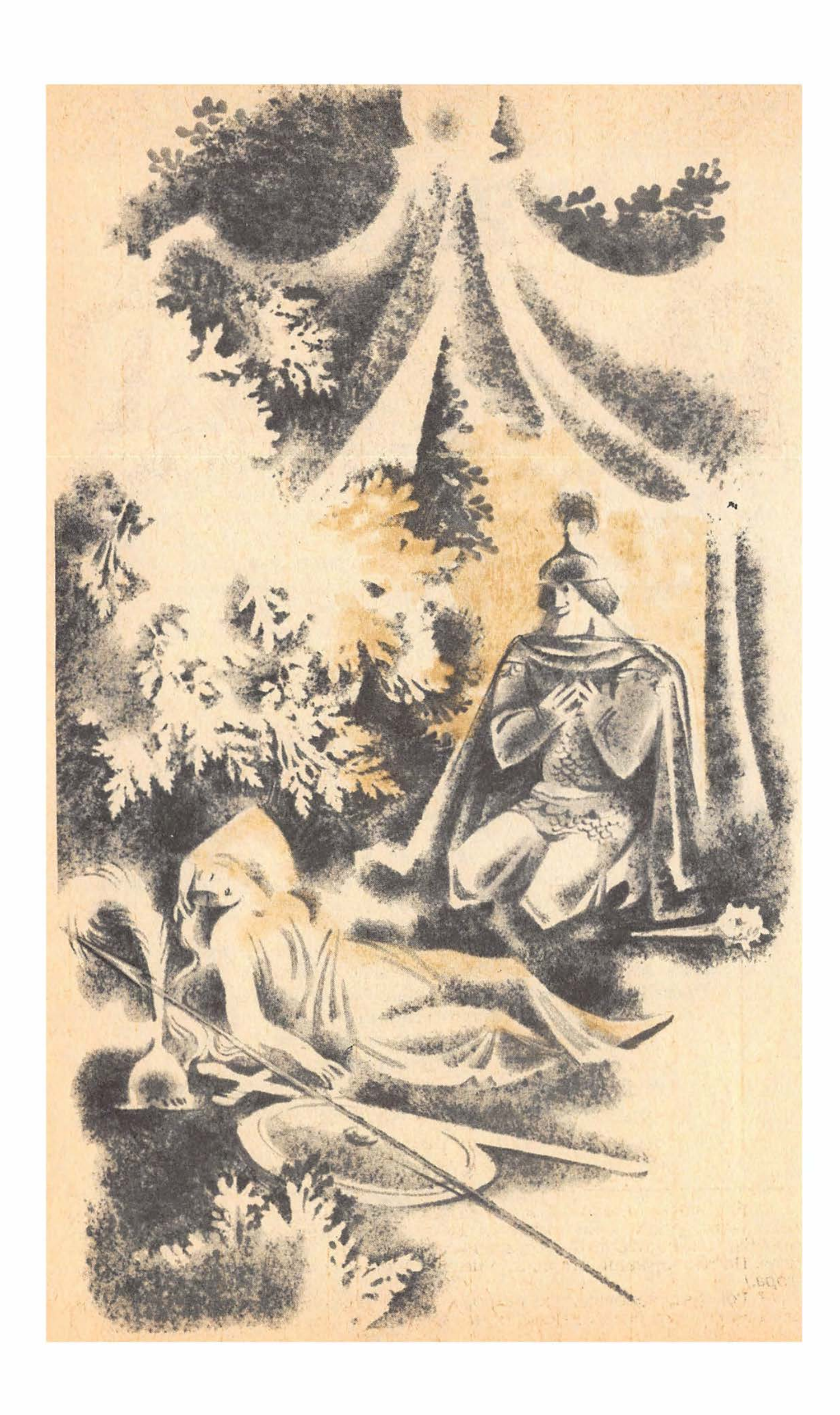
В период с 1791 по 1803 год Карамзин создал почти все свои художественные произведения. В 1801 году, уже работая над историей России, он взялся издавать политический журнал «Вестник Европы».

В 1803 году Карамзин был назначен историографом, и с этого времени все его труды были отданы «Истории государства Российского». Первые 8 томов ее вышли в 1818 г.

С 1816 г. писатель живет в Петербурге и продолжает сосредоточенно трудиться над своим главным сочинением.

Смерть прервала его работу над 12-м томом «Истории государства Российского».







ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Богатырская сказка[1]



Le monde est vieux, dit-on; je le crois;
cependant
Il le faut amusur encore comme
un enfant.

La Fontaine[2]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Не хочу с поэтом Греции
звучным гласом Каллиопиным
петь вражды Агамемноновой
с храбрым правнуком Юпитера;
или, следуя Вергилию,
плыть от Трои разоренныя
с хитрым сыном Афродитиным
к злачным берегам Италии.
Не желаю в мифологии
черпать дивных, странных вымыслов.
Мы не греки и не римляне;
мы не верим их преданиям;

---

[1] Вот начало безделки, которая занимала нынешним летом уединенные часы мои. Продолжение остается до другого времени; конца еще нет,— может быть, и не будет. В рассуждении меры скажу, что она совершенно русская. Почти все наши старинные песни сочинены такими стихами. *(Прим. автора.)*

[2] Говорят, человечество старо, я этому верю; и все же его приходится развлекать, как ребенка. *Лафонтен (фр.).*

мы не верим, чтобы бог Сатурн
мог любезного родителя
превратить в урода жалкого;
чтобы Леды были — курицы
и несли весною яица;
чтобы Поллуксы с Еленами
родились от белых лебедей.
Нам другие сказки надобны;
мы другие сказки слышали
от своих покойных мамушек.
Я намерен слогом древности
рассказать теперь одну из них
вам, любезные читатели,
если вы в часы свободные
удовольствие находите
в русских баснях, в русских повестях,
в смеси былей с небылицами,
в сих игрушках мирной праздности,
в сих мечтах воображения.
Ах! не всё нам горькой истиной
мучить томные сердца свои!
Ах! не все нам реки слезные
лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
в чародействе красных вымыслов!

Не хочу я на Парнас идти;
нет! Парнас — гора высокая,
и дорога к ней не гладкая.
Я видал, как наши витязи,
наши стихо-рифмо-детели,
упиваясь одопением,
лезут на вершину Пиндову,
обступаются и вниз летят,
не с венцами и не с лаврами,
но с ушами (ах!) ослиными,
для позорища насмешникам!
Нет, любезные читатели!
я прошу вас не туда с собой.
Близ моей смиренной хижины,
на брегу реки прозрачныя,
роща древняя дубовая
нас укроет от лучей дневных.
Там мой дедушка на старости
в жаркий полдень отдыхал всегда

на коленях милой бабушки;
там висит его пернатый шлем;
там висит его булатный меч,
коим он врагов отечества
за гордыню их наказывал
(кровь турецкая и шведская
и теперь еще видна на нем).
Там я сяду на брегу реки
и под тенью древ развесистых
буду повесть вам рассказывать.
Там вы можете тихохонько,
если скучно вам покажется,
раза два зевнув, сомкнуть глаза.

Ты, которая в подсолнечной
всюду видима и слышима;
ты, которая, как бог Протей,
всякий образ на себя берешь,
всяким голосом умеешь петь,
удивляешь, забавляешь нас,—
все вещаешь, кроме... истины;
объявляешь с газетирами
сокровенности политики;
сочиняешь с стихотворцами
знатным похвалы прекрасные;
величаешь Пантомороса[1]
славным, беспримерным автором;
с алхимистом открываешь нам
тайну камня философского;
изъясняешь с систематиком
связь души с телесной сущностью
и свободы человеческой
с непременными законами;
ты, которая с Людмилою
нежным и дрожащим голосом
мне сказала: *я люблю тебя!*
о богиня света белого —
Ложь, Неправда, призрак истины!
будь теперь моей богинею
и цветами луга русского
убери героя древности,
величайшего из витязей,
чудодея — *Илью Муромца!*

[1] То есть обер-дурак. *(Прим. автора.)*

Я об нем хочу беседовать,—
об его бессмертных подвигах,
Ложь! с тобою не учиться мне
небылицы выдавать за быль.
Солнце красное явилося
на лазури неба чистого
и лучами злата яркого
осветило рощу тихую,
холм зеленый и цветущий дол.
Улыбнулось все творение;
воды с блеском заструилися;
травки, ночью освеженные,
и цветочки благовонные
растворили воздух утренний
сладким духом, ароматами.
Все кусточки оживилися,
и пернатые малюточки,
конопляночка с малиновкой,
в нежных песнях славить начали
день, беспечность и спокойствие.
Никогда в Российской области
не бывало утро летнее
веселее и прекраснее.

Кто ж сим утром наслаждается?
Кто на статном соловом коне,
черный щит держа в одной руке,
а в другой копье булатное,
едет по лугу, как грозный царь?
На главе его пернатый шлем
с золотою светлой бляхою;
на бедре его тяжелый меч;
латы, солнцем освещенные,
сыплют искры и огнем горят.
Кто сей витязь, богатырь младой?
Он подобен маю красному:
розы алые с лилеями
расцветают на лице его.
Он подобен мирту нежному:
тонок, прям и величав собой.
Взор его быстрей орлиного
и светлее ясна месяца.
Кто сей рыцарь? — Илья Муромец.
Он проехал дикий темный лес,
и глазам его является

поле гладкое, обширное,
где природою рассыпаны
в изобилии дары земли.
Витязь Геснера не читывал;
но, имея сердце нежное,
любовался красотою дня;
тихим шагом ехал по лугу
и в душе своей чувствительной
жертву утреннюю, чистую,
приносил царю небесному:
«Ты, который украшаешь все,
русский бог и бог вселенныя!
Ты, который наделяешь нас
всеми благами щедрот своих!
Будь всегда моим помощником!
Я клянуся вечно следовать
богатырским предписаниям
и уставам добродетели,
быть защитником невинности,
бедных, сирых и несчастных вдов
и наказывать мечом своим
злых тиранов и волшебников,
устрашающих сердца людей!»
Так герой наш размышлял в себе
и, повсюду обращая взор,
за кустами, впереди себя,
над струями речки быстрыя,
видит светло-голубой шатер,
видит ставку богатырскую
с золотою круглой маковкой.
Он к кусточкам приближается
и стучит копьем в железный щит;
но ответу богатырского
нет на стук его оружия.
Белый конь гуляет по лугу,
неоседланный, невзнузданный,
щиплет травку ароматную
и следы подков серебряных
оставляет на росе цветов.
Не выходит витязь к витязю
поклониться, ознакомиться.

Удивляется наш Муромец;
смотрит на небо и думает:
«Солнце выше гор лазоревых,

а российский богатырь в шатре
неужель еще покоится?»
Он пускает на зеленый луг
своего коня надежного
и вступает смелой поступью
в ставку с золотою маковкой.

Для чего природа дивная
не дала мне дара чудного
нежной кистию прельщать глаза
и писать живыми красками
с Тицианом и Корреджием?
Ах! тогда бы я представил вам,
что увидел витязь Муромец
в ставке с золотою маковкой.
Вы бы вместе с ним увидели —
беспримерную красавицу,
всех любезностей собрание,
редкость милых женских прелестей;
вы бы вместе с ним увидели,
как она приятным, тихим сном
наслаждалась в голубом шатре,
разметавшись на цветной траве;
как ее густые волосы,
светло-русые, волнистые,
осеняли белизну лица,
шеи, груди алебастровой
и, свиваясь, развиваяся,
упадали на колена к ней;
как ее рука лилейная,
где все жилки васильковые
были с нежностью означены,
ее голову покоила;
как одежда снего-белая,
полотняная, тончайшая,
от дыханья груди полныя
трепетала тихим трепетом.
Но не можно в сказке выразить
и не можно написать пером,
чем глаза героя нашего
услаждались на ее челе,
на ее устах малиновых,
на ее бровях возвышенных
и на всем лице красавицы.
Латы с золотой насечкою,

шлем с пером заморской *жар-птицы,*
меч с топазной рукояткою,
копие с булатным острием,
щит из стали вороненыя
и седло с блестящей осыпью
на траве лежали вкруг ее.

Сердце твердое, геройское
твердо в битвах и сражениях
со врагами добродетели —
твердо в бедствиях, опасностях;
но нетвердо против женских стрел,
мягче воску белоярого
против нежных, милых прелестей.
Витязь знал красавиц множество
в беспредельной Русской области,
но такой еще не видывал.
Взор его не отвращается
от румяного лица ее.
Он боится разбудить ее;
он досадует, что сердце в нем
бьется с частым, сильным трепетом;
он дыхание в груди своей
останавливать старается,
чтобы долее красавицу
беспрепятственно рассматривать.
Но ему опять желается,
чтоб красавица очнулась вдруг;
ему хочется глаза ее —
верно, светлые, любезные —
видеть под бровями черными;
ему хочется внимать ее
гласу тихому, приятному;
ему хочется узнать ее
любопытную историю,
и откуда, и куда она,
и зачем, девица красная
(витязь думал и угадывал,
что она была девицею),
ездит по свету геройствовать,
подвергается опасностям
жизни трудной, жизни рыцарской,
не щадя весенних прелестей,
не бояся жара, холода.
«Руки слабой, тленной женщины

могут шить сребром и золотом
в красном и покойном тереме,—
не мечом и не копьем владеть;
могут друга, сердцу милого,
жать с любовью к сердцу нежному,
не гигантов на полях разить.
Если кто из злых волшебников
в плен возьмет девицу юную,
ах! чего злодей бесчувственный
с нею в ярости не сделает?» —
так Илья с собой беседует
и взирает на прекрасную.

Время быстрою стрелой летит;
час проходит за минутами,
и за утром полдень следует —
незнакомка спит глубоким сном.

Солнце к западу склоняется,
и с эфирною прохладою
вечер сходит с неба ясного
на луга и поле чистое —
незнакомка спит глубоким сном.
Ночь на облаке спускается
и густыя тьмы покровами
одевает землю тихую:
слышно ручейков журчание,
слышно эхо отдаленное,
и в кусточках соловей поет —
незнакомка спит глубоким сном.

Тщетно витязь дожидается,
чтобы грудь ее высокая
вздохом нежным всколебалася;
чтоб она рукою белою
хотя раз тихонько тронулась
и открыла очи ясные!
Незнакомка спит по-прежнему.

Он садится в голубом шатре
и, взирая на прекрасную,
видит в самой темноте ночной
красоту ее небесную,
видит — в тронутой душе своей
и в своем воображении;
чувствует ее дыхание

и не мыслит успокоиться
в час глубокия полуночи.

Ночь проходит, наступает день;
день проходит, наступает ночь —
незнакомка спит по-прежнему.

Рыцарь наш сидит как вкопанный;
забывает пищу, нужный сон.
Всякий час, минуту каждую
он находит нечто новое
в милых прелестях красавицы;
и — недели целой нет в году!

Здесь, любезные читатели,
должно будет изъясниться нам,
уничтожить возражения
строгих, бледнолицых критиков:
«Как Илья, хотя и Муромец,
хоть и витязь Руси древняя,
мог сидеть неделю целую,
не вставая, на одном месте,
мог ни маковыя росинки
в рот не брать, дремы не чувствовать?»
Вы слыхали, как монах святой,
наслаждаясь дивным пением
райской пестрой конопляночки,
мог без пищи и без сна пробыть
не неделю, но столетие.
Разве прелести красавицы
не имеют чародействия
райской пестрой конопляночки?
О друзья мои любезные!
Если б знали вы, что женщины
могут делать с нами, бедными!..
Ах! спросите стариков седых;
ах! спросите самого меня...
и, краснея, вам признаюся,
что волшебный вид прелестницы —
не хочу теперь назвать ее! —
был мне пищею небесною,
олимпийскою амброзией;
что я рад был целый век не спать,
лишь бы видеть мог жестокую!..
Но боюся говорить об ней
и к герою возвращаюся.

«Что за чудо! — рыцарь думает, —
я слыхал о богатырском сне;
иногда он продолжается
три дни с часом, но не более;
а красавица любезная...»
Тут он видит муху черную
на ее устах малиновых;
забывает рассуждения
и рукою богатырскою
гонит злого насекомого;
машет пальцем указательным
(где сиял большой златой перстень
с талисманом Велеславиным) —
машет, тихо прикасается
к алым розам белолицыя —
и красавица любезная
растворяет очи ясные!

Кто опишет милый взор ее,
кто улыбку пробуждения,
ту любезность несказанную,
с коей, встав, она приветствует
незнакомого ей рыцаря?
«Долго б спать мне непрерывным сном,
юный рыцарь! (говорит она),
если б ты не разбудил меня.
Сон мой был очарованием
злого, хитрого волшебника,
Черномора-ненавистника.
Вижу перстень на руке твоей,
перстень добрыя волшебницы,
Велеславы благодетельной:
он своею тайной силою,
прикоснувшись к моему лицу,
уничтожил заклинание
Черномора-ненавистника».
Витязь снял с себя пернатый шлем;
чернобархатные волосы
по плечам его рассыпались.
Как заря алеет на небе,
разливаясь в море розовом
пред восходом солнца красного,
так румянец на щеках его
разливался в алом пламени.

Как роса сияет на поле,
осребренная светилом дня,
так сердечная чувствительность
в масле глаз его светилася.
Стоя с видом милой скромности
пред любезной незнакомкою,
тихим и дрожащим голосом
он красавице ответствует:
«Дар волшебницы любезныя
мил и дорог моему сердцу;
я ему обязан счастием
видеть ясный свет очей твоих».
Взором нежным, выразительным
он сказал гораздо более.

Тут красавица приметила,
что одежда полотняная
не темница для красот ее;
что любезный рыцарь-юноша
догадаться мог легохонько,
где под нею что таилося...
Так седой туман, волнуяся
над долиною зеленою,
не совсем скрывает холмики,
посреди ее цветущие;
глаз внимательного странника
сквозь волнение туманное
видит их вершинки круглые.

Незнакомка взор потупила —
закраснелася, как маков цвет,
и взялась рукою белою
за доспехи богатырские.
Рыцарь понял, что красавице
без свидетелей желается
нарядиться юным витязем.
Он из ставки вышел бережно,
посмотрел на небо синее,
прислонился к вязу гибкому,
бросил шлем пернатый на землю
и рукою подпер голову.
Что он думал, мы не скажем вдруг;
но в глазах его задумчивость
точно так изображалася,
как в ручье густое облако;

томный вздох из сердца вылетел.
Конь его, товарищ, верный друг,
видя рыцаря, бежит к нему;
ржет и прыгает вокруг Ильи,
поднимает гриву белую,
извивая хвост изгибистый.
Но герой наш нечувствителен
к ласкам, к радости товарища,
своего коня надежного;
он стоит, молчит и думает.
Долго ль, долго ль думать Муромцу?
Нет, не долго: раскрываются
полы светло-голубой ставки,
и глазам его является
незнакомка в виде рыцаря.
Шлем пернатый развевается
над ее челом возвышенным.
Героиня подпирается
копием с булатным острием;
меч блистает на бедре ее.
В ту минуту солнце красное
воссияло ярче прежнего,
и лучи его с любовию
пролилися на красавицу.

С кроткой, нежною улыбкою
смотрит милая на витязя
и движеньем глаз лазоревых
говорит ему: «Мы можем сесть
на траве благоухающей,
под сенистыми кусточками».
Рыцарь скоро приближается
и садится с героинею
на траве благоухающей,
под сенистыми кусточками.
Две минуты продолжается
их глубокое молчание;
в третью чудо совершается...

(Продолжение впредь).

1794





Гаврила Романович Державин

(1743—1816)

Державин был сыном петровского солдата, дослужившегося до полковничьего чина, рос в деревне под Казанью в семье бедной и простой. В 1758 году он начал учиться в Казанской гимназии, а в 1762-м его затребовали в Петербург на службу в Преображенский полк, и там выяснилось, что отрока не зачислили в службу с малолетства и теперь он должен служить в солдатах. Солдатская служба продолжалась почти десять лет. В казарме начал писать стихи. В середине 1760-х годов провел полгода секретарем-сочинителем в Комиссии по составлению Нового Уложения. В 1772 году двадцативосьмилетний Державин получил первый офицерский чин. Почти одновременно — в 1773-м — вышли в свет его первые стихотворные опыты: в альманахе «Старина и новизна» — перевод из Овидия и отдельным изданием ода на брак великого князя Павла Петровича.

С конца 1770-х годов начинается штатская служба Державина в Петербурге; в эти же годы складывается державинский дружеско-литературный кружок (В. В. Капнист, Н. А. Львов, И. И. Хемницер). И хотя поэт много писал и печатал, известность его еще очень невелика. Все изменилось с появлением оды «Фелица», посвященной Екатерине II (1783). Начинается новый этап его карьеры: в 1784—1786 годах Державин — Олонецкий, в 1786—1788-м — Тамбовский губернатор, с 1791-го — кабинет-секретарь императрицы, но всегдашние поиски справедливости, правдолюбие и неуживчивый характер мешали карьере. В конце концов его назначили сенатором, это была немилость. В начале царствования Александра I Державин снова был отмечен — назначен министром юстиции (1802), но вскоре вышел в отставку уже навсегда.

С 1803 года Державин жил зимой в Петербурге, летом в имении Званка на Волхове, дружеский кружок превратился с 1811 года в «Беседу любителей российского слова», ставшую официальным литературным обществом.

Поэтическая деятельность Державина не прекращалась: в 1804 году он собрал книгу «Анакреонтические песни», в 1808-м — вышли четыре тома сочинений, из них три — лирика, в 1811—1812-м написаны автобиографические «Записки» (1743—1812), опубликованные лишь в 1859 году в журнале «Русская беседа». В последние годы Державин увлекался театром, писал стихотворные трагедии, оперы и комедии, переводил трагедии Расина стихами.

Жизнь Державина закончилась в Званке в 1816 году.







ЦАРЬ-ДЕВИЦА



Царь жила-была девица,—
Шепчет русска старина,—
Будто солнце светлолица,
Будто тихая весна.

Очи светлы голубые,
Брови черные дугой,
Огнь — уста, власы — златые,
Грудь — как лебедь белизной.

В жилках рук ее пуховых,
Как эфир, струилась кровь;
Между роз, зубов перловых
Усмехалася любовь.

Родилась она в сорочке
Самой счастливой порой,
Ни в полудни, ни в полночке,—
Алой утренней зарей.

Кочет хлопал на нашесте
Крыльями, крича сто раз:
«Северной звезды на свете
Нет прекрасней, как у нас».

Маковка злата церковна
Как горит средь красных дней,
Так священная корона
Мило теплилась на ней.

И вливала чувство тайно
С страхом чтить ее, дивясь;
К ней прийти необычайно
Было не перекрестясь.

На нее смотреть не смели
И великие цари:
За решеткою сидели
На часах богатыри.

И Полканы всюду чудны
Дом стрегли ее и трон;
С колоколен самогудный
Слышался и ночью звон.

Терем был ее украшен
В солнцах, в месяцах, в звездах;
Отливались блески с башен
Во осьми ее морях.

В рощах злачных, в лукоморье
Въявь гуляла и в саду,
Летом в лодочке на взморье,
На санка́х зимой по льду.

Конь под ней как вихрь крутился,
Чув девицу-ездока,—
Полк за нею нимф тащился
По следам издалека.

Коз и зайцев быстроногих
Страсть была ее гонять,
Гладить ланей златорогих
И дерев под тенью спать.

Ей ни мошки не мешали,
Ни кузнечики дремать;
Тихо ветерки порхали,
Чтоб ее лишь обвевать.

И по веткам птички райски,
Скакивал заморский кот,
Пели соловьи китайски,
И жужукал водомет.

Статно стоя, няньки, мамки
Одаль смели чуть дышать
И бояр к ней спозаранки
В спальню с делом допущать.

С ними так она вещала,
Как из облак божество;
Лежа царством управляла,
Их журя за шаловство.

Иногда же и тазала
Не одним уж язычком,
Если больно рассерчала,
То по кудрям башмачком.

Все они царя-девицы
Так боялись, как огня,
Крыли, прятали их лица
От малейшего пятна.

И без памяти любили,
Что бесхитростна была;
Ей неправд не говорили,
Что сама им не лгала.

Шила ризы золотые́,
Сплошь низала жемчуго́м,
Маслила брады седые
И не ссорилась с умом.

Жить давала всем в раздолье,
Плавали, как в масле сыр;
Ездила на богомолье,—
Божеством ее всяк чтил.

Все поля ее златились
И шумели под серпом;
Тучные стада водились,
Горы капали сребром.

Слава доброго правленья
Разливалась всюду в свет;
Все кричали с восхищенья,
Что ее мудрее нет.

Стиходеи ту ж бряцали
И на гуслях милу ложь;
В царствах инших повторяли
О царе-девице то ж.

И от этого-то грому
Поднялись к ней женихи
Вереницей к ее дому,
Как фазаньи петухи.

Царств за тридевять мудруя,
Вымышляли, как хвалить;
Вздохами любовь толкуя,
К ней боялись подступить.

На слонах и на верблюдах
Хан иной дары ей шлет,
Под ковром, на хинских блюдах,
Камень с гору самоцвет.

Тот эдемского индея,
Гребень — звезд на нем нарост,
Пурпур — крылья, яхонт — шея,
Изумрудный — зоб и хвост.

Колпиц алы черевички
Нес — с бандорой тот плясать;
Горлиц нежные яички —
Нежно петь и воздыхать.

Но она им не склонялась,
Набожна была чресчур.
Только в шутках забавлялась,
Напущая на них дур.

Иль велела им трудиться:
Яблок райских ей искать,
Хохлик солнцев, чтоб светиться
В тьме, век младостью блистать.

Но они понадорвали
Свой живот — и стали в пень;
Что искали — не сыскали
И исчезли будто тень.

Тут откуда ни явился
Царь-царевич, или круль,
Ни людям не поклонился,
Ни на Спаса не взглянул.

По бедру коня хлесть задню
И в тот миг невидим стал,—
Шасть к царю-девице в спальню
И ее поцеловал.

Хоронилася платочком
И ворчала хоть в сердцах,
Но как вслед его окошком
Хлопнула,— вскричала: ах!

Конь к тому ж в пути обратном
Тронул сеть садовых струн:
Град познал в сем звуке страшном,
Что был дерзок Маркобрун.

Вот и встал дым коромыслом
От маяков по горам;
В мрачном воздухе навислом
Рев завыл и по церквам.

Клич прокликали в столице,-
И гонцы всем дали весть,
Чтоб скакать к царю-девице
И, служа ей,—мстить за честь.

Заскрыпели двери ржавы
Оружейниц древних лет,
Воспрянули мужи славы
И среди пустынных мест.

Правят снасти боевые
И булат и сталь острят;
Старые орлы седые
С соколами в бой летят.

И свирепы кони в стойлах
Топают, храпят и ржут,
На холмах и на раздольях
Пыль вздымают, пену льют.

В слух пищали стенобойны,
Растворя чугунны рты,
Воют в час полночный, сонный,
Чтоб скорей в поход идти.

Идет в шкурах рать звериных,
С дубом, с пращей, с кистенем;
В перьях птичьих, в кожах рыбных,
И как холм течет чрез холм.

Занимает степи, луги
И насадами моря
И кричит: «Помремте, други,
За девицу и царя!

Не пленила златом, сбойством
Нас она, ни серебром,
Но лишь девичьим геройством,
Здравым и простым умом».

И так сими вождь речами
Взбудоражил войнов дух,
Что, подняв бугры плечами,
Растрепали круля в пух.

И еще в его бы царстве
Только раз один шагнуть,
Света б не было в пространстве,
Чем его и вспомянуть.

Кровь народа Маркобруна
Уподобилась реке;
Он дрожал ее перуна
И в своем уж чердаке.

Но как он царя-девицы
Нежный нрав довольно знал,—
Стал пастух — и глас цевницы
Часто ей своей внушал.

«Виноват,— пел,— пред тобою,
Что прекрасна ты, мила,
Сердце тронь мое рукою».—
«Сядь со мной!» — она рекла...

Так и все красотки славны
Дерзостей не могут снесть;
Все бывают своенравны,
Любят жены, девы честь.

1812





Анна Петровна Зонтаг

(урожд. Юшкова)
(1786—1864)

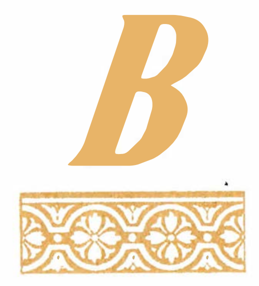
А. П. Зонтаг — дочь крестной матери В. А. Жуковского, его племянница и товарищ его детских лет.
В 1817 г. вышла замуж за Е. В. Зонтага, американца, служившего на Черноморском флоте. Жила с ним в Одессе, Крыму, Николаеве, снова в Одессе (в 1820 г. Зонтаг был капитаном над Одесским портом). Принадлежала к обществу Воронцова и Казначеева, была знакома со всеми одесскими литераторами, встречалась с Пушкиным. В 1841 г. овдовела; выдав дочь замуж, жила одиноко в Мишенском.
Литературную деятельность начала с переводов, перевела роман В. Скотта «Эдинбургская темница» (1825), сотрудничала в одесских альманахах, с 1825 г. начала издавать переводы сказок. Позже они выходили отдельными книгами: «Повести и сказки для детей» в 3-х томах (СПб., 1832—1834), «Детский рассказчик, или Собрание повестей из лучших иностранных авторов» (М., 1834), «Детский театр, или Собрание лучших детских комедий» (М., 1865), «Волшебные сказки для детей первого возраста» (М., 1862). Особый успех имела составленная ею «Священная история для детей, выбранная из Ветхого и Нового завета», которая выдержала 9 изданий и получила Демидовскую премию.
Воспоминания писательницы о Жуковском («Москвитянин», 1852, № 18 и «Русская мысль», 1883, № 2) — важные документы для изучения биографии поэта.







ДЕВИЦА-БЕРЕЗНИЦА



В одной уединенной долине, окруженной со всех сторон дремучим лесом, находилась хижина, в которой жил угольщик с женой. Бог дал им маленькую дочку; но они не знали, каким образом окрестить ее и кого звать в кумовья. Хижина была отдалена от всякого жилья, и в соседстве не было ни одной церкви; они жили так уединенно, что не были знакомы ни с кем, кроме тех, кому продавали свои уголья.

Однажды жена сказала угольщику:

— Нашей девочке скоро будет шесть недель, а она еще не крещена; это меня очень мучит! Хотя церкви отсюда все и отдалены, но здесь в лесу живет монах-пустынник; он, конечно, не откажется окрестить наше дитя. Поди к нему завтра поутру и попроси его об этом.

— Хорошо! — отвечал угольщик,— но ведь нужны также и кумовья! Их-то где взять?

— Позови кого-нибудь из тех, которые приезжают покупать у нас уголь. Тебе, верно, отказа не будет!

Угольщику хотелось бы позвать в кумовья кого-нибудь из своих; но родные и друзья его жили очень далеко, и ему невозможно было ни самому предпринять такого дальнего пути, ни ожидать, чтобы они согласились ехать к нему на крестины в такую даль; итак, послушавшись совета жены своей, на другой день, ранехонько поутру, он пустился в путь.

Долго, долго он шел густым лесом; вдруг увидел идущую к нему навстречу прекрасную девушку. На ней была одежда белая, как снег, а на голове развевалось зеленое покрывало. Приблизясь к угольщику, она остановилась и сказала:

— Здравствуй, друг мой угольщик! Куда ты собрался так рано?

Угольщик почтительно поклонился прекрасной девице и отвечал:

— Я иду к пустыннику просить его, чтоб он пришел окрестить мою маленькую дочку; а потом пойду искать кумовьев. Я здесь живу на чужой стороне, не имею ни родных, ни друзей.

— Не трудись понапрасну искать кумовьев! — сказала девица,— я знаю, что ты хочешь звать кого-нибудь из тех, которые покупают у тебя уголья; никто из них не пойдет к тебе в кумовья; все они откажутся, не желая убыточиться на ризки. Послушай моего совета: возьми в кумы меня! Для девочки нужна одна только крестная мать; я охотно соглашусь быть ею; а без подарка Девица-Березница никогда не приходит. Подумай об этом хорошенько, и если желаешь иметь меня кумою, то дай мне знать это вот каким образом: видишь ли мою большую березу? Стукни по ней своей тростью столько раз, во сколько часов ты хочешь, чтоб я к тебе пришла.

Сказав это, красавица исчезла. Удивленный угольщик несколько времени стоял, как окаменелый; потом продолжал путь свой, покачивая головою. Он нашел пустынника в келье и сказал ему о своей нужде. Отец Венедикт обещал прийти на другой день в три часа пополудни. Когда же он спросил, кто будут кумовья, то угольщик рассказал ему о своей встрече с прекрасной незнакомкой.

— Наружность-то ее очень привлекательна,— продолжал он,— и в ней видна какая-то неизъяснимая кротость и доброта, но мне лучше хочется иметь обыкновенную куму, а не такую знатную госпожу; она же еще и знает все, что должно случиться вперед; бог знает, откуда она взялась и куда девалась; да ее же и звать надобно, постучав по березе, в котором часу ей приходить!

Отец Венедикт старался утвердить его в этих мыслях, и угольщик пошел в ближайшее селение, где жил один из знакомых. Когда он изъяснил свою просьбу, то знакомец нахмурился и отвечал:

— Я охотно пришел бы к тебе, да у меня и так уж слишком много крестников и крестниц! К тому же и недосуги! На этой неделе мне из селения нельзя отлучиться ни на шаг. Так уж, друг любезный, не взыщи! Извини меня!

— Экой ты, братец! Самому нельзя, так отпусти хоть хозяйку свою. Ведь для девочки нужна только крестная мать!

— Статочное ли дело, чтоб я пустил свою бабу без себя сквозь такой густой, дремучий лес! Да и у нее теперь тоже много дела. Нет, уж извини, приятель!

Угольщик вышел от него, ворча сквозь зубы:

— Слишком много крестников! Тебе не хочется ничего дать на крест!

Он пошел в другую деревню еще к знакомым, и оттуда его выпроводили так же, говоря:

— Поздравляем с дочкой! Дай бог ей счастья; но крестить у тебя нам невозможно! Мы несчастливы на крестников; они у нас не стоят. Мы положили зарок ни у кого не крестить! Благодарим за приглашение!

— Видно, Девица-Березница угадала,— подумал угольщик, продолжая путь свой. У него был еще знакомый купец, живший в ближнем городке.

— Нет, любезный,— отвечал он с величайшей спесью,— меня и все зовут крестить, потому что я человек зажиточный; всякому бы хотелось от меня поживиться чем-нибудь! Знаем, брат, знаем! А ты будь доволен тем, что я всегда на чистые деньги покупаю твои уголья!

Огорченный угольщик пошел домой.

— Теперь,— сказал он,— уж не хочу больше никого звать! И что ни говори честный отец Венедикт, а я позову в кумы Девицу-Березницу. Она сама назвалась; это знак добрый!

Утомленный своим странствием, он вечером пришел в лес и, отыскав большую березу, стукнул по ней три раза своей тростью. Жена спрашивала, отчего он так долго ходил.

— Ах, жена,— отвечал он,— я ходил долго и далеко, а нашел всего одну куму, и та, может быть, тебе не по нраву придется!

Тут он рассказал обо всем, что с ним случилось. Жене нисколько не была неприятна такая чудная кума: да другой же и взять было негде! Однако она ожидала ее с некоторым беспокойством.

Утро прошло в разных приготовлениях. Невзирая на недостатки свои, угольщикова жена хотела как возможно лучше от-

праздновать крестины единственного своего дитяти и показать свое мастерство в поваренном искусстве.

Пустынник пришел в назначенный час; вслед за ним вошла и Девица-Березница. Белое платье и зеленое покрывало придавали необыкновенный блеск красоте ее и стройному, высокому стану. После первых приветствий она подошла к колыбели младенца и рассматривала малютку.

— Поздравляю вас с такою дочкою! — сказала она родителям,— она будет прекрасна! хороша лицом и очень стройна!

Взяв младенца на руки, она подошла к купели. Пустынник спросил, как нарещи имя новорожденной. Крестная мать, не дав выговорить родителям ни слова, сказала:

— Хочу, чтоб ее звали Бетула.

— Бетула! — возразил пустынник,— но такого имени нет в святцах! И если я не ошибаюсь, то в переводе оно значит береза?

— Точно так,— отвечала девица.— Но что до этого! Разве береза не сотворена господом богом на пользу человека! Береза была на свете прежде святцев. Прошу вас, батюшка, не говорить мне ничего дурного о березе и не отнимать у меня права дать имя моей крестнице.

Она так решительно объявила свою волю, что ни отец, ни мать, ни пустынник не осмелились ей противоречить, и девочка названа была Бетулою.

Казалось, крестная мать не принесла ничего с собою, но когда понадобилось белье, во что принять младенца, то она вытряхнула из рукава своего белую простыню, обшитую зеленой бахромой; потом тонкую и, как снег, белую рубашечку, крестик из березового дерева на зеленой ленточке и зеленую шелковую шапочку для младенца; наконец, и утиральник на руки крестившему священнику весь белый и по концам расшитый зеленым узором, изображающим березовые листья.

После крестин Девица-Березница, отдавая матери младенца, сказала:

— Теперь мне надобно подарить чем-нибудь мою крестницу,— и опять вытряхнула что-то из широкого рукава своего. Отец и мать и пустынник думали, что она подарит дитяти золотую или серебряную игрушку; но как выразить их удивление, когда они увидели, что Девица-Березница положила в колыбель своей крестницы простую ложку из березового дерева.

— Берегите мой подарок, как глаз,— сказала она,— со временем он дочери вашей пригодится.

Угольщикова жена собрала на стол все, что приготовила для гостей своих: большое блюдо прекрасной свежей рыбы, которую муж ее поймал в ближней речке, пироги, яичницу, кашу с молоком, браги и большой кувшин меду от своих пчел, который она умела варить очень хорошо. За столом все были веселы, много смеялись и шутили, так что не заметили, как наступил вечер и начало смеркаться.

Пустынник хотел идти домой, но кума остановила его, сказав:

— Я сама втеснилась в круг ваш, следственно и должна исполнить все ваши обычаи. Я знаю, что кум должен подарить священника, крестившего дитя, но как теперь кума нет, то я обязана наградить вас за труд, батюшка. Протяните свою руку! — Пустынник, помня деревянную ложку, совсем не желал получить подобного подарка. Он благодарил, говоря, что за исполнение священной обязанности не требуется никакой награды и что он, в особенности, как человек, совершенно отрекшийся от света, не нуждается ни в чем.

Но она не слушала никаких отговорок.

— Если вы сами не имеете нужды в моем подарке, — сказала она, — то употребите его в пользу ближних или на благолепие храма господня! — Выговорив это, она вынула из кармана полную горсть свежих березовых листьев и почти насильно высыпала их в пригоршни пустыннику. Но березовые листы, падая из рук ее, звенели и обращались в блестящие золотые монеты.

Угольщик и жена в безмолвном удивлении смотрели на происходившее и невольно взглянули на деревянную ложку, чтоб увидеть, не превратилась ли она в серебро, золото или бриллианты. Но так же деревянная ложка лежала в малюткиной колыбели. Кума заметила это движение и, улыбаясь, сказала:

— Берегите мой подарок! Когда же крестница моя подрастет, то и ее научите беречь его. Бог да благословит вас и вашу дочку.

При сих словах она вышла и скрылась в лесу. Пустынник также ушел.

Угольщикова жена была очень недовольна.

— Мне хочется бросить эту деревянную ложку, — сказала она. — Если кума наша могла дать пустыннику целую горсть червонцев, то почему бы ей не дать нашей бедной девочке чего-нибудь получше этой деревянной ложки, которая и гроша не стоит.

Угольщик улыбнулся и сказал:

— Глупая ты женщина! Благодари бога за то, что кто-нибудь согласился окрестить нашу дочь. Мало ли я вчера бегал понапрасну. Если бы не Девица-Березница, то у нашей малютки до сих пор не было бы крестной матери, и она все оставалась бы некрещеною! Когда она назвалась к нам в кумы, тогда мы не думали ни о ризках, ни о подарке; и теперь бы нам не пришло в голову ожидать какого-нибудь подарка, если б она сама не дала эту деревянную ложку. Будь довольна всем и не бросай ложку в печь, но береги ее! Разве березовые листы не превратились в червонцы! Может статься, со временем и из ложки выйдет что-нибудь путное.

Дочка росла не по дням, а по часам. Она была прекрасна: отец и мать страстно любили ее и полагали в ней все свои радости, все свое счастье. Но как других детей у них не было, то они от излишней любви ее ужасно баловали, во всем исполняли ее волю, старались угадывать ее желания и предупреждать их; смотрели ей в глаза, ни в чем не останавливали и таким образом приучили ее считать себя главным лицом в доме и рожденною для того, чтобы повелевать отцом и матерью. Если не скоро выполняли ее приказания, то девочка принималась плакать, так что не знали, чем ее утешить, и плакала до тех пор, пока сделают, чего она хочет. При всей любви своей родители не всегда могли выполнять ее требования, ибо она часто желала невозможного. Она сердилась, капризничала беспрестанно и почти никогда не была ни веселою, ни счастливою.

Таким образом маленькая Бетула достигла четырехлетнего возраста, и крестная мать во все это время не навестила ее ни разу. Однажды в рождественский сочельник, поздно вечером, угольщикова жена при свете ночника дошивала платьице, которым хотела подарить в праздник свою милую дочку. Муж уже крепко спал после дневных трудов, также спала и Бетула. Вдруг кто-то постучал в ставень. Угольщикова жена отворила дверь в сени и увидела высокую женщину в одежде белой, как снег, и с темным покрывалом на голове.

— Здорово, кумушка! — сказала она, — неужели ты не узнала меня? Верно, это от моего зимнего темного покрывала; я проношу его еще несколько месяцев, всю зиму, а зеленое надеваю только летом. Я пришла проведать мою крестницу. Растет ли она, умнеет ли?

— Войдите в горницу, кумушка, — сказала угольщикова жена, — крестница ваша спит. Слава богу, она уж-таки великонька

становится; только не могу сказать, чтоб умна была. Такая неугомонная, что не знаешь, чем ей угодить. Все сердится да плачет!

— А! Понимаю,— прервала Девица-Березница.— Мне надобно подарить в праздник мою крестницу. Вот я вижу, кумушка, ты готовишь ей новое платьице, и я знаю, что ты не один этот подарок припасла для нее к такому великому дню. Вот положи и мой подарочек вместе с своими; он ей пригодится! — она всунула что-то в руку угольщиковой жене, которая подумала:

— Ну, теперь-то она уж верно принесла что-нибудь хорошенькое!

Но как же она испугалась, увидя пук березовых розог, связанных широкою зеленою лентой. Прежде, нежели она успела опомниться, кумушка вышла вон и скрылась в темноте.

— Хорош подарочек! — сказала угольщикова жена.— Неужели она не придумала ничего получше для подарка своей крестнице? Уж лучше б ничего не давать! Если б я захотела высечь бедную мою девочку, то и без нее могла бы наломать прутьев в лесу!

Однако, как ей ни было досадно, но она положила розги к прочим подаркам, приготовленным для Бетулы. Эти подарки состояли из яблок, орехов, пряников и двух-трех игрушек.

На другой день поутру маленькая Бетула была очень довольна всеми подарками. Отец и мать, стоя подле, радовались, глядя на нее. Наконец, заметя розги, она спросила:

— Матушка, а это что такое? Как этим играют?

Мать поглядела на мужа, который сказал:

— Это называется розгами; ими не играют, а секут сердитых детей.

— Меня еще никогда не секли,— прервала дочка,— это, верно, потому, что я не сердитое, а доброе дитя!

— Старайся быть доброй вперед,— сказала мать,— чтобы не заслужить такого наказания. Эти розги принесла твоя крестная мать, и как теперь в доме завелись розги, то легко может статься, что тебя высекут ими, если станешь упрямиться.

В другое время Бетула непременно рассердилась бы за такой ответ и на отца, и на родную мать, и на крестную и наделала бы много шуму; но теперь она была так довольна лакомствами и игрушками, что не думала о розгах.

Во время обеда, наскуча играть и налакомившись досыта, она сидела надувшись. Мать дала ей горячей похлебки, но она с досадой оттолкнула тарелку и сказала:

— Не хочу похлебки! она дурна!

— Ты слишком много ела пряников,— сказала мать,— съешь немного похлебки, чтоб не заболел у тебя живот. Нут-ка, разговеемся вместе!

— Да, Бетула, поешь горячего, похлебка славная, разговейся с нами,— сказал отец.

— Я хочу разговеться красными крутыми яйцами! — закричала Бетула.— Если вы не дадите мне красных крутых яиц, то я ничего есть не стану! Матушка, поди, принеси мне красных яиц разговеться!

— Дитя мое,— отвечала мать,— какие теперь красные яйца. Теперь зима, куры не несут яичек; красными яйцами разгавливаются в день Пасхи, на светлый праздник.

— Вели курам нести яйца! — закричала Бетула,— я хочу красных яиц! Накрась мне яиц! Испеки мне яйцо! Я хочу яиц!

Отец, желая успокоить ее, сказал:

— Душа ты моя, если б у матери твоей были красные печеные яйца, то она с радостью дала бы их тебе. Ты знаешь, как она тебя любит и как ей весело утешать тебя! Как скоро куры станут несть яички, она для тебя накрасит и напечет целую коробку.

— Я хочу, чтоб теперь были яйца! — кричала девочка и принялась реветь во все горло.

— Испеки мне яиц, накрась мне яиц, скверная мать! — она соскочила с лавки, на которой сидела, топала ногами и повторяла с ужасным криком:

— Испеки мне яиц! Накрась мне яиц! Скверная мать! Мерзкий отец!

В это время пук, лежавший на окне, стал потихоньку приподниматься, наконец, встал, спрыгнул с окна на лавку, с лавки на пол и, все припрыгивая, пошел прямо к маленькой Бетуле. Как скоро он приблизился, платьице само собой поднялось, и он стал без милости хлопать сердитую девочку.

При первом ударе малютка ужасно закричала. Мать бросилась к ней на помощь, но прут не любил шутить. От девочки он отпрыгнул к матери и несколько раз ударил ее по рукам так сильно, что она позвала к себе на помощь мужа, но и ему досталось. Когда все принуждены были отступиться, прут, обратясь к девочке, сек ее, сколько хотел; потом преспокойно отправился вприпрыжку назад к окну и лег на свое место.

Отец и мать были вне себя от удивления; девочка плакала неутешно. Наконец, слезы милой дочери возбудили сильное

негодование в сердце матери. Она сердилась и на прут, и на ту, которая принесла его.

— Хорошую кумушку ты выбрал нам,— говорила она мужу,— теперь мы не властны в собственном нашем детище! Нам пришлось смотреть, сложа руки, как немилосердно этот прут сек бедного ребенка. Нам невозможно спасти от наказания нашего дитяти! И все это по милости твоей кумушки. Видишь! назвала себя Девицею-Березницею, да и раздает всё березовые подарочки? А уж хороши и подарки! Ложка из березового дерева и теперь лежит без всякой пользы в моем сундуке, только что место занимает! Да вот еще эти розги из березовых прутьев! Измучают они у меня девочку, боюсь, чтоб не занемогла! Все по милости твоей прекрасной кумушки!

Угольщик был не одного мнения с женою. Правда, и он не знал, на что может пригодиться ложка, но все-таки приказывал беречь ее, говоря:

— Места она не пролежит. Что ж касается до прута, то он сделал свое дело и не напрасно наказал девочку: она заслужила это наказание своею злостью и упрямством.

— Но ведь она еще ребенок,— отвечала жена,— и все дети таковы. Если б они были так же умны, как взрослые люди, то не стали бы требовать недельного и плакать о вздоре. Успокойся, моя крошечка! — продолжала она, обнимая дочь,— я сожгу в печи этот негодный прут, а яиц для тебя накрашу, наварю и напеку, сколько хочешь, как скоро станут нестись куры!

Бетула, рыдая, со страхом поглядывала на прут. Заметя это, мать пошла к окну в намерении взять прут и сжечь его в печи, чтоб успокоить ребенка. Но едва успела она протянуть руку, как прут вскочил и так крепко ударил ее по руке, что она закричала и отпрыгнула от окна. Тогда прут спокойно улегся на своем месте.

— Однако это очень странно,— сказал угольщик,— нынче же я держал этот прут в руке, и он меня не трогал. Нельзя же ему оставаться здесь на окне. Постараюся переложить его на шкап, что нужды, если он и ударит меня.

И, сказав это, он с некоторым страхом ухватил прут, но прут, как будто обыкновенный прут, был спокоен в руке его.

— Теперь он у тебя в руках! — воскликнула жена,— брось его в печь!

— Да! да! — вскричала Бетула,— брось его в печь, этот гадкий прут!

— Хорошо, хорошо,— отвечал отец и пошел к печи, чтобы бросить в нее прут; но не успел он сделать и двух шагов, как прут завертелся в руках его с таким проворством, что он никак не мог удержать его; потом, вырвавшись из руки, ударил угольщика так крепко, что выступил кровавый рубец, после этого он опять смирнехонько улегся в его руку.

Угольщик, покачав головою, сказал:

— Тебе не хочется сгореть в печи? Ну, ступай себе на шкап, да лежи там смирно! — Он положил его на шкап, и прут лежал там преспокойно.

На другой день в угольщиковой хижине только и толковали, что о пруте. Бетула часто поглядывала на шкап, но прут лежал себе потихоньку и не трогался с места. В продолжение нескольких недель девочка помнила о полученном наказании, старалась вести себя порядочно и ни разу не сказала: я хочу, я приказываю, должно это сделать!

Однако мало-помалу Бетула стала забывать о пруте; позволяла себе некоторые прихоти и, наконец, до того забылась, что однажды с величайшим криком, злобою и слезами хотела вырвать что-то из рук у матери. Вдруг свалился со шкапа прут, проворно запрыгал по горнице, юбочки опять поднялись, и прут стал хлопать очень крепко сердитую девочку. Тогда Бетула закричала во все горло:

— Помоги, матушка! Помоги мне!

Как ни жалко, как ни досадно было матери смотреть на такое жестокое наказание, но делать было нечего. Всякий раз, когда она протягивала руку, чтобы схватить прут, он не давался и бил ее по руке. Надобно было, скрепя сердце, смотреть и ждать, пока пруту будет угодно самому перестать. Наконец, прут унялся, вспрыгнул на шкап и лег на прежнее место, как ни в чем не бывало.

Это вторичное наказание сделало сильное впечатление на девочку. Она долго его помнила и, не смотря на то, была гораздо веселее прежнего. Она стала совсем другим ребенком. Родители согласились наконец, что такою выгодною переменой нрава их дочери они обязаны подарку, сделанному ей крестной матерью. Если Бетула делала или говорила что-либо неприлично, то стоило только поглядеть на шкап и пруту пошевелиться, и она спешила исправить свой проступок. Она час от часу становилась умнее, любезнее, добрее; никто бы не мог догадаться, что прежде она была так упряма и сердита.

Между тем наступила весна, и Бетула занемогла. Она совершенно лишилась аппетита, не имела силы не только бегать, как бывало, но даже и ходить, сделалась худа, бледна, и родители сокрушались об ней. Мать знала свойства многих целебных трав, собирала их, варила из них питье, составляла лекарства... Бетула из послушания принимала все, что ей ни давали, как бы оно противно ни было, чего прежде никак бы не сделала. Теперь же, напротив, она без малейшего сопротивления пила самые горькие лекарства; но все без пользы! Угольщикова жена смотрела с растерзанным сердцем, как дочь ее час от часу более ослабевала и увядала. Отец старался успокоить жену, хотя сам не имел ни малейшей надежды сохранить драгоценнейшее для сердца его сокровище.

В таком мучительном беспокойстве прошло две недели. Однажды вечерком угольщик сидел в лесу подле своей угольной ямы и, проливая слезы, думал, как безотрадна будет жизнь его, если богу угодно будет лишить его Бетулы, которую он любил еще больше прежнего с тех пор, как она исправилась.

Вдруг предстала пред него Девица-Березница в своем белом платье и зеленом покрывале; она сказала:

— Здравствуй, куманек! Что делается у тебя дома? Как поживает моя крестница? Здорова ли она?

Этот вопрос возмутил всю душу бедного угольщика, он залился слезами и дрожащим голосом отвечал:

— Ах, кумушка! Уж лучше ни о чем не спрашивай!

— Почему ж не спрашивать,— возразила Девица-Березница,— разве крестница моя не добра, не умна, не хороша?

— Она настоящий ангел и телом, и душой с тех пор, как прут твой появился в нашем доме,— отвечал угольщик,— но я боюсь, что не долго нам ею радоваться.

Тут рассказал он все подробности ее болезни.

— Не бойся ничего,— сказала Девица-Березница,— я научу тебя, как ее вылечить. Принеси поскорее буравчик к моей большой березе. Ведь ты помнишь ее? Пробуравь недалеко от корня на стволе скважинку, вставь в эту скважинку тростинку, а под тростинку подставь кувшин. Теперь береза в полном соку: к утру натечет целый кувшин березового соку. Смотри, чтобы в течение дня девочка выпила все, что будет в кувшине; завтра к вечеру пробуравь другую скважинку и таким же образом собери сок, и на третий день поступи так же.

Это питие выгонит всю болезнь наружу, на ребенке сделается сильная сыпь, которая послужит к ее спасению.

Едва успел угольщик поблагодарить свою куму, как она уже скрылась между деревьями. Он побежал домой за буравчиком, кувшином и срезал на берегу реки тростинку; все это отнес к чудесной березе своей кумушки. Пробуравя скважину, он вставил в нее тростинку, а под тростинку врыл в землю кувшин, и сок тотчас полился. Увидя это, он с некоторым спокойствием духа возвратился домой. Жена его сидела вся в слезах подле постели дочери. Малютке сделалось хуже, и она ранее обыкновенного легла спать.

На другой день поутру она не хотела уж и встать с постели. Отец принес кувшин, который за ночь весь наполнился березовым соком, и девочка с удовольствием выпила все в течение дня, но еще не чувствовала ни малейшего облегчения. На другой и на третий день она также выпила по целому кувшину.

На третью ночь у больной сделалась сильная испарина, все тело ее горело и чесалось нестерпимо, заметили выступающую сыпь. На другой день вся она покрылась сыпью, тяжесть в голове и слабость, которую она чувствовала, миновались, и ей захотелось есть. То, что она ела, в первый раз со времени ее болезни, показалось ей вкусным; она могла сойти с постели сама; и кроме сыпи, которая очень чесалась, она чувствовала себя совершенно здоровою.

Радость отца и матери была неизъяснима. Им ничего так не желалось, как поблагодарить добрую куму за благодельный ее совет. Угольщик пошел к березе.

— Может статься,— подумал он,— там она услышит, как я стану благодарить ее!

Он заметил, что из пробуравленных скважин все еще бежит сок.

— Жалко,— сказал он,— это истощает дерево; сок, который должен питать его листья, льется без пользы на землю. Как бы этому помочь? — Он срезал ветку, сделал из нее три гвоздика и заколотил ими скважинки; сок перестал бежать, и через несколько дней дерево зазеленело и казалось таким свежим, как и прочие окружавшие его деревья.

Сыпь, выступившая на Бетуле, через несколько дней совсем прошла, и девочка стала здорова по-прежнему. Она вырастала на утешение родителей и год от году становилась добрее и прекраснее; даже посторонние люди не могли не радоваться, глядя на нее.

В угольщиковой хижине время быстро летело. Бетула пришла в совершенный возраст и вместе с матерью смотрела за

всем домашним хозяйством. Случилось однажды, что князь, которому принадлежал тот лес, где жил угольщик, созвал много гостей, чтобы вместе потешиться охотою. Он расположился ехать в соседство угольщикова жилища и послал из отдаленного дворца своего нарочного к угольщику.

— Наш владетельный князь,— говорил посланный,— едет сюда со всеми своими гостями и многочисленною свитою. Ему известно, что в этой уединенной долине кроме вашей хижины, нет никакого жилища, где бы можно было приготовить обед для его светлости. Пять лет тому назад наш князь был здесь также на охоте. Тогда твоя жена состряпала для него такой вкусный обед, что он и теперь еще об нем помнит, и потому его светлость посылает сюда всякого мяса, всяких птиц, яиц, масла, муки, разных кореньев и пряностей, одним словом, всего, что нужно для хорошего обеда, надеясь, что она и теперь не откажется показать свое искусство в стряпанье и не ударит себя лицом в грязь.

Угольщикова жена с радостью взялась исполнить княжеское приказание и обещала приложить все возможное старание для приготовления самого вкусного обеда. Посланный возвратился к своему князю, и через несколько дней к угольщиковой хижине прибыло множество подвод, нагруженных поваренною, столовою посудою и всеми возможными съестными припасами.

Выкладывая запасы, слуга сказал угольщиковой жене:

— Вот самая лучшая крупитчатая мука. Князь приказал сказать, чтобы ты постаралась из нее испечь хороший яцкий каравай; да постарайся же! Это его любимое хлебенное.

Второпях угольщикова жена не очень вслушалась в эти слова, но вечером, когда вместе с дочерью собиралась ставить опару для пирогов, она вспомнила о яцком каравае и сказала дочери:

— Признаюсь тебе, Бетула, что я не только не умею приготовлять этого пирожного, но даже и названия его никогда не слыхивала.

— Какая прекрасная мука,— сказала Бетула,— что ж нам испечь из нее?

— Ты знаешь,— отвечала мать,— что у меня, кроме печенья, хлопот много. Слава богу, ты у меня девка умная, можешь не хуже меня состряпать всякое пирожное. Выдумай что-нибудь хорошенькое, а я пока займусь приготовлением другого кушанья. Ты стряпай здесь в горнице, а я пойду в избу. Что ж

делать! Если мы не умеем испечь яцкого каравая, так постараемся угодить князю чем-нибудь другим. Он не прогневается на нас. Ведь я не как его повар, не ученая какая повариха!

Между тем поставили опару, сделали все нужные приготовления и легли спать. На другой день поутру мать пошла в избу варить и жарить, а дочь осталась в горнице, намереваясь печь пироги и приготовлять разное хлебенное. Бетула сидела на сундуке, окруженная яйцами, маслом, молоком, мукою и всеми припасами, входящими в состав хлебенного, она думала о том, как бы вместо яцкого каравая испечь такое пирожное, которое понравилось бы князю.

Вдруг услышала она, что из средины сундука что-то постукивает в крышку. Она с величайшим любопытством отперла сундук; крышка сама собою поднялась, и из сундука выпрыгнула новая деревянная ложка и вскочила прямо в ее руку. Она смотрела на эту чудесную ложку, но ложка тянула ее за собой и вертелась в руках ее, как живая. Она указывала Бетуле все, что надобно было делать; подводила ее то к яйцам, то к молоку, то к муке, то к изюму и сахару, брала всего, по скольку было нужно, подбивала опару, поднимала белки, взбивала желтки — одним словом, заставляла Бетулу делать, что было надобно, и так искусно и проворно все мешала и месила, что удивленная Бетула кликнула мать.

— Дочь моя,— сказала угольщикова жена,— эта ложка подарена тебе твоею крестною матерью, и теперь я вижу, что она знает свое дело так же хорошо, как и розги, которые она же тебе подарила.

Когда тесто довольно взошло, то ложка поднялась кверху сама собою, указала Бетуле, какую форму должно взять, как обмазать ее маслом, сколько положить в тесто изюму, духов и прочего, как выложить это тесто в приготовленную форму и, наконец, вместе с формой потянулась к печке. Бетула во всем слушалась своей ложки, которая указывала ей даже, куда надобно было подгресть побольше жару и откуда убавить.

Пирожное поспело, и его выпрокинули из формы. Мать и дочь не знали имени этого пирожного, но, судя по его прекрасному виду, надеялись, что князь будет им доволен, хотя они никак не думали, чтоб это был тот самый яцкий каравай, о котором приказывал князь. Бетула взяла свою ложку и пошла помогать матери в приготовлении других блюд. Ложка и тут оказала ей величайшие услуги. Все кушанье было состряпано превосходно.

Целое утро в лесу раздавался звук рогов, лай собак, крик охотников и конский топот, а к обеду все общество собралось в назначенное место. В долине неподалеку от угольщиковой хижины раскинуты были шатры, в которых поставили обеденные столы. Княжеские слуги носили кушанье из угольщиковой хижины, все чрезвычайно хвалили кушанье, а князь за каждым блюдом приказывал благодарить угольщикову жену.

Но когда подали на стол пирожное, испеченное Бетулою, то князь воскликнул:

— Это яцкий каравай! Если он также хорош вкусом, как наружностью, то это настоящее мастерское произведение! — Он сам стал его разрезать и сказал с величайшим удовольствием: — Это невероятно! Посмотрите, дорогие гости, видали ль вы что-нибудь подобное этому караваю? Все скважинки так ровны, как будто сделаны по циркулю.

Он отрезал каждому гостю по небольшому кусочку, а все остальное приказал хорошенько уложить и бережно отвезти к себе во дворец.

По окончании обеда он послал угольщиковой жене кошелек, полный золота, в награду за вкусный обед, ею приготовленный, а за яцкий каравай, сверх того, подарил ей с своей руки бриллиантовый перстень. После того со всеми гостями и своей многочисленной свитой он возвратился домой.

Приехав во дворец, князь послал за своим главным кухмейстером, показал ему оставшийся кусок каравая и спросил, может ли он испечь такой же. Кухмейстер удивился красоте каравая, но сказал, что он надеется испечь не хуже. Однако, сколько ни старался, но даже и похожего ничего не мог сделать.

Тогда князь приказал собрать поваров и поварих со всего княжества своего и обещал, что тот или та, что испечет точно такой каравай, какой он кушал, бывши на охоте, будет или главным его кухмейстером, или главной надзирательницей над его поварнею. Но никто даже и похожего ничего не мог сделать.

Князь приказал объявить тогда, что если в его княжестве найдется девушка, которая испечет точно такой каравай, какой он кушал, бывши на охоте, то, какого бы звания и происхождения она ни была, он непременно женится на ней.

Множество девушек приходило стряпать в надежде сделаться княгинями и остаться во дворце, но ни одна из них даже и похожего ничего не могла сделать.

В один вечер кто-то постучал в ставень угольщиковой избы. Хозяйка выглянула в окно и увидела Девицу-Березницу.

— Ах, дорогая кумушка! — вскричала угольщикова жена.

— Здорово, кума, — отвечала Девица-Березница, — завтра поутру пошли дочь свою, мою крестницу, в княжеский дворец. Она будет княгинею, только вели взять ей с собою мою деревянную ложку. Пусть она наденет самое дурное платье, но когда испечет яцкий каравай, тогда уж должна переодеться. Вот ей и платье, и покрывало. — При сих словах она проворно закружилась, сорвала с себя одежду, подала ее в окно угольщиковой жене и скрылась из глаз ее прежде, нежели она успела произнести одно слово, чтоб поблагодарить ее.

Угольщикова жена рассказала обо всем мужу и дочери; все они были такого высокого мнения о таинственной, чудесной кумушке, что решились беспрекословно повиноваться ее приказанию.

Назавтра, уже поздно вечером, Бетула в худом платье с лицом загорелым явилась в княжеском дворце и с робостью просила позволения войти, переночевать, потому что на другой день хотела показать свое искусство в печении каравая. Слуги встретили ее с насмешками и ругательствами; ни один из них не узнал красавицы угольщиковой дочери в такой худой одежде. Повара и поваренки обходились с нею презрительно, с явным недоброжелательством и ненавистью; между тем не смели прогнать ее. Князь строго запретил отказывать девушкам, приходившим стряпать; не смели ослушаться княжеского приказания: Бетулу впустили, но отвели ее ночевать в какой-то чулан и не дали ей поужинать ничего, кроме сухого хлеба и воды.

На другой день рано поутру она пришла на поварню и сказала, чтобы ей дали все, нужное для печения каравая.

— Много вас таких потаскушек сюда приходило! — ворчал сердито повар, — всем хочется быть княгинями, а я с вами возись. Вот ты так и в судомойки не годишься, такая оборванная! — Однако он велел принесть все нужное. Поваренки на смех принесли муки самой последней руки, а в свежие яйца вмешали несколько тухлых.

Бетула украдкой от всех вынула из кармана свою деревянную ложку, которая неприметным для других образом потащила ее с собою прямо к муке и принялась засыпать ею глаза поварятам с удивительным проворством.

— Сделайте милость,— сказала Бетула с величайшей скромностью главному повару,— прикажите мне дать другой муки, эта очень нехороша.

Покрытые с ног до головы мукою поварята хотели спорить и браниться, а Бетула никак не могла удержать своей ложки, которая так крепко стукала негодных поварят по зубам, что они с криком выбежали из кухни и спешили принесть самой лучшей муки.

То же самое повторилось и с яйцами. Как скоро на ложку попадалось тухлое яйцо, то ложка разбивала его об голову того поваренка, который принес его. Наказанный кричал, а товарищи его громко смеялись. Главный повар сердился за шум и беспорядок, которые были на поварне, и проклинал всех.

Мало-помалу все утихло; поварята не осмеливались более мешать Бетуле, потому что за каждую проказу ложка их не шутя наказывала. Наконец, когда каравай испекся и был выложен на блюдо, то сам кухмейстер смотрел на него с удивлением и завистью. Бетула до тех пор не вышла из поварни, пока блюдо с караваем не понесено было на княжеский стол; тогда она вошла в отведенный ей чулан и заперлась.

Едва успел князь разрезать каравай, как вскричал:

— Кто испек этот каравай?

— Опять пришла какая-то незнакомая девушка,— отвечал дворецкий, подавший блюдо с караваем,— она пекла этот каравай.

— Приведите ее сюда,— сказал князь,— она будет моею женой!

Слуги медлили, но когда князь спросил с досадою, почему не исполняют его приказания, то ему отвечали, что девушка так дурно одета, что никак не смеют представить ее пред глаза его светлости, что платье ее так запачкано, как будто она сейчас вылезла из угольной ямы и что она не только не достойна быть княгинею, но не стоит даже и того, чтобы ее впускали на княжеский двор.

Князь очень рассердился за такую дерзость слуг своих и сказал:

— Не ваше дело рассуждать о том, кто достоин или недостоин быть моей женою! Никто из вас, нарядных болванов, и ни одна из нарядных девушек не умели испечь такого каравая, какой испекла угольщикова жена, а этот еще лучше того! — Он сам встал из-за стола, чтоб идти за нею, и, сходя с крыльца, кричал:

— Повар! где же эта девушка?

Повар подошел к чулану, умолял Бетулу отпереть, но она до тех пор не отпирала, пока сам князь стал просить ее о том же; тогда она вышла, и все, видевшие ее прежде, изумились. Она сняла с себя худое свое запачканное платье, умылась чисто и явилась в белоснежном одеянии и зеленом покрывале, полученных ею от крестной матери.

Князь был восхищен ее красотою. Он взял ее за руку и повел во дворец: там в присутствии всего двора своего он обвенчался с угольщиковой дочерью в придворной своей церкви.

Повар, поварята и все слуги, обходившиеся с нею так грубо, пришли униженно просить у ней прощения, и она всем простила от чистого сердца.

Князь приказал заложить карету цугом и вместе с молодой своей княгинею поехал к ее родителям. Он взял их к себе, и они жили счастливо с дочерью, со знатным добрым зятем и внучатами.

Девица-Березница больше не являлась. Когда молодая княгиня с мужем своим ехала к родителям, то, проезжая мимо большой березы, она увидела, что белая кора была содрана с ней сверху до самого корня, а на ветках не было ни одного зеленого листика.

Но деревянная ложка и прут еще много оказали услуг в княжеском доме. Первая всякий день приготовляла какое-нибудь отличное блюдо для князя, который был большой охотник хорошенько покушать; а второй помогал княгине воспитывать детей; и эти два подарка княгининой крестной матери до тех пор переходили в наследство потомкам, пока от частого употребления розги совсем истрепались, а ложка переломилась.

1829<?>





Орест Михайлович Сомов

(1793—1833)

О. М. Сомов родился в городе Волчанске Харьковской губернии. Учился в частном пансионе, затем в Харьковском университете (с 1809 г.). С 1816 г. начал сотрудничать в местных журналах «Украинский вестник» и «Харьковский Демокрит».
В конце 1817 года переехал в Петербург, быстро завязал литературные связи, печатался в журналах «Благонамеренный» и «Соревнователь просвещения и благотворения». С 1820 г. стал членом Вольного общества любителей российской словесности.
В 1819—1820 гг. совершил путешествие за границу.
По возвращении на родину сблизился с писателями декабристского круга, стал участником альманахов «Полярная звезда», «Звездочка», продолжал быть активным сотрудником «Соревнователя просвещения...» К 1827 г. становится участником альманаха А. А. Дельвига «Северные цветы» и помощником издателя. В 1830 г. вместе с Дельвигом издавал «Литературную газету», продолжал выпускать ее до конца 1831 г. и после смерти Дельвига. Он же был издателем альманаха «Северные цветы на 1831 год» в память о покойном поэте.
В течение всех этих лет Сомов не только очень деятельный журналист, он пишет многочисленные повести, критические статьи, занимается переводами. После смерти Дельвига постепенно разлаживаются его отношения с писателями пушкинского круга; в последние годы Сомову приходилось жить переводами, печататься в изданиях Воейкова, Булгарина и Греча.
Умер он в Петербурге.

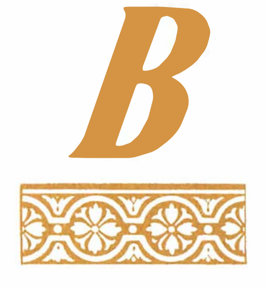






КИКИМОРА

Рассказ русского крестьянина на большой дороге



Вот видите ли, батюшка барин, было тому давно, я еще бегивал босиком да играл в бабки... А сказать правду, я был мастер играть: бывало, что на кону ни стоит, все как рукой сниму...

— Ты беспрестанно отбиваешься от своего рассказа, любезный Фаддей! Держись одного, не припутывай ничего стороннего, или, чтобы тебе было понятнее: правь по большой дороге, не своравивай на сторону и не режь колесами новой тропы по целику и пашне.

— Виноват, батюшка барин!.. Ну дружней, голубчики, с горки на горку: барин даст на водку... Да о чем бишь мы говорили, батюшка барин?

— Вот уже добрые полчаса, как ты мне обещаешь что-то рассказать о Кикиморе, а до сих пор мы еще не дошли до дела.

— Воистину так, батюшка барин; сам вижу, что мой грех. Изволь же слушать, милостивец!

Как я молвил глупое мое слово вашей милости, в те поры был я еще мальчишкой, не больно велик, годов о двенадцати. Жил тогда в нашем селе старый крестьянин, Панкрат Пантелеев, с женою, тоже старухою, Марфою Емельяновною. Жили они как у бога за печкой, всего было довольно: лошадей, коров и овец — видимо-невидимо; а разной рухляди да богатели и с сором не выметешь. Двор у них был как город: две избы со светелками на улицу, а клетей, амбаров и хлебных закромов столько, что стало бы на обывателей целого приселка. И то правда, что у них своя семья была большая: двое сыновей, да

трое внуков женатых, да двое внуков подростков, да маленькая внучка, любимица бабушки, которая ее нежила, холила да лелеяла, так что и синь пороху не даст, бывало, пасть на нее. Все шло им в руку; а все крестьяне в селении готовы были за них положить любой перст на уголья, что ни за стариками, ни за молодыми никакого худа не важивалось. Вся семья была добрая и к богу прибежная, хаживала в церковь божию, говела по дважды в год, работала, что называется, изо всех жил, наделяла нищую братию и помогала в нужде соседям. Сами хозяева дивились своей удаче и благодарили господа бога за его божье милосердие.

Надобно вам сказать, барин, что хотя они и прежде были людьми зажиточными, только не всегда им была такая удача, как в ту пору: а та пора началась от рождения внучки, любимицы бабушкиной. Внучка эта, маленькая Варя, спала всегда с старою Марфой, в особой светелке. Вот когда Варе исполнилось семь лет, бабушка стала замечать диковинку невиданную: с вечера, бывало, уложит ребенка спать, как малютка умается играя, с растрепанными волосами, с запыленным лицом; поутру старуха посмотрит — лицо у Вари чистехонько, бело и румяно как кровь с молоком, волосы причесаны и приглажены, инда лоск от них, словно теплым квасом смочены; сорочка вымыта белым-бело, а перина и изголовье взбиты как лебяжий пух. Дивились старики такому чуду и между собою тишком толковали, что тут-де что-то не гладко. Перед тем еще старуха не раз слыхала по ночам, как вертится веретено и нитка жужжит в потемках; а утром, бывало, посмотрит — у нее пряжи прибавилось вдвое против вчерашнего. Вот и стали они подмечать: засветят, бывало, ночник с вечера и сговорятся целою семьею сидеть у постели Вариной всю ночь напролет... Не тут-то было! незадолго до первых петухов сон их одолеет, и все уснут кто где сидел; а поутру, бывало, смех поглядеть на них: иной храпит, ущемя нос между коленами; другой хотел почесать у себя за ухом, да так и закачался сонный, а палец и ходит взад и вперед по воздуху, словно маятник в больших барских часах; третий зевнул до ушей, когда нашла на него дрема, не закрыл еще рта — и закоченел со сна; четвертый, раскачавшись, упал под лавку, да там и проспал до пробуду. А в те часы, как они спали, холенье и убиранье Вари шло своим чередом: к утру она была обшита и обмыта, причесана и приглажена как куколка.

Стали допытываться от самой Вари, не видала ли она чего по ночам? Однако ж Варя божилась, что спала каждую ночь

без просыпу; а только чудились ей во сне то сады с золотыми яблочками, то заморские птички с разноцветными перышками, которые отливались радугой, то большие светлые палаты с разными диковинками, которые горели как жар и отовсюду сыпали искры. Днем же Варюша видала, когда ей доводилось быть одной в большой избе, что подле светелки — превеликую и претолстую кошку, крупнее самого ражего барана, серую, с мелкими белыми крапинами, с большою уродливою головою, с яркими глазами, которые светились как уголья, с короткими толстыми ушами и с длинным пушистым хвостом, который как плеть обвивался трижды вокруг туловища. Кошка эта, по словам Варюши, бессменно сидела за печкой, в большой печуре, и когда Варе случалось проходить мимо ее, то кошка умильно на нее поглядывала, поводила усами, скалила зубы, помахивала хвостом около шеи и протягивала к девочке длинную, мохнатую свою лапу с страшными железными когтями, которые как серпы высовывались из-под пальцев. Малютка Варя признавалась, что, несмотря на величину и уродливость этой кошки, она вовсе не боялась ее и сама иногда протягивала к ней ручонку и брала ее за лапу, которая, сдавалось Варе, была холодна как лед.

Старики ахнули и смекнули делом, что у них в доме поселилась Кикимора; и хотя не видели от нее никакого зла, а все только доброе, однако же, как люди набожные, не хотели терпеть у себя в дому никакой нечисти. У нас был тогда в деревне священник, отец Савелий, вечная ему память. Нечего сказать, хороший был человек: исправлял все требы как нельзя лучше и никогда не требовал за них лишнего, а еще и своим готов был поступиться, когда видел кого при недостатках; каждое воскресенье и каждый праздник просто и внятно говаривал он проповеди и научал прихожан своих, как быть добрыми христианами, хорошими домоводцами, исправно платить подати государю и оброк помещику; сам он был человек трезвенный и крестьян уговаривал отходить подальше от кабака, словно от огня. Одно в нем было худо: человек он был ученый, знал много и все толковал по-своему:

— А разве крестьяне ему не верили?

— Ну, верили, да не во всем, батюшка барин. Бывало, расскажут ему, что ведьма в белом саване доит коров в таком-то доме, что там-то видели оборотня, который прикинулся волком либо собакой; что в такой-то двор, к молодице, летает по ночам огненный змей; а батька Савелий, бывало, и смеется,

и учнет толковать, что огненный змей — не змей, а... не припомню, как он величал его: что-то похоже на *мухамор;* что это-де воздушные огни, а не сила нечистая; напротив-де того, эти огни очищают воздух; ну, словом, разные такие затеи, что и в голову не лезет. Это и взорвет прихожан; они и твердят между собою: батька-де наш от ученья ума рехнулся.

— Глупцы же были ваши крестьяне, друг Фаддей!

— Было всякого, милосердный господин: ум на ум не приходит; были между ними и глупые люди, были и себе на уме. Все же они держались старой поговорки: отцы-де наши не глупее нас были, когда этому верили и нам передали свою старую веру.

— Вижу, что благомыслящий священник не скоро еще вобьет вам в голову, чему верить и чему не верить. Об этом надобно б было толковать сельским ребятам с тех лет, когда у них еще молоко на губах не обсохло; а старым бабам запретить, чтоб они не рассевали в народе вздорных и вредных суеверий.

— Как вашей милости угодно, — проворчал Фаддей и молча начал потрогивать вожжами.

— Что ж ты замолчал? рассказывай дальше.

— Да, может быть, мои простые речи не под стать вашей милости, и у вас от них, как говорится, уши вянут?.. Мы, крестьяне, всегда спроста соврем что-нибудь такое, что барам придется не по нутру.

— И, полно, приятель: видишь, я тебя охотно слушаю, и ты славно рассказываешь. Неужели ты доброю волею отступишься от гривенника на водку, который я тебе обещал?

— Ин быть по-вашему, батюшка барин,— промолвил Фаддей, веселее и бодрее прежнего.— Вот видите ли, старики и взмолились отцу Савелью, чтоб он отмолил дом их от Кикиморы. А отец Савелий и давай их журить: толковал им, что и старикам, и девочке, и всей семье только мерещилось то, чему они будто бы сдуру верили; что Кикимор нет и не бывало на свете и что те попы, которые из своей корысти потворствуют бабьим сказкам и народным поверьям, тяжко грешат перед богом и недостойны сана священнического. Старики, повеся нос, побрели от священника и не могли ума приложить, как бы им выжить от себя Кикимору.

В селении у нас был тогда управитель, не ведаю, немец или француз, из Митавы. Звали его по имени и по отчеству *Вот-он* Иванович, а прозвища его и вовсе пересказать не умею. Зем-

ской наш Елисей, что был тогда на конторе, в барском доме, называл его еще *господин фон-барон.* Этот *фон-барон* был великий балагур: когда, бывало, отдыхаем после работы на барщине, то он и пустится в россказни: о заморских людях, ростом с локоть, на козьих ножках, о заколдованных башнях, о мертвецах, которые бродят в них по ночам без голов, светят глазами, щелкают зубами и свистом пугают прохожих, о жар-птице, о больших морских раках, у которых каждая клешня по полуверсте длиною и которых он сам видал на краю света... Да мало ли чего он нам рассказывал: всего не складешь и в три короба. Говорил он по-русски не больно хорошо: иного в речах его, хоть лоб взрежь, никак не выразумеешь; а начнет, бывало, рассказывать — так и сыплет речами: инда уши развесишь и о работе забудешь; да он и сам на тот раз не скоро, бывало, о ней вспомнит. Крестьяне были той веры, что у *Вот-он* Ивановича было *много в носу;* что до меня, я ничего не заметил, кроме табаку, который он большими напойками набивал себе в нос из старой, закоптелой тавлинки. Он, правда, выдумывал на барском дворе какие-то машины для посева и для молотьбы хлеба; только молотильня его чуть было самому ему не размолотила головы, и сколько ни бились над нею человек двенадцать — ни одного снопа не могли околотить; а сеяльная машина на одной борозде высеяла столько, сколько на целую десятину в нее было засыпано. Однако же крестьяне все по-прежнему думали, что в нем сидит бесовщина и что его недостанет только на путное дело. К нему-то на воскресной мирской сходке присоветовали старому Панкрату идти с поклоном и просьбою, чтоб он избавил его дом от вражьего наваждения.

Пантелеич с старухою пустились в барский двор, где жил тогда *Вот-он* Иванович, и принесли ему, как водится, на поклон барашка в бумажке, да того-сего прочего, примером сказать, рублей десятка на два. Наш иноземец было и зазнался: «Сотна рублоф, менши ни копейка». Насилу усовестили его взять за труды беленькую, и то еще — отдай ему деньги вперед. Да велел он старикам купить три бутылки красного вина: его-де Кикиморы боятся; да штоф рому и голову сахару — опрыскивать и окуривать избу с наговором. Нечего было делать, старик отправил самого проворного из своих внуков на лихой тройке за покупками, и к вечеру как тут все явилось. Пошли с докладом к *Вот-он* Ивановичу, он и приплелся в дом к Панкрату, весь в черном. Сперва начал отведывать вино, велел согреть воды, отколол большой кусок сахару, положил

в кипяток и долил ромом; и это все он отведывал, чтоб узнать, годятся ли снадобья для нашептывания. Вот как выпил он бутылку виноградного да осушил целую чашку раствору из рому с сахаром,— и разобрала его колдовская сила. Как начал он петь, как начал кричать на каком-то неведомом языке, — ну, хоть святых вон неси! Велел подать четыре сковороды с горячими угольями, всыпал в каждую по щепотке мелкого сахару и расставил по всем четырем углам; после того шептал что-то над бутылками и штофом, взял глоток рому в рот, пустился бегать по избе да прыскать на стены, ломаться да коверкаться, кричать изо всей силы, инда у всех волосы дыбом стали. Так он принимался до трех раз, после сказал, что все нашептанные снадобья должно вынесть из дому в новой скатерти и никогда ничего этого не вносить снова в дом; что с ними-де вынесется из дому Кикимора; велел подать скатерть, положил в ее бутылки, штоф и сахар, поздравил хозяев с избавлением от Кикиморы и понес скатерть с собою, шатаясь с боку на бок, надобно думать, от усталости.

— Что же, Кикимора больше не оставалась в доме Панкратовом?

— Вот то-то и беда, сударь, что вышло наоборот. Видно, что колдовство нашего фон-барона было не в добрый час, или он кодесник только курам на смех, или просто хотел надуть добрых людей и полакомиться на чужой счет; только вышло, как я вам сказал, наоборот. Доселе Кикимора делала только добро: холила ребенка и пряла на хозяйку, никто ее за тем ни видал, ни слыхал; а с этих пор, видно, ее раздразнили шептаньем да колдовством, она стала по ночам делать всякие проказы. То вдруг загремит и затрещит на потолке, словно вся изба рушится; то впотьмах подкатится клубом кому-либо из семьян под ноги и собьет его как овсяный сноп; то, когда все уснут, ходит по избе, урчит, ревет и сопит как медвежонок; то середь ночи запрыгает по полу синими огоньками... Словом, что ночь, то новые проказы, то новый испуг для семьи. Одну только маленькую Варю она и не трогала; и ту перестала обмывать и чесать, а часто на рассвете находили, что ребенок спал головою вниз, а ногами на подушках.

Так билась бедная семья круглый год. В один день пришла к ним в дом старушка нищая, вся в лохмотьях, и лицо у нее сжалось и сморщилось, словно сушеная груша или прошлогоднее яблоко от морозу. Тетка Емельяновна, как вы уже слышали, сударь, была старуха добрая и любила наделять нищую бра-

тию. Посадила она божью странницу за стол, накормила, напоила, дала ей денег алтын пять и наделила ее платьишком. Вот нищая и начала молить бога за всю семью; а после молвила: «Вижу, православные христиане, что господь бог наградил вас своею милостью: дом у вас как полная чаша; только не все у вас в дому здорово».— «Ох! так-то нездорово, что и не приведи бог! — отвечала тетка Марфа.— Посадили к нам, знать недобрые люди из зависти, окаянную Кикимору; она у нас по ночам все вверх дном и ворочает».— «Этому горю можно помочь; у вас не без старателей. Молитесь только богу да сделайте то, что я вам скажу: все как рукою снимет».— «Матушка ты наша родная! — взмолилась ей Емельяновна. — Чем хочешь поступимся, лишь бы эту нечисть выжить из дому».— «Слушайте ж, добрые люди! Сегодня у нас воскресенье. В среду на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни... Да, дровни; не дивитесь тому, что нынче лето; этому так быть надобно... Запрягите вы дровни четом, да не парой...» — «Как же этому можно быть, бабушка? — спросил середний внук Панкратов, молодой парень лет семнадцати и, к слову сказать, большой зубоскал.— Ведь что чет, что пара — все равно!» — «Велик, парень, вырос, да ума не вынес,— отвечала ему старуха нищая,— не дашь домолвить, а слова властно с дуба рвешь. Вот как люди запрягают четом, да не парой: в корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову, или наоборот: корову в корень, а лошадь на пристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю, и подвезите дровни вплоть к сеням; расстелите на дровнях шубу шерстью вверх. Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз: «Честен дом, святые углы! отметайтеся вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и до века. Вон, окаянный!» Да трижды перебросьте горсть земли чрез плечо из сеней к дровням, да трижды сплюньте; после того свезите дровни этою ж самою упряжью в лес и оставьте там и дровни, и шубу: увидите, что с этой поры вашего врага и в помине больше не будет».— Старики поблагодарили нищую, наделили ее вдесятеро больше прежнего и отпустили с богом.

В эти трое суток, от воскресенья до середы, Кикимора, видно почуяв, что ей не ужиться дольше в том доме, шалила и проказила пуще прежнего. То посуду столкнет с полок, то навалится на кого в ночи и давит, то лапти все соберет в кучу

и приплетет их одни к другим бичевками так плотно, что их сам бес не распутает; то хлебное зерно перетаскает из сушила на ледник, а лед из ледника на сушило. В последний день и того хуже: целое утро даже не было никому покою. Весь домашний скарб был переворочен вверх дном, и во всем доме не осталось ни кринки, ни кувшина неразбитого. Страшнее же всего было вот что: вдруг увидели, что маленькая Варя, которая играла на дворе, остановилась середи двора, размахнув ручонками, смотрела долго на кровлю, как будто бы там кто манил ее, и, не спуская глаз с кровли, бросилась к стене, начала карабкаться на нее как котенок, взобралась на самый гребень кровли и стала, сложа ручонки, словно к смерти приговоренная. У всей семьи опустились руки; все, не смигивая, смотрели на малютку, когда она, подняв глаза к небу, стояла как вкопанная на самой верхушке, бледна как полотно, и духу не переводила. Судите же, батюшка барин, каково было ее родным видеть, что малютка Варя вдруг стремглав полетела с крыши, как будто бы кто из пушки ею выстрелил! Все бросились к малютке: в ней не было ни дыхания, ни жизни; тело было холодно как лед и закостенело; ни кровинки в лице и по всем составам; а никакого пятна или ушиба заметно не было. Старуха бабушка с воем понесла ее в избу и положила под святыми; отец и мать так и бились над нею; а старик Панкрат, погоревав малую толику, тотчас хватился за ум, чтоб им доле не терпеть от дьявольского наваждения. Велел внукам поскорее запрягать дровни, как им заказывала нищая, и подвезти к сеням; а сам приготовил все, как было велено, и ждал назначенного часа. На старика и внуков его, бывших тогда на дворе, сыпались черепья, иверни кирпичей и мелкие каменья; а женщин в избе беспрестанно пугал то рев, то гул, то вой, то страшное урчание и мяуканье, словно со всего света кошки сбежались под одну крышу. То потолок начинал дрожать: так и перебирало всеми половицами и сквозь них на голову сеяло песком и золою. Все бабы, лепясь одна к другой, сжались около тела маленькой Вари и дух притаили. Так прошло не ведаю сколько часов. Вот на барском дворе зазвонили в колокол. Это бывало всегда ровно в полдень, когда садовых работников сзывали к обеду. Пантелеич опрометью кинулся в избу, схватил метлу — и давай выметать да твердить заговор, которому нищая его научила. Проказы унялись; только мяуканье, и фырканье, и детский плач, и бабий вой раздавались по всем углам. Скоро и этого не стало слышно: обе избы, светлицы, потолки и сени были выметены;

старик трижды бросил через плечо землю горстями, трижды плюнул и велел двоим внукам взять лошадь и корову под уздцы да вести их с дровнями со двора, вон из деревни, через выгон и к лесу. На дворе и по улице столпились крестьяне целой деревни, все, от мала до велика, и провожали Кикимору до самого леса...

— И ты был тут же?

— Как не быть, батюшка барин. И теперь помню, что меня в жаркую пору такой холод пронял со страху, что зуб на зуб не попадал; а за ушами так и жало, словно кто стягивал у меня кожу со всей головы.

— Да видел ли ты Кикимору?

— Нет, грех сказать, не видал. Видел только дровни, а на них тулуп овчиной вверх; больше ничего.

— Кто ж ее видел?

— Да бог весть! Сказывала мне, правда, тетка Афимья, спустя после того годов с десяток, будто она слышала от соседки, а та от своей золовки, что была у нас тогда в селе одна старуха, про которую шла слава, что она мороковала колдовством и часто видала то, чего другие не видели; и что эта-де старуха видела на дровнях большую-пребольшую серую кошку с белыми крапинами; что кошка эта сидела на тулупе, сложа все четыре лапы вместе и ощетиня шерсть, сверкала глазами и страшно скалила зубы во все стороны. Как бы то ни было, только с сей поры ни в Панкратовом доме, ни в целой деревне и слыхом не слыхали больше про Кикимору.

— Радуюсь и поздравляю вашу деревню... А что ж было с малюткою Варей?

— Бедняжка все лежала как мертвая. Старики и вся семья поплакали над нею и хотели ее похоронить. Позвали отца Савелья. Он посмотрел на тело и сказал, что малютке сделался младенческий припадок, словно от испугу, и ни за что не хотел ее хоронить до трех суток. Через три дня, в воскресенье, та же старушка нищая постучалась у окна в Панкратовом доме; ее впустили. Емельяновна рассказала ей всю подноготную и повела ее в светлицу, где лежало тело Варюши. Нищая велела его переложить со стола на лавку, поставила икону подле изголовья, затеплила свечку, села сама у изголовья, положила голову ребенка к себе на колени и обхватила ее обеими руками. После того выслала она всю семью из светлицы, и даже вон из избы. Что она делала над ребенком, она только сама знает; а через несколько часов Варя очнулась как встрепанная и к вечеру играла уже с другими детьми на улице.

— Ну, что же далее?

— Да больше ничего, сударь. Все пошло с тех пор подобру-поздорову.

— Благодарствую, друг мой, за сказку: она очень забавна.

— Гм! какая вам, сударь, сказка; а бедной-то семье вовсе было не забавно во время этой передряги.

— Но послушай, приятель: ведь ты сам не видал Кикиморы?

— Нет. Я уж об этом докладывал вашей милости.

— И Петр, и Яков, и все крестьяне вашей деревни тоже ее не видали?

— Вестимо, так!

— Что же рассказывал о ней сам старик Панкрат?

— Ничего, до гробовой своей доски. Еще, бывало, и осердится, старый хрен, как поведут об этом слово, и вскинется с бранью: «Вздор-де вы, ребята, мелете, только на мой дом позор кладете!» И детям и внукам, видно, заказал об этом говорить: ни от кого из них, бывало, не добьешься толку... Так она, проклятая, напугала старика.

— Так я тебе объясню все дело; слушай. Старые бабы или завистники Панкратовы взвели на дом его небылицу, потому что на семью его нельзя было выдумать какой-либо клеветы. Эту небылицу разнесли они по всей деревне; вам показалось то, чего вы на самом деле не видели, а поверили чужим словам. Молва эта удержалась у вас в селении; старухи твердят ее малым ребятам, и, таким образом, она переходит от старшего к младшему... Вот и вся история твоей Кикиморы.

— Моей, сударь? Упаси меня бог от нее...

Тут Фаддей перекрестился и вслед за тем прикрикнул на лошадей, замахал кнутом и помчал во весь дух. Со всем моим старанием я не мог от него добиться более ни слова. В таком упрямом молчании довез он меня до следующей станции, где так же молчаливо поблагодарил меня поклоном, когда я отдал ему условленные сверх прогонов деньги.





СКАЗКА О МЕДВЕДЕ КОСТОЛОМЕ И ОБ ИВАНЕ, КУПЕЦКОМ СЫНЕ

Посвящается баронессе С. М. Дельвиг





В старые годы, в молодые дни, не за нашею памятью, а при наших дедах да прадедах жил-был в дремучих лесах во муромских страшный медведь, а звали его Костолом. Такой он страх задал люду православному, что ни душа человеческая, бывало, не поедет в лес за дровами, а молодые молодки и малые дети давным-давно отвыкли туда ходить по грибы аль по малину. Нападет, бывало, супостат-медведь на лошадь ли, на корову ли, на прохожего ли оплошалого — и давай ломить тяжелою своею лапою по бокам да в голову, инда гул идет по лесу и по всем околоткам; череп свернет, мозг выест, кровь выпьет, а белые кости огложет, истрощит да и в кучку сложит: оттого и прозвали его Костоломом. Добрые люди ума не могли приложить, что это было за диво. Иные говорили: это-де божье попущение, другие смекали что то был колдун-оборотень, третьи, что леший прикинулся медведем, а четвертые, что это сам лукавый в медвежьей шкуре. Как бы то ни было, только хоть никто из живых не видал его, а все были той веры, что когда Костолом по лесу идет — то с лесом равен, а в траве ползет — с травою равен. Горевали бедные крестьяне по соседним селам; туго им приходилось: ни самим нельзя стало выезжать в поле на работы, страха ради медвежьего, ни стада выгонять на пастьбу. Сильных могучих богатырей, Ильи Муромца да Добрыни Никитича, не было уже тогда на белом свете, и косточки их давно уже сотлели; а мечи их кладенцы, сбруи ратные и копья булатные позаржавели: так избавить крестьян от беды и очистить муромский лес от медведя Костолома было некому.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Прошло неведомо сколько времени, а медведь Костолом все по-прежнему буянил в лесу муромском. Вот забрел в одно ближнее к лесу селение высокий и дюжий парень, статен, бел, румян, белокур, лицо полно и пригоже, словно красное солнышко. Все девицы и молодицы на него загляделися, а молодые парни от зависти кусали себе губы. За плечами у прихожего была большая связка с товарами, а в руках тяжелый железный аршин, которым он, от скуки, помахивал, как павлинным перышком. «Здравствуй, добрый молодец,— повел с ним речь Вавила, сельский староста,— издалека ли идешь, куда путь держишь?» — «Не больно и издалека, дядя: города я Коврова, села Хворостова, прихода Рождества Христова; а путь держу к Макарьеву на ярманку».— «А с какими товарами, не во гнев тебе будь сказано?» — «Да с разными крестьянскими потребами и бабьими затеями: ино платки да кумачи, ино серьги да перстеньки».— «А как величать тебя, торговый гость?» — «Зовут меня: Иван, купецкий сын».— «И ты не боишься один ходить по белу свету с товарами?» — «Чего бояться, дядя? на дикого зверя есть у меня вот этот аршин, а с лихим человеком я и просто своими руками справлюсь».— «Зверь зверю не чета, удалый молодец. Вот, недалеко сказать, и у нас завелась экая причина в муромском лесу: медведь Костолом дерет у нас и людей, и всякий крупный и мелкий скот».— «Подавайте мне его! — вскрикнул Иван, купецкий сын, засуча рукава красной александрийской своей рубашки.— Я с ним слажу, будь хоть он семи пядей во лбу. Давно уже слышу я слухи про этого медведя, а хотел бы видеть от него виды. Меня сильно берет охота с ним переведаться... Что же вы распустили горло, зубоскалы? — промолвил он с сердцем, оборотясь к молодым парням, которые смеялись до пологу, потому что сочли его за хвастуна.— Ну вот отведайте-ка сил со мною: не поодиночке, такого из вас, вижу, не сыщется, а ухватитесь сколько можете больше за обе мои руки». Вот и налегли ему на каждую руку по четыре человека, и держались изо всех сил. Иван, купецкий сын, встряхнулся — и все попадали как угорелые мухи. «Это вам еще цветики, а вот будут и ягодки,— сказал Иван, купецкий сын,— кто из вас хочет померяться моим аршином? Возьмите». Только кто ни брался за аршин, не мог и приподнять его обеими руками. «И не диво, — проговорил Иван, купецкий сын,— в нем двенадцать пуд счетных. Теперь смотрите же».— Он взял аршин в правую руку, размахнул им, инда по воздуху зажужжало, и бросил вверх

так, что аршин из глаз ушел, а после с свистом полетел вниз и впился в землю на полсажени. Иван, купецкий сын, подошел к тому месту, выхватил аршин из земли как морковку и, поглядя на насмешников таким взглядом, что у каждого из них во рту пересохло, молвил: «Смейтесь же, удальцы! или вы только языком горы ворочаете?.. Ну, смелее, дайте окрик на самохвала».— «Молодец! силач!» — крикнули в один голос и старый, и малый. Староста Вавила повел Ивана, купецкого сына, в свой дом, истопил баню для дорогого гостя, накормил его, напоил и спать уложил.

Вот на другой день, еще черти в кулачки не бились, Иван, купецкий сын, встал, умылся, богу помолился и, оставя связку с товарами в доме у старосты, взял только свой аршин и пошел к лесу. Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли ходил он — мы не станем переливать из пустого в порожнее: скажем только, что все крестьяне не пошли в тот день на работу, а сошлись на площади перед церковью, молились богу за Ивана и за то, чтоб он одолел медведя Костолома, и забыли о еде и питье. Щи выкипели в горшках у баб, каша перепарилась, и хлебы в печи пригорели, а никто и не думал идти обедать. Ждать-пождать — Ивана нет как нет! Вот и солнышко пошло на закат; все крестьяне осмелясь, вышли из деревни, стали около огородов и не сводя глаз смотрели к лесу; жалели о купецком сыне, думали что он на беду свою расхрабрился, а красные девушки и вздыхали тайком в кумачные рукава свои — не ведаю, об Иване или о медвежьей шкуре: не время было тогда выпытывать. Вдруг послышался из лесу такой страшный рев, что у всех от него головы пошли ходунем. Смотрят — из лесу бежит большой-пребольшой черный медведь, а на нем сидит верхом Иван, купецкий сын, держит медведя руками за уши и толкает под бока каблуками, которые подбиты были тяжелыми железными подковами; аршин Иванов висит у него за поясом и от медвежьей рыси болтается да тоже постукивает по медведю. Спустя малое время медведь с седоком своим прибежал прямо к деревне и упал замертво у самого того места, где собрались крестьяне. Иван, купецкий сын, успел соскочить вовремя, схватил свой аршин и единым махом раскроил череп медведю. «Вот вам, добрые люди, живите да радуйтесь,— молвил купецкий сын крестьянам,— видите ли, у вашего Костолома теперь и у самого кости переломаны». После того зашел он к старосте, выпил чару другую зелена вина, наелся чем бог послал, сказал спасибо хозяину и, вскинув связку за плеча, поже-

лал всему сельскому миру всего доброго. «Чем же мы тебе поплатимся за твою послугу?» — спрашивали крестьяне. «Добрым словом да вашими молитвами», — отвечал Иван, купецкий сын. «А шкура-то медвежья? ведь она твоя!» — взговорили ему крестьяне. «Пусть она при вас останется: берегите ее у себя в деревне да вспоминайте про Ивана, купецкого сына!» За сим поклон — и был таков.

Крестьяне пировали три дня и три ночи по уходе Ивана, купецкого сына, на радостях о своей избаве от медведя Костолома. И я там был, мед-пиво пил: по усам текло, а в рот не попало... А к этой сказке вместо присловья любезной нашей имениннице желаю доброго здоровья: дай ей бог жить да поживать, худа не знать, а добро наживать да пиры пировать!

1829



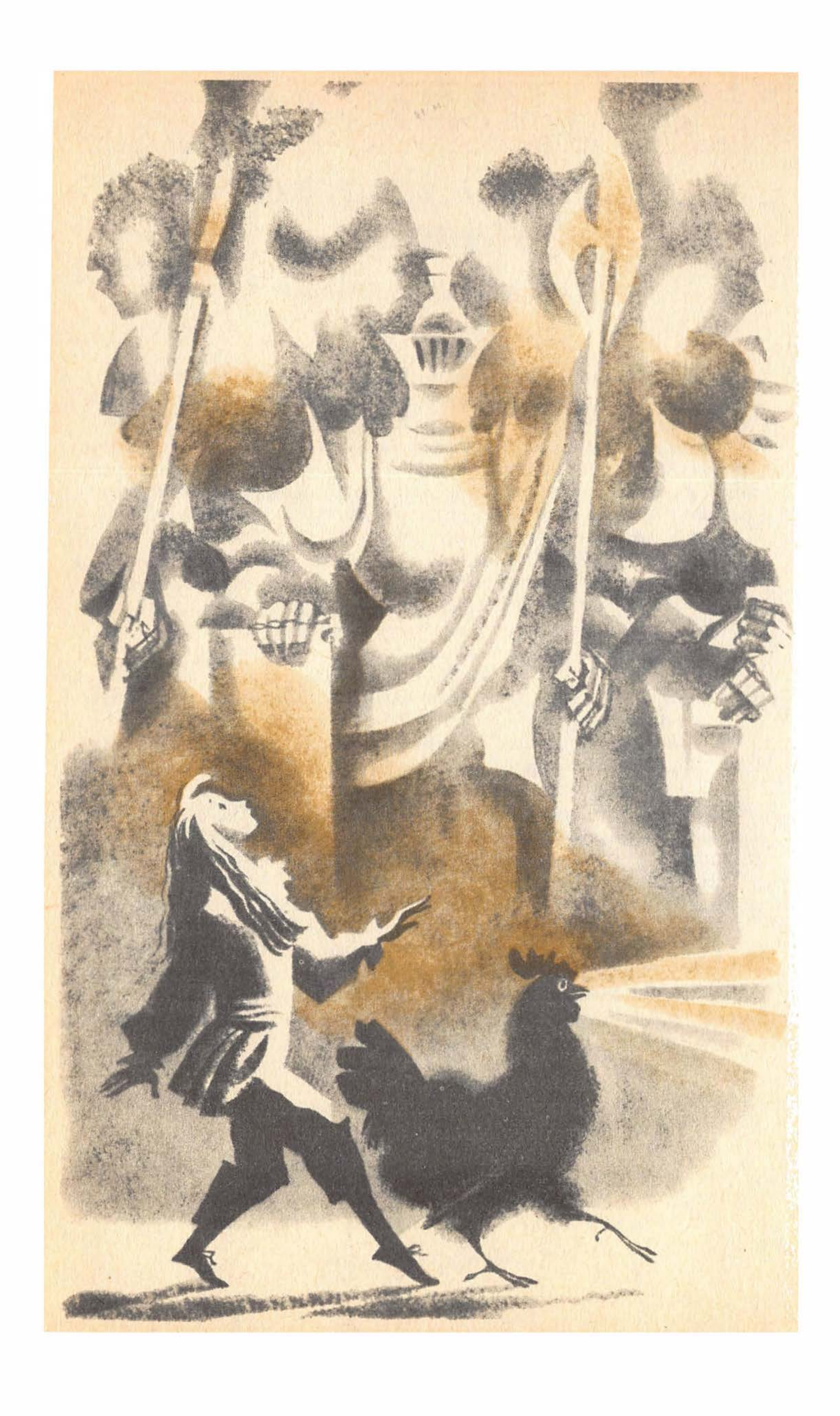


Алексей Алексеевич Перовский

Антоний Погорельский
(1787—1836)

Был старшим сыном вельможи А. К. Разумовского и М. М. Соболевской, фамилия его произошла от названия подмосковного имения, где прошло его детство,— Перово. Получил домашнее образование, восемнадцати лет поступил в Московский университет и в 1807 г. окончил его со званием доктора философии и словесных наук. После университета служил в Москве, общался с литераторами, познакомился с В. А. Жуковским, дружил с П. А. Вяземским.
В 1812 году записался в казачий украинский полк, принимал участие в партизанской войне, был в битвах под Дрезденом и при Кульме. Затем два года служил адъютантом кн. Репнина, генерал-губернатора Саксонии. В Германии посещал артистические салоны, был знаком с Э. Т. А. Гофманом.
В 1822 году после смерти отца вышел в отставку, стал жить в имении «Погорельцы» в Малороссии, занимался сочинительством и воспитанием племянника, А. К. Толстого,— будущего писателя. В 1825—1827 годах был попечителем Харьковского университета.
Литературный талант Перовского — яркий и фантастический — сделал его очень заметной фигурой в русском романтизме. Первая повесть, «Лафертовская маковница» (1825), была опубликована в «Новостях литературы» А. Воейкова, «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1825) представляет собой серию повестей, объединенных единым повествованием; в 1829 г. вышла повесть-сказка для детей «Черная курица, или Подземные жители», в журнале «Бабочка» — перевод английской ультраромантической повести «Посетитель магика» («Вечный жид у Агриппы»), в «Литературной газете» (1830) было опубликовано начало романа «Магнетизер», который остался неоконченным, и, наконец, роман «Монастырка», необыкновенно популярный в свое время.
Умер Перовский скоропостижно, в Варшаве, в 1836 году.







ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ

Волшебная повесть для детей



Лет сорок тому назад в Петербурге, на Васильевском острове, в Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею красотою, хотя и далеко еще не был таким, каков теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей. Деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь,— одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее. Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, теперь же обратимся опять к пансиону, который лет сорок тому назад находился на Васильевском острове, в Первой линии.

Дом, которого теперь вы уже не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу. Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны

жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки голландки, из которых каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали.

В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени Алеша, которому тогда было не более девяти или десяти лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом мало-помалу он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме.

Вообще дни учения для него проходили скоро и приятно, но, когда наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. В то время в литературе господствовала мода на рыцарские романы и волшебные повести, и библиотека, которою пользовался наш Алеша, большею частью состояла из книг сего рода.

Итак, Алеша, будучи еще в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимым его занятием в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие века... Особливо в вакантное время, когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным, дремучим лесам.

Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и потому Алеше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха играть на дворе, первое движение его было — подбегать к забо-

ру. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу.

Другое занятие Алеши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора в нарочно для них выстроенном домике и целый день играли и бегали на дворе. Алеша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, названную *Чернушкою.* Чернушка была к нему ласковее других; она даже иногда позволяла себя гладить, и потому Алеша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого, редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу более, нежели подруг своих.

Однажды (это было во время зимних вакаций), в прекрасный и необыкновенно теплый день, Алеше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ, и еще накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и киевское варенье. Алеша тоже по мере сил способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезывать красивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещенные два бриллиантовые перстня, когда-то подаренные ее мужу родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый, изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая притом строго, чтоб как-нибудь не испортилась прическа. Для того сама она не входила в кухню, а давала приказания своей

кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа не так была высока.

В продолжение всех этих забот Алешу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтоб на просторе играть на дворе. По обыкновению своему, он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку; но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алеше никогда не нравилась эта кухарка — сердитая и бранчливая. Но с тех пор, как он заметил, что она-то и была причиною, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, и, чувствуя с горестию, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.

— Алеша! Алеша! помоги мне поймать курицу! — кричала кухарка.

Но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другою выкатывались из его глаз и падали на землю.

Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору — то манила курочек: «Цып, цып, цып!» — то бранила их.

Вдруг сердце у Алеши еще сильнее забилось: ему послышался голос любимой его Чернушки. Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:

Куда́х, куда́х, куду́ху!
Алеша, спаси Чурнуху!
Куду́ху, куду́ху,
Чернуху, Чернуху!

Алеша никак не мог долее оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.

— Любезная, милая Тринушка! — вскричал он, обливаясь слезами. — Пожалуйста, не тронь мою Чернуху!

Алеша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алеше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:

Куда́х, куда́х, куду́ху!
Не поймала ты Чернуху!
Куду́ху, куду́ху,
Чернуху, Чернуху!

Между тем кухарка была вне себя от досады и хотела бежать к учителю, но Алеша не пустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.

— Душенька, Тринушка! — говорил он. — Ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая... Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра.

Алеша вынул из кармана империал, составлявший все его имение, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтоб удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алеше очень-очень жаль было империала, но он вспомнил о Чернушке и с твердостью отдал драгоценный подарок.

Таким образом Чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти.

Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алеше. Она как будто знала, что он ее избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанья.

Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алешу позвали наверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперед по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей.

Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы.

В другое время Алеша был бы очень рад приезду директора, которого давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на этот раз любопытство его уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей: о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка ку-

дахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему хотела сказать, и его так и тянуло к курятнику... Но делать было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!

Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали.

Всё пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтобы встретить его внизу, у крыльца; гости встали с мест своих. И даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его: директор успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь,— подумал он,— то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом!»

Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстою учительшею, стоявшею в самых дверях; но, когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел... не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок! Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.

Сколь, однако ж, ни казалось все это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт: разного рода варенья, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.

— Подите,— отвечал учитель,— только не долго там будьте: уж скоро сделается темно.

Алеша поспешно надел свою красную бекешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег и, сонные, не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувство-

вала охоты ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с ней играл; наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что она тихонько ему говорит:

— Алеша, Алеша! останься со мною!

Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости. Прежде нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкою, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей.

Немного погодя учитель, провожавший директора со свечкой, вошел к нему в комнату, посмотрел, все ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом.

Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, падал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы.

Наконец все утихло. Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться... ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается, и немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовет его:

— Алеша, Алеша!

Алеша испугался. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится... еще внятнее услышал, что кто-то говорит:

— Алеша, Алеша!

Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла... черная курица!

— Ах! Это ты, Чернушка! — невольно вскричал Алеша.— Как ты зашла сюда?

Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:

— Это я, Алеша! Ты не боишься меня, не правда ли?

— Зачем я тебя буду бояться? — отвечал он. — Я тебя люблю; только для меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить умеешь!

— Если ты меня не боишься,— продолжала курица,— так поди за мною. Одевайся скорее!

— Какая ты, Чернушка, смешная! — сказал Алеша. — Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу, я и тебя насилу вижу!

— Постараюсь этому помочь,— сказала курочка.

Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг, откуда ни взялись, маленькие свечки в серебряных шандалах, не больше как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет.

Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.

— Иди за мною! — сказала она ему.

И он смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю.

— Дверь заперта ключом,— сказал Алеша.

Но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась. Потом, пройдя через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями и дверь в покои старушек отворилась.

Алеша в первой комнате увидел всякого рода старинную мебель: резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синей мура́вой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебель, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила.

Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался! В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.

— Не трогай здесь ничего,— сказала она.— Берегись разбудить старушек!

Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами; она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтоб не попросить у ней лапки... Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дуррак! дуррак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, Алеша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась... и еще долго слышно было, как попугай кричал: «Дуррак! дуррак!»

— Как тебе не стыдно! — сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек. — Ты, верно, разбудил рыцарей...

— Каких рыцарей? — спросил Алеша.

— Ты увидишь, — отвечала курочка. — Не бойся, однако ж, ничего, иди за мною смело.

Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках.

Чернушка шла вперед на цыпочках и Алеше велела следовать за собой тихонько-тихонько.

В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями о щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья... вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться! Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок.

Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни Чернушки, ни рыцарей, Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью: во сне ли он все то видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел наверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб выйти из дома.

За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.

— Впрочем,— прибавила она,— беда невелика, если бы она и пропала: она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.

Алеша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтоб ее нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.

После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.

Настало время ложиться спать, и Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня — точно так, как накануне... Опять послышался ему голос, его зовущий: «Алеша, Алеша!» — и немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.

— Ах! Здравствуй, Чернушка! — вскричал он вне себя от радости. — Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?

— Здорова,— отвечала курочка,— но чуть было не занемогла по твоей милости.

— Как это, Чернушка? — спросил Алеша, испугавшись.

— Ты добрый мальчик,— продолжала курочка,— но ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек,— несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей — и я насилу с ними сладила!

— Виноват, любезная Чернушка, вперед не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен.

— Хорошо,— сказала курочка,— увидим!

Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицею. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался.

Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от

них отвернулся. Во второй комнате старушки голландки, так же как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою; но он помнил приказание Чернушки и прошел, не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился — такими они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места.

Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья.

Чернушка сделалась большая и нахохлилась. Но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алеша увидел, что то были пустые латы! Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее.

Немного погодя вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые.

Тут Чернушка оставила Алешу.

— Побудь здесь немного,— сказала она ему,— я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, наклонясь фарфоровым куклам. Если б ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы.— После сего Чернушка вышла из залы.

Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из мрамора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.

Между тем как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен: иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но он не мог понять, что они говорили

Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы... Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы.

В одно мгновение комната сделалась еще светлее, все маленькие свечки еще ярче загорелись, и Алеша увидел двадцать маленьких рыцарей в золотых латах, с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошел в залу человек с величественной осанкой, с венцом на голове, блестящими драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях.

Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подойдя к Алеше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алеша повиновался.

— Мне давно было известно,— сказал король,— что ты добрый мальчик; но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти.

— Когда? — спросил Алеша с удивлением.

— Третьего дня на дворе,— отвечал король.— Вот тот, который обязан тебе жизнью.

Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал.

Сколь для Алеши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:

— Господин король! Я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастие избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца...

— Что ты говоришь! — прервал его с гневом король.— Мой министр — не курица, а заслуженный чиновник!

Тут министр подошел ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная Чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.

— Скажи мне, чего ты желаешь? — продолжал король.— Если я в силах, то непременно исполню твое требование.

— Говори смело, Алеша! — шепнул ему на ухо министр.

Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошее; но так как ему показалось неучтивым заставлять дожидаться короля, то он поспешил ответом.

— Я бы желал,— сказал он,— чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне ни задали.

— Не думал я, что ты такой ленивец,— отвечал король, покачав головою.— Но делать нечего, я должен исполнить свое обещание.

Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно копопляное семечко.

— Возьми это семечко,— сказал король.— Пока оно будет у тебя, ты всегда будешь знать урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей.

Алеша взял конопляное семечко, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше.

Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он спас министра. Они все предлагали ему свои услуги: одни спрашивали, не хочет ли он погулять

в саду или посмотреть королевский зверинец; другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец, министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

Сначала повел он его в сад. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алеше

— Камни эти,— сказал министр,— у вас называются драгоценными. Это все брильянты, яхонты, изумруды и аметисты.

— Ах, когда бы у нас этими камнями усыпаны были дорожки! — вскричал Алеша.

— Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь,— отвечал министр.

Деревья также показались Алеше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета: красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара.

Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алеше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова.

Возвратившись в комнаты после прогулки, Алеша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных брильянтов, яхонтов и изумрудов.

— Кушай что угодно,— сказал министр,— с собою же брать ничего не позволяется.

Алеша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.

— Вы обещались взять меня с собою на охоту,— сказал он.

— Очень хорошо,— отвечал министр.— Я думаю, что лошади уже оседланы.

Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большою ловкостью вскочил на свою лошадь. Алеше подвели палку гораздо более других.

— Берегись,— сказал министр,— чтоб лошадь тебя не сбросила: она не из самых смирных.

Алеша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был небесполезен. Палка начала под ним увертываться, как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алеша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать свою бешеную палку.

Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алеша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненную, министр велел вылечить и отвести в зверинец.

По окончании охоты Алеша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился.

Большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья.

— Скажи, пожалуйста,— начал Алеша,— зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

— Если бы мы их не истребляли,— сказал министр,— то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам позволено их у нас употреблять.

— Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы?— продолжал Алеша.

— Неужели ты никогда не слыхал, что под землею живет народ наш?— отвечал министр.— Правда, не многим удается нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить местопребывание наше и идти далеко-далеко,

в другие страны. Ты легко себе можешь представить, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно прошу тебя быть как можно скромнее. В противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край...

— Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить,— прервал его Алеша.— Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землею. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.

— Быть может, что это правда,— отвечал министр.

— Но,— сказал Алеша,— объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую связь имеете вы со старушками голландками?

Чернушка, желая удовлетворить его любопытство, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели.

Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать. Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — все это смешалось в его голове, и он насилу мысленно привел в порядок все, виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король ему подарил конопляное зернышко, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим,— подумал он,— сдержит ли слово свое король! Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков».

Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было выучить наизусть несколько страниц из всемирной истории, а он не знал еще ни одного слова!

Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались уроки. От десяти до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона.

У Алеши сильно билось сердце... Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным семечком... Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил; однако Алеша не принимал его хва-

лу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда.

В продолжение нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайным его успехам. Алеша внутренне стыдился этих похвал: ему совестно было, что ставили его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.

В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного семечка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился, думая, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

Между тем слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша.

Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтоб нанять дом гораздо просторнее того, в котором они жили.

Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился: из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордым и непослушным. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алеша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учености, будешь самое несчастное дитя!»

Иногда он и принимал намерение исправиться; но, к несчастью, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже и день ото дня товарищи менее его любили.

Притом Алеша сделался страшным шалуном. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще больше портила его нрав.

Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал ему уроки вдвое и втрое бо́льшие, нежели другим; но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца, без малейшей ошибки.

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее.

Куда! Наш Алеша и не думал об уроке! В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно.

На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алеше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность; он раскрыл рот... И не мог выговорить ни слова!

— Что же вы молчите? — сказал ему учитель. — Говорите урок.

Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах... все тщетно! Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное семечко, он даже и не заглядывал в книгу.

— Что это значит, Алеша? — закричал учитель. — Почему вы не хотите говорить?

Алеша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в карман, чтоб ощупать семечко... Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел! Слезы градом полились из глаз его... он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова.

Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтоб он не знал по крайней мере начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

— Подите в спальню,— сказал он,— и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок.

Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.

Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное семечко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню — все напрасно! Нигде не было и следов любезного семечка! Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе.

Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили ему выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю, и семечко его, верно, которая-нибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помошь Чернушку.

— Милая Чернушка! — говорил.— Любезный министр! Пожалуйста, явись мне и дай другое семечко! Я, право, впредь буду осторожнее.

Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять принялся горько плакать.

Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошел учитель.

— Знаете ли вы теперь урок? — спросил он у Алеши.

Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.

— Ну так оставайтесь здесь, пока не выучите! — сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного.

Алеша стал твердить наизусть, но ничего не выходило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но, когда настал вечер, он не знал более двух или трех страниц, да и то плохо.

Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.

— Алеша! Знаете ли вы урок? — спросил он.

И бедный Алеща сквозь слезы отвечал:

— Знаю только две страницы.

— Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде,— сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился.

Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был добрым и скромным, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова.

Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. «И Чернушка меня оставила»,— подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз.

Вдруг... простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица.

Сердце в нем стало биться сильнее... он желал, чтоб Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.

— Чернушка, Чернушка! — сказал он наконец вполголоса.

Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.

— Ах, Чернушка! — сказал Алеша вне себя от радости.— Я не смел надеяться, что с тобою увижусь! Ты меня не забыла?

— Нет,— отвечала она,— я не могу забыть оказанной тобою услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь... я не узнаю тебя!

Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:

— Теперь я должна тебя оставить, Алеша! Вот конопляное семечко, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя этого дара за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне

все, что тебе о нас известно... Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего — неблагодарности!

Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться.

— Ты увидишь, милая Чернушка,— сказал он,— что я сегодня же совсем другой буду.

— Не полагай,— отвечала Чернушка,— что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку, и потому если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться!

Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое семечко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться! — мыслил он.— Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут». Увы, бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя должно начать тем, чтобы откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали наверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом.

— Знаете ли вы урок ваш? — спросил учитель, взглянув на него строго.

— Знаю,— отвечал Алеша смело.

Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель был вне себя от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей.

От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин.

— Вы знаете урок свой,— сказал он ему,— это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?

— Вчера я не знал его,— отвечал Алеша.

— Быть не может! — прервал его учитель.— Вчера ввечеру вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и те плохо, а теперь без ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили?

Алеша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:

— Я выучил его сегодня поутру!

Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос:

— Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру!

Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.

— Отвечайте же! — продолжал учитель. — Когда выучили вы урок?

Но Алеша не прерывал молчания: он так поражен был этим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться.

Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.

— Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, — сказал он Алеше, — тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того дан вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа! — продолжал учитель, обращаясь к пансионерам. — Запрещаю вам говорить с Алешею до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги.

Принесли розги... Алеша был в отчаянии! В первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же — Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.

— Надобно было думать об этом прежде, — был ему ответ.

Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него. А Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать.

— Хорошо! — сказал наконец учитель. — Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объяснили, когда вы выучили заданный урок.

Алеша совершенно потерял голову... он забыл обещание, данное подземному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях...

Учитель не дал ему договорить.

— Как! — вскричал он с гневом. — Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице?.. Этого слишком уж много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать!

И бедного Алешу высекли.

С поникшею головою Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый... Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман... конопляного семечка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно.

В вечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное семечко возвратить невозможно.

Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати... Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза: он боялся увидеть Чернушку! Совесть его мучила. Еще вчера он так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится,— и вместо того... Что он ей теперь скажет?

Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни... Кто-то подошел к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени:

— Алеша, Алеша!

Но он стыдился открыть глаза, а между тем слезы из них катились и текли по щекам его...

Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно взглянул: перед ним стояла Чернушка — не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно, как он видел ее в подземной зале.

— Алеша! — сказал министр,— я вижу, что ты не спишь... Прощай! Я пришел с тобой проститься, более мы не увидимся!

Алеша громко зарыдал.

— Прощай! — воскликнул он.— Прощай! И, если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобою.

— Алеша! — сказал сквозь слезы министр.— Я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и всё тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видеться с тобой на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно!

Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух.

— Что это такое? — спросил он с изумлением.

Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся.

— Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи, — сказал министр с глубоким вздохом, — но не плачь, Алеша! Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!

Министр пожал Алеше руку и скрылся под соседнюю кровать.

— Чернушка, Чернушка! — кричал ему вслед Алеша, но Чернушка не отвечала.

Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто внизу проходило множество маленьких людей. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра-Чернушки, который кричал ему:

— Прощай, Алеша! Прощай навеки!

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.

Недель через шесть Алеша выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

1829



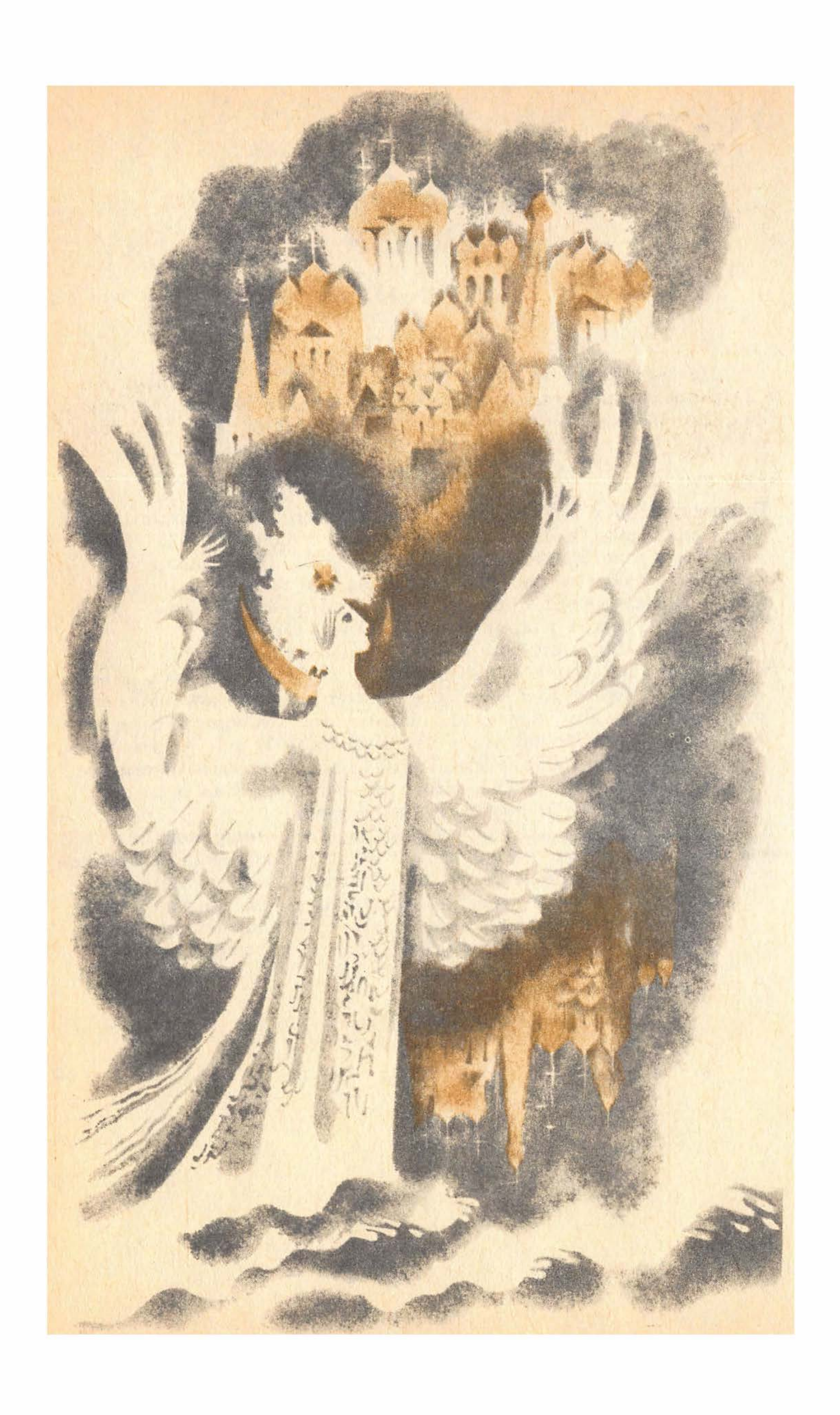


Александр Сергеевич Пушкин

(1799—1837)

Детские годы провел в Москве. В 1811 г. был принят в Царскосельский лицей, который окончил в 1817 г. По выходе из Лицея стал чиновником Коллегии иностранных дел, *жил* в Петербурге, писал поэму «Руслан и Людмила» (1820 г.), был самым известным молодым поэтом декабристского направления.
В апреле 1820 г. отправлен в ссылку за вольнолюбивые стихи, *жил* сначала в Молдавии (1820—1823), в Одессе (1823—1824), затем в селе Михайловское (1824—1826). Это было время бурного развития таланта поэта, за эти годы создан цикл романтических поэм, трагедия «Борис Годунов», шесть глав романа «Евгений Онегин», множество лирических стихотворений.
Возвратился из ссылки осенью 1826 г. общепризнанным первым поэтом России. До 1831 г. в пятилетие, названное «годами странствий», много переезжал, в том числе совершил поездку на Кавказ, на театр военных действий (в 1829 г.). За эти годы написаны поэмы «Полтава», 7—10 главы «Евгения Онегина», повести Белкина, «Маленькие трагедии», «Сказка о попе...» и другие произведения.
В феврале 1831 г. поэт женился на Н. Н. Гончаровой, а в мае переехал в Петербург. В последние годы работал над «Историей Петра» и «Историей Пугачева», написал поэмы «Медный Всадник», «Анджело», повесть «Пиковая дама», цикл «Песни западных славян» и еще многие произведения.
В 1836 г. начал издавать журнал «Современник».
Погиб на дуэли.







СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ



Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
«Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?»
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?»
Балда говорит: «Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу».

Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь розь.
Да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде: «Ладно.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на моем подворье,
Окажи свое усердие и проворье».
Живет Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых;
Дó светла все у него пляшет,
Лошадь запряжет, полосу вспашет,
Печь затопит, все заготовит, закупит,
Яичко испечет, да сам и облупит.
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попенок зовет его тятей;
Кашу заварит, нянчится с дитятей.
Только поп один Балду не любит,
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько;
Время идет, и срок уж близенько.
Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит:
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признается:
«Так и так: что делать остается?»
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив.
Попадья говорит: «Знаю средство,
Как удалить от нас такое бедство:
Закажи Балде службу, чтоб стало ему не в мочь;
А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь.
Тем ты и лоб от расправы избавишь,
И Балду-то без расплаты отправишь».
Стало на сердце попа веселее,
Начал он глядеть на Балду посмелее.
Вот он кричит: «Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались черти
Мне оброк по самой моей смерти;
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки за три года.
Как наешься ты своей полбы,

Собери-ка с чертей оброк мне полный».
Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошел, сел у берега моря;
Там он стал веревку крутить
Да конец ее в море мочить.
Вот из моря вылез старый Бес:
«Зачем ты, Балда, к нам залез?»
— Да вот веревкой хочу море морщить,
Да вас, проклятое племя, корчить.—
Беса старого взяла тут унылость.
«Скажи, за что такая немилость?»
— Как за что? Вы не плотите оброка,
Не помните положенного срока;
Вот ужо будет нам потеха,
Вам, собакам, великая помеха.—
«Ба́лдушка, погоди ты морщить море,
Оброк сполна ты получишь вскоре.
Погоди, вышлю к тебе внука».
Балда мыслит: «Этого провести не штука!»
Вынырнул подосланный бесенок,
Замяукал он, как голодный котенок:
«Здравствуй, Балда мужичок;
Какой тебе надобен оброк?
Об оброке век мы не слыхали,
Не было чертям такой печали.
Ну, так и быть — возьми, да с уговору,
С общего нашего приговору —
Чтобы впредь не было никому горя:
Кто скорее из нас обежит около моря,
Тот и бери себе полный оброк,
Между тем там приготовят мешок».
Засмеялся Балда лукаво:
«Что ты это выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!
Подожди-ка моего меньшого брата».
Пошел Балда в ближний лесок,
Поймал двух зайков, да в мешок.
К морю опять он приходит,
У моря бесенка находит.
Держит Балда за уши одного зайку:
«Попляши-тка ты под нашу балалайку:
Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка».
Пустились бесенок и зайка:
Бесенок по берегу морскому,
А зайка в лесок до дому.
Вот, море кругом обежавши,
Высунув язык, мордку поднявши,
Прибежал бесенок, задыхаясь,
Весь мокрешенек, лапкой утираясь,
Мысля: дело с Балдою сладит.
Глядь — а Балда братца гладит,
Приговаривая: «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! отдохни, родимый».
Бесенок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел.
На братца поглядывает боком.
«Погоди,— говорит,— схожу за оброком».
Пошел к деду, говорит: «Беда!
Обогнал меня меньшой Балда!»
Старый Бес стал тут думать думу.
А Балда наделал такого шуму,
Что все море смутилось
И волнами так и расходилось.
Вылез бесенок: «Полно, мужичок,
Вышлем тебе весь оброк —
Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любую мету.
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.
Что ж? боишься вывихнуть ручки?
Чего ты ждешь?» — «Да жду вон этой тучки;
Зашвырну туда твою палку,
Да и начну с вами, чертями, свалку».
Испугался бесенок, да к деду,
Рассказывать про Балдову победу,
А Балда над морем опять шумит
Да чертям веревкой грозит.
Вылез опять бесенок: «Что ты хлопочешь?
Будет тебе оброк, коли захочешь...»
— Нет,— говорит Балда,—
Теперь моя череда,
Условия сам назначу,
Задам тебе, враженок, задачу,
Посмотрим, какова у тебя сила.

Видишь, там сивая кобыла?
Кобылу подыми-тка ты,
Да неси ее полверсты;
Снесешь кобылу, оброк уж твой;
Не снесешь кобылы, ан будет он мой.—
Бедненький бес
Под кобылу подлез,
Понатужился,
Понапружился,
Приподнял кобылу, два шага шагнул,
На третьем упал, ножки протянул.
А Балда ему: «Глупый ты бес,
Куда ж ты за нами полез?
И руками-то снести не смог,
А я, смотри, снесу промеж ног».
Сел Балда на кобылку верхом,
Да версту проскакал, так что пыль столбом.
Испугался бесенок и к деду
Пошел рассказывать про такую победу.
Делать нечего — черти собрали оброк
Да на Балду взвалили мешок.
Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится.
Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал.
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

1830





СКАЗКА О МЕДВЕДИХЕ



Как весенней теплою порою
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу дремучего
Выходила медведиха
Со милыми детушками медвежатами
Погулять, посмотреть, себя показать.
Села медведиха под белой березою;
Стали медвежата промеж собой играть,
По муравушке валятися,
Боротися, кувыркатися.
Отколь ни возьмись мужик идет,
Он во руках несет рогатину,
А нож-то у него за поясом,
А мешок-то у него зá плечьми.
Как завидела медведиха
Мужика со рогатиной,
Заревела медведиха,

Стала кликать малых детушек,
Своих глупых медвежатушек.
— Ах вы детушки, медвежатушки,
Перестаньте играть, валятися,
Боротися, кувыркатися.
Уж как знать на нас мужик идет.
Становитесь, хоронитесь за меня.
Уж как я вас мужику не выдам
И сама мужику ... выем.

———

Медвежатушки испугалися,
За медведиху бросалися,
А медведиха осержалася,
На дыбы подымалася.
А мужик-то он догадлив был,
Он пускался на медведиху,
Он сажал в нее рогатину,
Что повыше пупа, пониже печени.
Грянулась медведиха о сыру землю,
А мужик-то ей брюхо порол,
Брюхо порол, да шкуру сымал,
Малых медвежатушек в мешок поклал,
А поклавши-то домой пошел.

———

«Вот тебе, жена, подарочек,
Что медвежия шуба в пятьдесят рублев,
А что вот тебе другой подарочек,
Трои медвежата по пять рублев».

———

Не звоны пошли по городу,
Пошли вести по всему по лесу,
Дошли вести до медведя черно-бурого,
Что убил мужик его медведиху,
Распорол ей брюхо белое,
Брюхо распорол, да шкуру сымал,
Медвежатушек в мешок поклал.
В ту пору медведь запечалился,
Голову повесил, голосом завыл
Про свою ли сударушку,

Черно-бурую медведиху.
— Ах ты свет моя медведиха,
На кого меня покинула,
Вдовца печального,
Вдовца горемычного?
Уж как мне с тобой, моей боярыней,
Веселой игры не игрывати,
Милых детушек не родити,
Медвежатушек не качати,
Не качати, не баюкати.—
В ту пору звери собиралися
Ко тому ли медведю, к боярину.
Приходили звери большие,
Прибегали тут зверишки меньшие.
Прибегал туто волк дворянин,
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые.
Приходил тут бобр, торговый гость,
У него-то, бобра, жирный хвост.
Приходила ласочка дворяночка,
Приходила белочка княгинечка,
Приходила лисица подьячиха,
Подьячиха, казначеиха,
Приходил скоморох горностаюшка,
Приходил байбак тут игумен,
Живет он, байбак, позадь гумен.
Прибегал тут зайка смерд,
Зайка беленький, зайка серенький.
Приходил целовальник еж,
Все-то еж он ежится,
Все-то он щетинится.

1830





СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ



Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица,—
Говорит одна девица,—
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
«Кабы я была царица,—
Говорит ее сестрица,—
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
«Кабы я была царица,—
Третья молвила сестрица,—

Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во все время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица,—
Говорит он,— будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха».

В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха,
И завидуют оне
Государевой жене.
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.

В те поры война была.
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра-коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем, как он далеко

Бьется долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребенком
Как орлица над орленком;
Шлет с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести ее хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».

Как услышал царь-отец,
Что донес ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
«Ждать царева возвращенья
Для законного решенья».

Едет с грамотой гонец,
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Обобрать его велят;
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другую —
И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю —
Ей и сыну злую долю,

Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян —
Так велел-де царь Салтан.

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут,
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.
День прошел, царица вопит...
А дитя волну торопит:
«Ты волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли —
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зеленый над холмом.
Сын подумал: добрый ужин

Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелковый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,
Стрелкой легкой завострил
И пошел на край долины
У моря искать дичины.

К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон...
Видно, нá море не тихо;
Смотрит — видит дело лихо:
Бьется лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет,
Воду вкруг мутит и хлещет...
Тот уж когти распустил,
Клёв кровавый навострил...
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела —
Коршун в море кровь пролил,
Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет
И не птичьим криком стонет,
Лебедь около плывет,
Злого коршуна клюет,
Гибель близкую торопит,
Бьет крылом и в море топит —
И царевичу потом
Молвит русским языком:
«Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня;
Что стрела пропала в море;
Это горе — все не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,
Девицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя я не забуду:

Ты найдешь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись».

Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грезы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. «То ли будет? —
Говорит он, — вижу я:
Лебедь тешится моя».
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит,
Хор церковный бога хвалит;
В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают
И царевича венчают
Княжей шапкой, и главой
Возглашают над собой;
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И нарекся: князь Гвидон.

Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет,
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:

Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой,
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их он кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Черно-бурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана...»
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца».
Лебедь князю: «Вот в чем горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблем?
Будь же, князь, ты комаром».
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,

Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице;
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят
И в глаза ему глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду;

Молвит он: «Коль жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
«Уж диковинка, ну право,—
Подмигнув другим лукаво,
Повариха говорит,—
Город у моря стоит!
Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поет
И орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут».
Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится —
И впился комар как раз
Тетке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара.
«Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!..» А он в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное завесть
Мне б хотелось. Где-то есть
Ель в лесу, под елью белка:

Диво, право, не безделка —
Белка песенки поет,
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Но, быть может, люди врут».
Князю лебедь отвечает:
«Свет о белке правду бает;
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу
Оказать тебе я в дружбу».
С ободренною душой
Князь пошел себе домой;
Лишь ступил на двор широкий —
Что ж? под елкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех.
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет
И с присвисточкой поет
При честном при всем народе:
Во саду ли, в огороде.
Изумился князь Гвидон.
«Ну, спасибо,— молвил он.—
Ай да лебедь — дай ей боже,
Что и мне, веселье то же».
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого:
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;

Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок —
И лежит нам путь далек:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана...»
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон
Шлет царю-де свой поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь — а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Молит князь, душа-де просит,
Так и тянет и уносит...
Вот опять она его
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь оборотился,
Полетел и опустился
Между моря и небес
На корабль — и в щель залез.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана —
И желанная страна
Вот уж издали видна;
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости.
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате

На престоле и в венце,
С грустной думой на лице,
А ткачиха с Бабарихой
Да с кривою поварихой
Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Если только жив я буду,
Чудный остров навещу,

У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
Усмехнувшись исподтиха,
Говорит царю ткачиха:
«Что тут дивного? ну, вот!
Белка камушки грызет,
Мечет золото и в груды
Загребает изумруды;
Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли говоришь.
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!»
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан дивится,
А Гвидон-то злится, злится...
Зажужжал он и как раз
Тетке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:
«Ай!» — и тут же окривела;
Все кричат: «Лови, лови,
Да дави ее, дави...
Вот ужо! постой немножко,
Погоди...» А князь в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море прилетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод

Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает —
Диво б дивное хотел
Перенесть я в мой удел».
«А какое ж это диво?»
— Где-то вздуется бурливо
Окиян, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Князю лебедь отвечает:
«Вот что, князь, тебя смущает?
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морские
Мне ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай,
В гости братцев поджидай».

Князь пошел, забывши горе,
Сел на башню, и на море
Стал глядеть он: море вдруг
Всколыхалося вокруг,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идет
И ко граду их ведет.
С башни князь Гвидон сбегает,
Дорогих гостей встречает;
Второпях народ бежит;

Дядька князю говорит:
«Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.
Мы отныне ежеденно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских,
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море;
Тяжек воздух нам земли».
Все потом домой ушли.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете?
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
Торговали мы булатом,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далек,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон
Шлет-де свой царю поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.

К морю князь, а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит...
Так и тянет и уносит...
И опять она его
Вмиг обрызгала всего.

Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят —
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой, вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
Каждый день идет там диво:

Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге —
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит,
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить —
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу».
Повариха и ткачиха
Ни гугу — но Бабариха,
Умехнувшись, говорит:
«Кто нас этим удивит?
Люди из моря выходят
И себе дозором бродят!
Правду ль бают, или лгут,
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идет молва правдива:
За морем царевна есть:
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава:
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво».

Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан дивится —
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей:
Он над ней жужжит, кружится —
Прямо на нос к ней садится,
Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волдырь.
И опять пошла тревога:
«Помогите, ради бога!
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави...
Вот ужо! пожди немножко,
Погоди!..» А шмель в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Не женат лишь я хожу».
— А кого же на примете
Ты имеешь? — «Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает —
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?»
Князь со страхом ждет ответа.

Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь,
Да за пояс не заткнешь.
Услужу тебе советом —
Слушай: обо всем об этом
Пораздумай ты путем,
Не раскаяться б потом».
Князь пред нею стал божиться,
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всем
Передумал он путем;
Что готов душою страстной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель
Хоть за тридевять земель.
Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: «Зачем далеко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта — я».
Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Князь царевну обнимает,
К белой груди прижимает
И ведет ее скорей
К милой матушке своей.
Князь ей в ноги, умоляя:
«Государыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе,
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:

Ты детей благослови
Жить в совете и любви».
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слезы льет и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».
Князь не долго собирался,
На царевне обвенчался;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовет их в гости,
Он их кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы недаром
Неуказанным товаром;
А лежит нам путь далек:
Восвояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да напомните ему,
Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе не собрался —
Шлю ему я свой поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
Дома на сей раз остался
И с женою не расстался.

Ветер весело шумит.
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна
К царству славного Салтана,
И знакомая страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовет их в гости.
Гости видят: во дворце
Царь сидит в своем венце,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка в нем живет ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет;
А орешки не простые,
Скорлупы-то золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там еще другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя женка есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит,
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался».

Тут уж царь не утерпел,
Снарядить он флот велел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят царя пустить
Чудный остров навестить.
Но Салтан им не внимает
И как раз их унимает:
«Что я? царь или дитя? —
Говорит он не шутя: —
Нынче ж еду!» — Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.

Под окном Гвидон сидит,
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва, едва трепещет,
И в лазоревой дали
Показались корабли:
По равнинам Окияна
Едет флот царя Салтана.
Князь Гвидон тогда вскочил,
Громогласно возопил:
«Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!

Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда».
Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:
Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются оне
Незнакомой стороне.
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили;
К морю сам идет Гвидон;
Там царя встречает он
С поварихой и ткачихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
В город он повел царя,
Ничего не говоря.

Все теперь идут в палаты:
У ворот блистают латы,
И стоят в глазах царя
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь ступил на двор широкой:
Там под елкою высокой
Белка песенку поет,
Золотой орех грызет,
Изумрудец вынимает
И в мешочек опускает;
И засеян двор большой
Золотою скорлупой.
Гости дале — торопливо
Смотрят — что ж? княгиня — диво:
Под косой луна блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведет.
Царь глядит — и узнает...
В нем взыграло ретивое!
«Что я вижу? что такое?

Как!» — и дух в нем занялся...
Царь слезами залился,
Обнимает он царицу,
И сынка, и молодицу,
И садятся все за стол;
И веселый пир пошел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Разбежались по углам;
Их нашли насилу там.
Тут во всем они признались,
Повинились, разрыдались;
Царь для радости такой
Отпустил всех трех домой.
День прошел — царя Салтана
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мед, пиво пил —
И усы лишь обмочил.

1831





СКАЗКА
О РЫБАКЕ И РЫБКЕ



Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод,—
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,—
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод,—
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой,—золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:

Откуплюсь чем только пожелаешь».
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась чем только пожелаю.
Не посмел я взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем раскололось».

Вот пошел он к синему морю;
Видит,— море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто».
Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!

Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ль корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».

Вот пошел он к синему морю
(Помутилося синее море),
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не дает старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет».
Пошел он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светелкой,
С кирпичною, беленою трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чем свет стоит мужа ругает.
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».

Пошел старик к синему морю
(Не спокойно синее море);
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не дает старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом».

Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьет их, за чупрун таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».
На него прикрикнула старуха,
На конюшне служить его послала.

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? —
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдешь, поведут поневоле».

Старичок отправился к морю
(Почернело синее море),
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! будет старуха царицей!»

Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик,— испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела,
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись: поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»

Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

1833





СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ



Царь с царицею простился,
В путь-дорогу снарядился,
И царица у окна
Села ждать его одна.
Ждет-пождет с утра до ночи,
Смотрит в поле, инда очи
Разболелись глядючи
С белой зори до ночи;
Не видать милого друга!
Только видит: вьется вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белешенька земля.
Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.
Вот в сочельник в самый, в ночь
Бог дает царице дочь.

Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный,
Издалеча наконец
Воротился царь-отец.
На него она взглянула,
Тяжелешенько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.

Долго царь был неутешен,
Но как быть? и он был грешен;
Год прошел как сон пустой,
Царь женился на другой.
Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертеться, подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь.

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,

Поднялась — и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.
И жених сыскался ей,
Королевич Елисей.
Сват приехал, царь дал слово,
А приданое готово:
Семь торговых городов
Да сто сорок теремов.

На девичник собираясь,
Вот царица, наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
Что же зеркальце в ответ?
«Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее».
Как царица отпрыгнет,
Да как ручку замахнет,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!..
«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне назло.
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь-то успокою.
Вишь какая подросла!
И не диво, что бела:
Мать брюхатая сидела
Да на снег лишь и глядела!
Но скажи: как можно ей
Быть во всем меня милей?
Признавайся: всех я краше.
Обойди все царство наше,
Хоть весь мир; мне ровной нет.
Так ли?» Зеркальце в ответ:
«А царевна все ж милее,
Все ж румяней и белее».
Делать нечего. Она,
Черной зависти полна,
Бросив зеркальце под лавку,
Позвала к себе Чернавку
И наказывает ей,

Сенной девушке своей,
Весть царевну в глушь лесную
И, связав ее, живую
Под сосной оставить там
На съедение волкам.

Черт ли сладит с бабой гневной?
Спорить нечего. С царевной
Вот Чернавка в лес пошла
И в такую даль свела,
Что царевна догадалась,
И до смерти испугалась,
И взмолилась: «Жизнь моя!
В чем, скажи, виновна я?
Не губи меня, девица!
А как буду я царица,
Я пожалую тебя».
Та, в душе ее любя,
Не убила, не связала,
Отпустила и сказала:
«Не кручинься, бог с тобой».
А сама пришла домой.
«Что? — сказала ей царица,—
Где красавица девица?»
— Там, в лесу, стоит одна,—
Отвечает ей она,—
Крепко связаны ей локти;
Попадется зверю в когти,
Меньше будет ей терпеть,
Легче будет умереть.

И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
Тужит бедный царь по ней.
Королевич Елисей,
Помолясь усердно богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей душой,
За невестой молодой.

Но невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем все шла да шла
И на терем набрела.

Ей навстречу пес, залая,
Прибежал и смолк, играя;
В ворота вошла она,
На подворье тишина.
Пес бежит за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо;
И взялася за кольцо;
Дверь тихонько отворилась,
И царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.
Видит девица, что тут
Люди добрые живут;
Знать, не будет ей обидно.
Никого меж тем не видно.
Дом царевна обошла,
Все порядком убрала,
Засветила богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась.

Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей.
Старший молвил: «Что за диво!
Все так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек.
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названый.
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица».

И царевна к ним сошла,
Честь хозяям отдала,
В пояс низко поклонилась;
Закрасневшись, извинилась,
Что-де в гости к ним зашла,
Хоть звана и не была.
Вмиг по речи те спознали,
Что царевну принимали;
Усадили в уголок,
Подносили пирожок,
Рюмку полну наливали,
На подносе подавали.
От зеленого вина
Отрекалася она;
Пирожок лишь разломила,
Да кусочек прикусила,
И с дороги отдыхать,
Отпросилась на кровать.
Отвели они девицу
Вверх во светлую светлицу
И оставили одну,
Отходящую ко сну.

День за днем идет, мелькая,
А царевна молодая
Все в лесу, не скучно ей
У семи богатырей.
Перед утренней зарею
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сарачина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса.
А хозяюшкой она
В терему меж тем одна
Приберет и приготовит,
Им она не прекословит,
Не перечут ей они.
Так идут за днями дни.

Братья милую девицу
Полюбили. К ней в светлицу
Раз, лишь только рассвело,
Всех их семеро вошло.
Старший молвил ей: «Девица,
Знаешь, всем ты нам сестрица,
Всех нас семеро, тебя
Все мы любим, за себя
Взять тебя мы все бы ради,
Да нельзя, так бога ради
Помири нас как-нибудь:
Одному женою будь,
Прочим ласковой сестрою.
Что ж качаешь головою?
Аль отказываешь нам?
Аль товар не по купцам?»

«Ой вы, молодцы честные,
Братцы вы мои родные,—
Им царевна говорит,
Коли лгу, пусть бог велит
Не сойти живой мне с места.
Как мне быть? ведь я невеста.
Для меня вы все равны,
Все удалы, все умны,
Всех я вас люблю сердечно;
Но другому я навечно
Отдана. Мне всех милей
Королевич Елисей».

Братья молча постояли
Да в затылке почесали.
«Спрос не грех. Прости ты нас,—
Старший молвил, поклонясь,—
Коли так, не заикнуся
Уж о том».— «Я не сержуся,—
Тихо молвила она,—
И отказ мой не вина».
Женихи ей поклонились,
Потихоньку удалились,
И согласно все опять
Стали жить да поживать.

Между тем царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить ее,

А на зеркальце свое
Долго дулась и сердилась;
Наконец об нем хватилась
И пошла за ним, и, сев
Перед ним, забыла гнев,
Красоваться снова стала
И с улыбкою сказала:
«Здравствуй, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты прекрасна, спору нет;
Но живет без всякой славы,
Средь зеленыя дубравы,
У семи богатырей
Та, что все ж тебя милей».
И царица налетела
На Чернавку: «Как ты смела
Обмануть меня? и в чем!..»
Та призналася во всем:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.

Раз царевна молодая,
Милых братьев поджидая,
Пряла, сидя под окном.
Вдруг сердито под крыльцом
Пес залаял, и девица
Видит: нищая черница
Ходит по двору, клюкой
Отгоняя пса. «Постой,
Бабушка, постой немножко,—
Ей кричит она в окошко,—
Пригрожу сама я псу
И кой-что тебе снесу».
Отвечает ей черница:
«Ох ты, дитятко девица!
Пес проклятый одолел,
Чуть до смерти не заел.
Посмотри, как он хлопочет!
Выдь ко мне».— Царевна хочет
Выйти к ней и хлеб взяла,
Но с крылечка лишь сошла,

Пес ей под ноги — и лает,
И к старухе не пускает;
Лишь пойдет старуха к ней,
Он, лесного зверя злей,
На старуху. «Что за чудо?
Видно, выспался он худо,—
Ей царевна говорит: —
На ж, лови!» — и хлеб летит.
Старушонка хлеб поймала.
«Благодарствую,— сказала.—
Бог тебя благослови;
Вот за то тебе, лови!»
И к царевне наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко летит...
Пес как прыгнет, завизжит...
Но царевна в обе руки
Хвать — поймала. «Ради скуки
Кушай яблочко, мой свет.
Благодарствуй за обед».
Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала...
И с царевной на крыльцо
Пес бежит и ей в лицо
Жалко смотрит, грозно воет,
Словно сердце песье ноет,
Словно хочет ей сказать:
Брось! — Она его ласкать,
Треплет нежною рукою;
«Что, Соколко, что с тобою?
Ляг!» — и в комнату вошла,
Дверь тихонько заперла,
Под окно за пряжу села
Ждать хозяев, а глядела
Все на яблоко. Оно
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто медом налилось!
Видны семечки насквозь...
Подождать она хотела
До обеда, не стерпела,
В руки яблочко взяла,
К алым губкам поднесла,
Потихоньку прокусила

И кусочек проглотила...
Вдруг она, моя душа,
Пошатнулась не дыша,
Белы руки опустила,
Плод румяный уронила,
Закатилися глаза,
И она под образа
Головой на лавку пала
И тиха, недвижна стала...

Братья в ту пору домой
Возвращалися толпой
С молодецкого разбоя.
Им навстречу, грозно воя,
Пес бежит и ко двору
Путь им кажет. «Не к добру! —
Братья молвили,— печали
Не минуем». Прискакали,
Входят, ахнули. Вбежав,
Пес на яблоко стремглав
С лаем кинулся, озлился,
Проглотил его, свалился
И издох. Напоено
Было ядом, знать, оно.
Перед мертвою царевной
Братья в горести душевной
Все поникли головой,
И с молитвою святой
С лавки подняли, одели,
Хоронить ее хотели
И раздумали. Она,
Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.
Ждали три дня, но она
Не восстала ото сна.
Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили — и толпой
Понесли в пустую гору,
И в полуночную пору
Гроб ее к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили

И решеткой оградили;
И, пред мертвою сестрой
Сотворив поклон земной,
Старший молвил: «Спи во гробе;
Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса;
Дух твой примут небеса.
Нами ты была любима
И для милого хранима —
Не досталась никому,
Только гробу одному».

В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой задала:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты, царица, спору нет,
Ты на свете всех милее,
Всех румяней и белее».

За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрен;
Кто в глаза ему смеется,
Кто скорее отвернется;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец.
«Свет наш солнышко! ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с теплою весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей». — «Свет ты мой,—
Красно солнце отвечало,—
Я царевны не видало.
Знать, ее в живых уж нет.
Разве месяц, мой сосед,

Где-нибудь ее да встретил
Или след ее заметил».

Темной ночки Елисей
Дождался в тоске своей.
Только месяц показался,
Он за ним с мольбой погнался.
«Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Ты встаешь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий,
И, обычай твой любя,
Звезды смотрят на тебя.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей».— «Братец мой,—
Отвечает месяц ясный,—
Не видал я девы красной.
На стороже я стою
Только в очередь мою.
Без меня царевна, видно,
Пробежала».— «Как обидно!» —
Королевич отвечал.
Ясный месяц продолжал:
«Погоди; об ней, быть может,
Ветер знает. Он поможет.
Ты к нему теперь ступай,
Не печалься же, прощай».

Елисей, не унывая,
К ветру кинулся, взывая:
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ее».— «Постой,—
Отвечает ветер буйный,—
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,

В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов,
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста».

Ветер дале побежал.
Королевич зарыдал
И пошел к пустому месту,
На прекрасную невесту
Посмотреть еще хоть раз.
Вот идет; и поднялась
Перед ним гора крутая;
Вкруг ее страна пустая;
Под горою темный вход.
Он туда скорей идет.
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»
И встает она из гроба...
Ах!.. и зарыдали оба.
В руки он ее берет
И на свет из тьмы несет,
И, беседуя приятно,
В путь пускаются обратно,
И трубит уже молва:
Дочка царская жива!

Дома в ту пору без дела
Злая мачеха сидела
Перед зеркальцем своим
И беседовала с ним,
Говоря: «Я ль всех милее,
Всех румяней и белее?»

И услышала в ответ:
«Ты прекрасна, слова нет,
Но царевна все ж милее,
Всё румяней и белее».
Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала
И царевну повстречала.
Тут ее тоска взяла,
И царица умерла.
Лишь ее похоронили,
Свадьбу тотчас учинили,
И с невестою своей
Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

1833





СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ



Негде в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
Смолоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,

Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга, глядь,—
Ан с востока лезет рать.
Справят здесь,— лихие гости
Идут от моря. Со злости
Инда плакал царь Дадон,
Инда забывал и сон.
Что и жизнь в такой тревоге!
Вот он с просьбой о помоге
Обратился к мудрецу,
Звездочету и скопцу.
Шлет за ним гонца с поклоном.

Вот мудрец перед Дадоном
Стал и вынул из мешка
Золотого петушка.
«Посади ты эту птицу,—
Молвил он царю,— на спицу:
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой;
Коль кругом все будет мирно,
Так сидеть он будет смирно;
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется
И в то место обернется».
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит.
«За такое одолженье,—
Говорит он в восхищенье,—
Волю первую твою
Я исполню, как мою».

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнется, встрепенется,
К той сторонке обернется
И кричит: «Кири-ку-ку,
Царствуй, лежа на боку!»

И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон!

Год, другой проходит мирно;
Петушок сидит все смирно.
Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробужден;
«Царь ты наш! отец народа! —
Возглашает воевода,—
Государь! проснись! беда!»
— Что такое, господа? —
Говорит Дадон, зевая,—
А?.. Кто там?.. беда какая? —
Воевода говорит:
«Петушок опять кричит;
Страх и шум во всей столице».
Царь к окошку,— ан на спице,
Видит, бьется петушок,
Обратившись на восток.
Медлить нечего: «Скорее!
Люди, на́ конь! Эй, живее!»
Царь к востоку войско шлет,
Старший сын его ведет.
Петушок угомонился,
Шум утих, и царь забылся.

Вот проходит восемь дней,
А от войска нет вестей;
Было ль, не было сраженья,—
Нет Дадону донесенья.
Петушок кричит опять.
Кличет царь другую рать;
Сына он теперь меньшого
Шлет на выручку большого;
Петушок опять утих.
Снова вести нет от них!
Снова восемь дней проходят;
Люди в страхе дни проводят;
Петушок кричит опять,
Царь скликает третью рать
И ведет ее к востоку,—
Сам не зная, быть ли проку.

Войска идут день и ночь;
Им становится невмочь.
Ни побоища, ни стана,
Ни надгробного кургана
Не встречает царь Дадон.
«Что за чудо?» — мыслит он.
Вот осьмой уж день проходит,
Войско в горы царь приводит
И промеж высоких гор
Видит шелковый шатер.
Всё в безмолвии чудесном
Вкруг шатра; в ущелье тесном
Рать побитая лежит.
Царь Дадон к шатру спешит...
Что за страшная картина!
Перед ним его два сына
Без шеломов и без лат
Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.
Бродят кони их средь луга,
По притоптанной траве,
По кровавой мураве...
Царь завыл: «Ох, дети, дети!
Горе мне! попались в сети
Оба наши сокола!
Горе! смерть моя пришла».
Все завыли за Дадоном,
Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслося. Вдруг шатер
Распахнулся... и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя.
Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи,
И забыл он перед ней
Смерть обоих сыновей.
И она перед Дадоном
Улыбнулась — и с поклоном
Его за руку взяла
И в шатер свой увела.
Там за стол его сажала,
Всяким яством угощала,
Уложила отдыхать

На парчовую кровать.
И потом, неделю ровно,
Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищен,
Пировал у ней Дадон.

Наконец и в путь обратный
Со своею силой ратной
И с девицей молодой
Царь отправился домой.
Перед ним молва бежала,
Быль и небыль разглашала.
Под столицей, близ ворот,
С шумом встретил их народ,—
Все бегут за колесницей,
За Дадоном и царицей;
Всех приветствует Дадон...
Вдруг в толпе увидел он,
В сарачинской шапке белой,
Весь как лебедь поседелый,
Старый друг его, скопец.
«А, здорово, мой отец,—
Молвил царь ему,— что скажешь?
Подь поближе. Что прикажешь?»
— Царь! — ответствует мудрец,—
Разочтемся наконец.
Помнишь? за мою услугу
Обещался мне, как другу,
Волю первую мою
Ты исполнить, как свою.
Подари ж ты мне девицу,
Шамаханскую царицу.—
Крайне царь был изумлен.
«Что ты? — старцу молвил он,—
Или бес в тебя ввернулся,
Или ты с ума рехнулся?
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница.
И зачем тебе девица?
Полно, знаешь ли, кто я?
Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярский,
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего».

— Не хочу я ничего!
Подари ты мне девицу,
Шамаханскую царицу,—
Говорит мудрец в ответ.
Плюнул царь: «Так лих же: нет!
Ничего ты не получишь.
Сам себя ты, грешник, мучишь;
Убирайся, цел пока;
Оттащите старика!»
Старичок хотел заспорить,
Но с иным накладно вздорить;
Царь хватил его жезлом
По лбу; тот упал ничком,
Да и дух вон. — Вся столица
Содрогнулась, а девица —
Хи-хи-хи да ха-ха-ха!
Не боится, знать, греха.
Царь, хоть был встревожен сильно,
Усмехнулся ей умильно.
Вот — въезжает в город он...
Вдруг раздался легкий звон,
И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы,
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Дадон —
Охнул раз,— и умер он.
А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.

1834





Василий Андреевич Жуковский

(1783—1852)

Сын помещика А. И. Бунина и пленной турчанки Сальхи, детство провел в селе Мишенском Тульской губернии. Учился в Московском университетском благородном пансионе (1797—1800), где и начал писать. По окончании пансиона вместе с братьями Тургеневыми (Андреем и Александром) организовал «Дружеское литературное общество» (1801—1802).

Началом своей поэтической деятельности Жуковский считал перевод элегии Томаса Грея «Сельское кладбище» (1802).

Сблизившись с Н. М. Карамзиным, принимал участие в журнале «Вестник Европы»; в 1808—1809 годы редактировал его, в 1808—1811 гг. — напечатал ряд критических и публицистических статей. В эти годы поэт становится самым известным представителем «новой школы» поэзии.

Во время войны 1812 года вступил офицером в московское ополчение, участвовал в Бородинском бое. В октябре 1812 г. написал «Певец во стане русских воинов» — одно из самых значительных произведений русской поэзии об Отечественной войне 1812 г.

В 1815 г. он стал одним из организаторов литературного общества «Арзамас».

В 1816 г. Жуковский был приглашен учить русскому языку великую княгиню Александру Федоровну, будущую императрицу, а через несколько лет он стал воспитателем наследника Российского престола — Александра Николаевича.

Преподавательская деятельность заняла — с перерывами, посвященными поездкам за границу,— свыше двадцати лет.

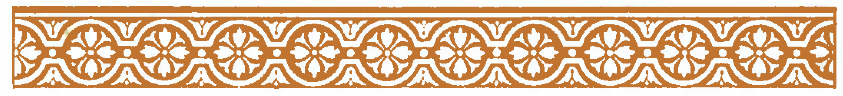
Только в 1839 г., завершив с наследником большое путешествие по Европейской России, Западной Сибири и Западной Европе, он расстался со своим учеником и с царским двором.

Художественная деятельность Жуковского после 1820 г. была, по преимуществу, переводческой. Поэт познакомил русских читателей с древнерусской («Слово о полку Игореве», 1817—1819), европейской (произведения Байрона, Шиллера, Бюргера, Саути и многих других писателей и поэтов), древнегреческой (Вергилий, «Одиссея» Гомера, 1842—1848), индийской («Наль и Дамаянти»), персидской («Рустем и Зораб» из «Шах-Наме» Фирдоуси) поэзией.

Последние годы жизни поэта прошли вдали от родины. Женившись на Е. И. Рейтерн (1841 г.), он навсегда остался в Германии.









СКАЗКА О ЦАРЕ БЕРЕНДЕЕ, О СЫНЕ ЕГО ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ, О ХИТРОСТЯХ КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО И О ПРЕМУДРОСТИ МАРЬИ-ЦАРЕВНЫ, КОЩЕЕВОЙ ДОЧЕРИ



Жил-был царь Берендей *до колен борода.* Уж три года
Был он женат и жил в согласье с женою; но все им
Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.
Нýжда случилась царю осмотреть свое государство;
Он простился с царицей и восемь месяцев ровно
Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он,
К царской столице своей подъезжая, на поле чистом
В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку;
Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось
Выпить студеной воды. Но поле было безводно...
Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился
Сам объехать все поле: авось попадется на счастье
Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь. Поспешно
Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон водою
Вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик
Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик — не тут-то
Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку

Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает
Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо и влево,
Только что дразнит царя и никак не дается.
Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик
Стал на место, хвать его разом справа и слева —
Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка нырнул он
Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность
Выплыл, как будто ни в чем не бывал. «Постой же!
(подумал Царь Берендей), я напьюсь без тебя»,— и, недолго сбираясь,
Жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую
Начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула
Вся его борода. Напившися вдоволь, поднять он
Голову хочет... ан нет, погоди! не пускают; и кто-то
Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца,
Силится он оторваться, трясет, вертит головою —
Держат его, да и только. «Кто там? пустите!» — кричит он.
Нет ответа; лишь страшная смотрит со дна образина:
Два огромные глаза горят, как два изумруда;
Рот разинутый чудным смехом смеется; два ряда
Крупных жемчужин светятся в нем, и язык, меж зубами
Выставясь, дразнит царя; а в бороду впутались крепко
Вместо пальцев клешни. И вот наконец сиповатый
Голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну;
Я тебя не пущу. Если же хочешь на волю,
Дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь».
Царь подумал: «Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю
Все!» И он отвечал образине: «Изволь, я согласен».—
«Ладно! — опять сиповатый послышался голос.— Смотри же,
Слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа».
С этим словом исчезли клешни; образина пропала.
Честную выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь,
Всех придворных обрызгал, и все царю поклонились.
Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал,
Только уж вот он близко столицы; навстречу толпами
Сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях
Звон. И царь подъезжает к своим златоверхим палатам —
Там царица стоит на крыльце и ждет; и с царицей
Рядом первый министр; на руках он своих парчовую
Держит подушку; на ней же младенец, прекрасный как светлый
Месяц, в пеленках копышется. Царь догадался и ахнул.
«Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый
Демон, меня!» Так он подумал и горько, горько заплакал;
Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца
На руки взявши, царь Берендей любовался им долго,

Сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе
Скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал. О тайне
Царской никто не узнал; но все примечали, что крепко
Царь был печален — он все дожидался; вот при́дут за сыном;
Днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью.
Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич
Рос не по дням — по часам; и сделался чудо-красавец.
Вот наконец и царь Берендей о том, что случилось,
Вовсе забыл... но другие не так забывчивы были.
Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую
Чащу заехал один. Он смотрит: все дико; поляна;
Черные сосны кругом; на поляне дуплистая липа.
Вдруг зашумело в дупле; он глядит: вылезает оттуда
Чудный какой-то старик, с бородою зеленой, с глазами
Также зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич,— сказал он.—
Долго тебя дожидалися мы; пора бы нас вспомнить».—
«Кто ты?» — царевич спросил. «Об этом после; теперь же
Вот что ты сделай: отцу своему, царю Берендею,
Мой поклон отнеси да скажи от меня: не пора ли,
Царь Берендей, должок заплатить? Уж давно миновалось
Время. Он сам остальное поймет. До свиданья».— И с этим
Словом исчез бородатый старик. Иван же царевич
В крепкой думе поехал обратно из темного леса.
Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит.
«Батюшка царь-государь,— говорит он,— со мною случилось
Чудо». И он рассказал о том, что видел и слышал.
Царь Берендей побледнел, как мертвец. «Беда, мой сердечный
Друг, Иван-царевич! — воскликнул он, горько заплакав.—
Видно, пришло нам расстаться!..» И страшную тайну о данной
Клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися, родитель,—
Так отвечал Иван-царевич,— беда невели́ка.
Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся;
Тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто не проведал,
Даже сама государыня-матушка. Если ж назад я
К вам по прошествии целого года не буду, тогда уж
Знайте, что нет на свете меня». Снарядили как должно
В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые
Латы, меч и коня вороного; царица с мощами
Крест на шею надела ему; отпели молебен;
Нежно потом обнялися, поплакали... с богом! Поехал
В путь Иван-царевич. Что-то с ним будет? Уж едет
День он, другой и третий; в исходе четвертого — солнце
Только успело зайти — подъезжает он к озеру; гладко
Озеро то, как стекло; вода наравне с берегами;
Все в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем

Воды покрытые гаснут; и в них отразился зеленый
Берег и частый тростник — и все как будто бы дремлет;
Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках
Светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же
Видит он? Тридцать хохлатых сереньких уточек подле
Берега плавают; рядом тридцать белых сорочек
Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль
Слез Иван-царевич с коня; высокой травою
Скрытый, подполз и одну из белых сорочек тихонько
Взял; потом угнездился в кусте дожидаться, что будет.
Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют...
Вот наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись, подплыли
К берегу; двадцать девять из них, побежав с перевалкой
К белым сорочкам, оземь ударились, все обратились
В красных девиц, нарядились, порхнули и разом исчезли.
Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея,
Взад и вперед одна-одинешенька с жалобным криком
Около берега бьется; с робостью вытянув шейку,
Смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова присядет...
Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит
К ней из-за кустика; глядь, а она ему человечьим
Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне
Платье мое, я сама тебе пригожуся». Он с нею
Спорить не стал, положил на травку сорочку и, скромно
Прочь отошедши, стал за кустом. Вспорхнула на травку
Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица
В белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна
Так, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и, краснея,
Руку ему подает и, потупив стыдливые очи,
Голосом звонким, как струны, ему говорит: «Благодарствуй,
Добрый Иван-царевич, за то, что меня ты послушал;
Тем ты себе самому услужил, но и мною доволен
Будешь; я дочь Кощея бессмертного, Марья-царевна;
Тридцать нас у него, дочерей молодых. Подземельным
Царством владеет Кощей. Он давно уж тебя поджидает
В гости и очень сердит; но ты не пекись, не заботься,
Сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай:
Только завидишь Кощея-царя, упади на колена,
Прямо к нему поползи; затопает он — не пугайся;
Станет ругаться — не слушай; ползи да и только; что после
Будет, увидишь; теперь пора нам». Марья-царевна
В землю ударила маленькой ножкой своей; расступилась
Тотчас земля, и они вместе в подземное царство спустились.
Видят дворец Кощея бессмертного; высечен был он
Весь из карбункула камня и ярче небесного солнца

Все под землей освещал. Иван-царевич отважно
Входит: Кощей сидит на престоле в светлой короне;
Блещут глаза, как два изумруда; руки с клешнями.
Только завидел его вдалеке, тотчас на колени
Стал Иван-царевич. Кощей же затопал, сверкнуло
Страшно в зеленых глазах, и так закричал, что своды
Царства подземного дрогнули. Слово Марьи-царевны
Вспомня, пополз на карачках Иван-царевич к престолу;
Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок
Стало царю и смешно. «Добро ты, проказник,— сказал он,—
Если тебе удалося меня рассмешить, то с тобою
Ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим
К нам в подземельное царство; но знай, за твое ослушанье
Должен ты нам отслужить три службы; сочтемся мы завтра;
Ныне уж поздно, поди». Тут два придворных проворно
Под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво,
С ним пошли в покой, отведенный ему, отворили
Дверь, поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался
Там он один. Беззаботно он лег на постелю и скоро
Сном глубоким заснул. На другой день рано поутру
Царь Кощей к себе Ивана-царевича кликнул:
«Ну, Иван-царевич,— сказал он,— теперь мы посмотрим,
Что-то искусен ты делать? Изволь, например, нам построить
Нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая,
Стены из мрамора, окна хрустальные, вкруг регулярный
Сад, и в саду пруды с карасями; если построишь
Этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь;
Если же нет, то прошу не пенять... головы не удержишь!» —
«Ах ты, Кощей окаянный,— Иван-царевич подумал,—
Вот что затеял, смотри пожалуй!» С тяжелой кручиной
Он возвратился к себе и сидит пригорюнясь; уж вечер;
Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку,
Бьется об стекла — и слышит он голос: «Впусти!» Отворил он
Дверку окошка, пчелка влетела и вдруг обернулась
Марьей-царевной. «Здравствуй, Иван-царевич, о чем ты
Так призадумался?» — «Нехотя будешь задумчив,— сказал он.—
Батюшка твой до моей головы добирается».— «Что же
Сделать решился ты?» — «Что? Ничего. Пускай его снимет
Голову; двух смертей не видать, одной не минуешь».—
«Нет, мой милый Иван-царевич, не должно терять нам
Бодрости. То ли беда? Беда впереди; не печалься;
Утро вечера, знаешь сам, мудренее: ложися
Спать; а завтра поранее встань; уж дворец твой построен
Будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай в стену».
Так все и сделалось. Утром, ни свет ни заря, из каморки

Вышел Иван-царевич... глядит, а дворец уж построен.
Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился;
Верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на шутку,—
Так он сказал Ивану-царевичу,— вижу, ты ловок
На руку; вот мы посмотрим, так же ли будешь догадлив.
Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен.
Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь
Три раза мимо пройти и в третий мне раз без ошибки
Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать; не узнаешь —
С плеч голова. Поди».— «Уж выдумал, чучела, мудрость,—
Думал Иван-царевич, сидя под окном.— Не узнать мне
Марью-царевну... какая ж тут трудность?» — «А трудность такая,—
Молвила Марья-царевна, пчелкой влетевши,— что если
Я не вступлюся, то быть беде неминуемой. Всех нас
Тридцать сестер, и все на одно мы лицо; и такое
Сходство меж нами, что сам отец наш только по платью
Может нас различать».— «Ну что же мне делать?» — «А вот что:
Буду я та, у которой на правой щеке ты заметишь
Мошку. Смотри же, будь осторожен, вглядись хорошенько,
Сделать ошибку легко. До свиданья». И пчелка исчезла.
Вот на другой день опять Ивана-царевича кличет
Царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаком
Платье рядом стоят, потупив глаза. «Ну, искусник,—
Молвил Кощей,— изволь-ка пройтиться три раза мимо
Этих красавиц, да в третий раз потрудись указать нам
Марью-царевну». Пошел Иван-царевич; глядит он
В оба глаза: уж подлинно сходство! И вот он проходит
В первый раз — мошки нет; проходит в другой раз — все мошки
Нет; проходит в третий и видит — крадется мошка,
Чуть заметно, по свежей щеке, а щека-то под нею
Так и горит; загорелось и в нем, и с трепещущим сердцем:
«Вот она, Марья-царевна!» — сказал он Кощею, подавши
Руку красавице с мошкой. «Э! э! да тут, примечаю,
Что-то нечисто,— Кощей проворчал, на царевича с сердцем
Выпучив оба зеленые глаза.— Правда, узнал ты
Марью-царевну, но как узнал? Вот тут-то и хитрость;
Верно, с грехом пополам. Погоди же, теперь доберуся
Я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй;
Рады мы гостю, а ты нам свою премудрость на деле
Здесь покажи: зажгу я соломинку; ты же, покуда
Будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь с места,
Сшей мне пару сапог с оторочкой; не диво; да только
Знай наперед: не сошьешь — долой голова; до свиданья».
Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка
Марья-царевна уж там. «Отчего опять так задумчив,

Милый Иван-царевич?» — спросила она. «Поневоле
Будешь задумчив, — он ей отвечал. — Отец твой затеял
Новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой;
Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не хуже
Родом его. Кощей он бессмертный! видали мы много
Этих бессмертных». — «Иван-царевич, да что же ты будешь
Делать?» — «Что мне тут делать? Шить сапогов я не стану.
Снимет он голову — черт с ним, с собакой! какая мне ну́жда!» —
«Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста;
Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся
Или вместе погибнем. Нам должно бежать; уж другого
Способа нет». Так сказав, на окошко Марья-царевна
Плюнула; слюнки в минуту примерзли к стеклу; из каморки
Вышла она потом с Иваном-царевичем вместе,
Двери ключом заперла и ключ далеко зашвырнула.
За руки взявшись потом, они поднялися и мигом
Там очутились, откуда сошли в подземельное царство:
То же озеро, низкий берег, муравчатый, свежий
Луг, и, видят, по лугу свежему бодро гуляет
Конь Ивана-царевича. Только почуял могучий
Конь седока своего, как заржал, заплясал и помчался
Прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный в землю
Стал перед ним. Иван-царевич, не думая долго,
Сел на коня, царевна за ним, и пустились стрелою.
Царь Кощей в назначенный час посылает придворных
Слуг доложить Ивану-царевичу: что-де так долго
Мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги приходят;
Заперты двери. Стук! стук! и вот из-за двери им слюнки,
Словно как сам Иван-царевич, ответствуют: *буду.*
Этот ответ придворные слуги относят к Кощею;
Ждать-подождать — царевич нейдет; посылает в другой раз
Тех же послов рассержённый Кощей, и та же все песня:
Буду; а нет никого. Взбесился Кощей. «Насмехаться,
Что ли, он вздумал? Бегите же; дверь разломать и в минуту
За ворот к нам притащить неучтивца!» Бросились слуги...
Двери разломаны... вот тебе раз; никого там, а слюнки
Так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнул.
Ах! он вор окаянный! люди! люди! скорее
Все в погоню за ним!.. я всех перевешаю, если
Он убежит!..» Помчалась погоня... «Мне слышится топот», —
Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись
Жаркою грудью к нему. Он слезает с коня и, припавши
Ухом к земле, говорит ей: «Скачут, и близко». — «Так медлить
Нечего», — Марья-царевна сказала и в ту же минуту
Сделалась речкой сама, Иван-царевич железным

Мостиком, черным вороном конь, а большая дорога
На три дороги разбилась за мостиком. Быстро погоня
Скачет по свежему следу; но, к речке примчавшися, стали
В пень Кощеевы слуги: след до мостика виден;
Дале ж и след пропадает и делится на три дорога.
Нечего делать — назад! Воротились разумники. Страшно
Царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав.
«Черти! ведь мостик и речка были они! догадаться
Можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был непременно
Здесь он!..» Опять помчалась погоня... «Мне слышится топот»,—
Шепчет опять Ивану-царевичу Марья-царевна.
Слез он с седла и, припавши ухом к земле, говорит ей:
«Скачут, и близко». И в ту же минуту Марья-царевна
Вместе с Иваном царевичем, с ним и конь их, дремучим
Сделались лесом; в лесу том дорожек, тропинок числа нет;
По лесу ж, кажется, конь с двумя седоками несется.
Вот по свежему следу гонцы примчалися к лесу;
Видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за ними.
Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеево царство.
Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет;
Кажется, близко; ну только б схватить; ан нет, не дается.
Глядь! очутились они у входа в Кощеево царство,
В самом том месте, откуда пустились в погоню; и скрылось
Все: ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками
Снова явились к Кощею они. Как цепная собака,
Начал метаться Кощей. «Вот я ж его, плута! Коня мне!
Сам поеду, увидим мы, как от меня отвертится!»
Снова Ивану-царевичу Марья-царевна тихонько
Шепчет: «Мне слышится топот»; и снова он ей отвечает:
«Скачут, и близко».— «Беда нам! Ведь это Кощей, мой родитель
Сам; но у первой церкви граница его государства;
Далее ж церкви скакать он никак не посмеет. Подай мне
Крест твой с мощами». Послушавшись Марьи-царевны, снимает
С шеи свой крест золотой Иван-царевич и в руки
Ей подает, и в минуту она обратилася в церковь,
Он в монаха, а конь в колокольню — и в ту же минуту
С свитою к церкви Кощей прискакал. «Не видал ли проезжих,
Старец честной?» — он спросил у монаха. «Сейчас проезжали
Здесь Иван-царевич с Марьей-царевной; входили
В церковь они — святым помолились да мне приказали
Свечку поставить за здравье твое и тебе поклониться,
Если ко мне ты заедешь».— «Чтоб шею сломить им, проклятым!» —
Крикнул Кощей и, коня повернув, как безумный помчался

С свитой назад, а примчавшись домой, пересек беспощадно
Всех до единого слуг. Иван же царевич с своею
Марьей-царевной поехали дале, уже не боясь
Боле погони. Вот они едут шажком; уж склонялось
Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед ними
Город прекрасный. Ивану-царевичу смерть захотелось
В этот город заехать. «Иван-царевич,— сказала
Марья-царевна,— не езди; недаром вещее сердце
Ноет во мне: беда приключится».— «Чего ты боишься,
Марья-царевна? Заедем туда на минуту; посмотрим
Город, потом и назад».— «Заехать нетрудно, да трудно
Выехать будет. Но быть так! ступай, а я здесь останусь
Белым камнем лежать у дороги; смотри же, мой милый,
Будь осторожен: царь, и царица, и дочь их царевна
Выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный младенец
Будет; младенца того не целуй: поцелуешь — забудешь
Тотчас меня; тогда и я не останусь на свете,
С горя умру, и умру от тебя. Вот здесь, у дороги,
Буду тебя дожидаться я три дни; когда же на третий
День не придешь... но прости, поезжай». И в город поехал,
С нею простяся, Иван-царевич один. У дороги
Белым камнем осталася Марья-царевна. Проходит
День, проходит другой, напоследок проходит и третий —
Нет Ивана-царевича. Бедная Марья-царевна!
Он не исполнил ее наставленья: в городе вышли
Встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна;
Выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-кудряшка,
Живчик, глазенки как ясные звезды; и бросился прямо
В руки Ивану-царевичу; он же его красотою
Так был пленен, что, ум потерявши, в горячие щеки
Начал его целовать; и в эту минуту затмилась
Память его, и он позабыл о Марье-царевне.
Горе взяло ее. «Ты покинул меня, так и жить мне
Незачем боле». И в то же мгновенье из белого камня
Марья-царевна в лазоревый цвет полевой превратилась.
«Здесь, у дороги, останусь, авось мимоходом затопчет
Кто-нибудь в землю меня»,— сказала она, и росинки
Слез на листках голубых заблистали. Дорогой в то время
Шел старик; он цветок голубой у дороги увидел;
Нежной его красотою пленясь, осторожно он вырыл
С корнем его, и в избушку свою перенес, и в корытце
Там посадил, и полил водой, и за милым цветочком
Начал ухаживать. Что же случилось? С той самой минуты
Все не по-старому стало в избушке; чудесное что-то
Начало деяться в ней: проснется старик — а в избушке

Все уж как надобно прибрано; нет нигде ни пылинки.
В полдень придет он домой — а обед уж состряпан, и чистой
Скатерью стол уж накрыт: садися и ешь на здоровье.
Он дивился, не знал, что подумать; ему напоследок
Стало и страшно, и он у одной ворожейки-старушки
Начал совета просить что делать. «А вот что ты сделай,—
Так отвечала ему ворожейка,— встань ты до первой
Ранней зари, пока петухи не пропели, и в оба
Глаза гляди: что начнет в избушке твоей шевелиться,
То ты вот этим платком и накрой. Что будет, увидишь».
Целую ночь напролет старик пролежал на постеле,
Глаз не смыкая. Заря занялася, и стало в избушке
Видно, и видит он вдруг, что цветок голубой встрепенулся,
С тонкого стебля спорхнул и начал летать по избушке;
Все между тем по местам становилось, повсюду сметалась
Пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно с постели
Прянул старик и накрыл цветочек платком, и явилась
Вдруг пред глазами его красавица Марья-царевна.
«Что ты сделал? — сказала она.— Зачем возвратил ты
Жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич прекрасный,
Бросил меня, и я им забыта».— «Иван твой царевич
Женится нынче. Уж свадебный пир приготовлен, и гости
Съехались все». Заплакала горько Марья-царевна;
Слезы потом отерла; потом, в сарафан нарядившись,
В город крестьянкой пошла. Приходит на царскую кухню;
Бегают там повара в колпаках и фартуках белых;
Шум, возня, стукотня. Вот Марья-царевна, приближась
К старшему повару, с видом умильным и сладким, как флейта,
Голосом молвила: «Повар, голубчик, послушай, позволь мне
Свадебный спечь пирог для Ивана-царевича». Повар,
Занятый делом, с досады хотел огрызнуться; но слово
Замерло вдруг у него на губах, когда он увидел
Марью-царевну; и ей отвечал он с приветливым взглядом:
«В добрый час, девица-красавица; все что угодно
Делай; Ивану-царевичу сам поднесу я пирог твой».
Вот пирог испечен; а званые гости, как должно,
Все уж сидят за столом и пируют. Услужливый повар
Важно огромный пирог на узорном серебряном блюде
Ставит на стол перед самым Иваном-царевичем; гости
Все удивились, увидя пирог. Но лишь только верхушку
Срезал с него Иван-царевич — новое чудо!
Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда.
Голубь по́ столу ходит; голубка за ним и воркует:
«Голубь, мой голубь, постой, не беги; обо мне ты забудешь
Так, как Иван-царевич забыл о Марье-царевне!»

Ахнул Иван-царевич, то слово голубки услышав;
Он вскочил как безумный и кинулся в дверь, а за дверью
Марья-царевна стоит уж и ждет. У крыльца же
Конь вороной с нетерпенья, оседланный, взнузданный, пляшет.
Нечего медлить; поехал Иван-царевич с своею
Марьей-царевной; едут да едут, и вот приезжают
В царство царя Берендея они. И царь и царица
Приняли их с весельем таким, что такого веселья
Видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стали
Думать, честным пирком да за свадебку; съехались гости,
Свадьбу сыграли; я там был, там мед я и пиво
Пил; по усам текло, да в рот не попало. И все тут.

1831





СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА



Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своей
Он в согласье много лет;
А детей все нет как нет.
Раз царица на лугу,
На зеленом берегу
Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит, ползет к ней рак;
Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль;
Но забудь свою печаль;
Понесешь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь».—
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак...»
Но уж рак уполз в ручей,
Не слыхав ее речей.
Он, конечно, был пророк;
Что сказал — сбылося в срок:
Дочь царица родила.
Дочь прекрасна так была,
Что ни в сказке рассказать,
Ни пером не описать.
Вот царем Матвеем пир

Знатный дан на целый мир;
И на пир веселый тот
Царь одиннадцать зовет
Чародеек молодых;
Было ж всех двенадцать их,
Но двенадцатой одной,
Хромоногой, старой, злой,
Царь на праздник не позвал.
Отчего ж так оплошал
Наш разумный царь Матвей?
Было то обидно ей.
Так, но есть причина тут:
У царя двенадцать блюд
Драгоценных, золотых
Было в царских кладовых;
Приготовили обед;
А двенадцатого нет
(Кем украдено оно,
Знать об этом не дано).
«Что ж тут делать? — царь сказал. —
Так и быть!» И не послал
Он на пир старухи звать.
Собралися пировать
Гостьи, званные царем;
Пили, ели, а потом,
Хлебосольного царя
За прием благодаря,
Стали дочь его дарить:
«Будешь в золоте ходить;
Будешь чудо красоты;
Будешь всем на радость ты
Благонравна и тиха;
Дам красавца жениха
Я тебе, мое дитя;
Жизнь твоя пройдет шутя
Меж знакомых и родных...»
Словом, десять молодых
Чародеек, одарив
Так дитя наперерыв,
Удалились; в свой черед
И последняя идет;
Но еще она сказать
Не успела слова — глядь!
А незваная стоит
Над царевной и ворчит:

«На пиру я не была,
Но подарок принесла:
На шестнадцатом году
Повстречаешь ты беду;
В этом возрасте своем
Руку ты веретеном
Оцарапаешь, мой свет,
И умрешь во цвете лет!»
Проворчавши так, тотчас
Ведьма скрылася из глаз;
Но оставшаяся там
Речь домолвила: «Не дам
Без пути ругаться ей
Над царевною моей;
Будет то не смерть, а сон;
Триста лет продлится он;
Срок назначенный пройдет,
И царевна оживет;
Будет долго в свете жить;
Будут внуки веселить
Вместе с нею мать, отца
До земного их конца».
Скрылась гостья. Царь грустит;
Он не ест, не пьет, не спит:
Как от смерти дочь спасти?
И, беду чтоб отвести,
Он дает такой указ:
«Запрещается от нас
В нашем царстве сеять лен,
Прясть, сучить, чтоб веретен
Духу не было в домах;
Чтоб скорей как можно прях
Всех из царства выслать вон».
Царь, издав такой закон,
Начал пить, и есть, и спать,
Начал жить да поживать,
Как дотоле, без забот.
Дни проходят; дочь растет;
Расцвела, как майский цвет;
Вот уж ей пятнадцать лет...
Что-то, что-то будет с ней!
Раз с царицею своей
Царь отправился гулять;
Но с собой царевну взять
Не случилось им; она

Вдруг соскучилась одна
В душной горнице сидеть
И на свет в окно глядеть.
«Дай,— сказала наконец,—
Осмотрю я наш дворец».
По дворцу она пошла:
Пышных комнат нет числа;
Всем любуется она;
Вот, глядит, отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Всходит вверх и видит — там
Старушоночка сидит;
Гребень под носом торчит;
Старушоночка прядет
И за пряжею поет:
«Веретенце, не ленись;
Пряжа тонкая, не рвись;
Скоро будет в добрый час
Гостья жданная у нас».
Гостья жданная вошла;
Пряха молча подала
В руки ей веретено;
Та взяла, и вмиг оно
Укололо руку ей...
Все исчезло из очей;
На нее находит сон;
Вместе с ней объемлет он
Весь огромный царский дом;
Все утихнуло кругом;
Возвращаясь во дворец,
На крыльце ее отец
Пошатнулся, и зевнул,
И с царицею заснул;
Свита вся за ними спит;
Стража царская стоит
Под ружьем в глубоком сне,
И на спящем спит коне
Перед ней хорунжий сам;
Неподвижно по стенам
Мухи сонные сидят;
У ворот собаки спят;
В стойлах, головы склонив,
Пышны гривы опустив,

Кони корму не едят,
Кони сном глубоким спят;
Повар спит перед огнем;
И огонь, объятый сном,
Не пылает, не горит,
Сонным пламенем стоит;
И не тронется над ним,
Свившись клубом, сонный дым;
И окрестность со дворцом
Вся объята мертвым сном;
И покрыл окрестность бор;
Из терновника забор
Дикий бор тот окружил;
Он навек загородил
К дому царскому пути:
Долго, долго не найти
Никому туда следа —
И приблизиться беда!
Птица там не пролетит,
Близко зверь не пробежит,
Даже с облака небес
На дремучий темный лес
Не навеет ветерок.
Вот уж полный век протек;
Словно не жил царь Матвей —
Так из памяти людей
Он изгладился давно;
Знали только то одно,
Что средь бора дом стоит,
Что царевна в доме спит,
Что проспать ей триста лет,
Что теперь к ней следу нет.
Много было смельчаков
(По сказанью стариков),
В лес брались они сходить,
Чтоб царевну разбудить;
Даже бились об заклад
И ходили — но назад
Не пришел никто. С тех пор
В неприступный, страшный бор
Ни старик, ни молодой
За царевной ни ногой.
Время все ж текло, текло;
Вот и триста лет прошло.
Что ж случилося? В один

День весенний царский сын,
Забавляясь ловлей, там
По долинам, по полям
С свитой ловчих разъезжал.
Вот от свиты он отстал;
И у бора вдруг один
Очутился царский сын.
Бор, он видит, темен, дик.
С ним встречается старик.
С стариком он в разговор:
«Расскажи про этот бор
Мне, старинушка честной!»
Покачавши головой,
Все старик тут рассказал,
Что от дедов он слыхал
О чудесном боре том:
Как богатый царский дом
В нем давным-давно стоит,
Как царевна в доме спит,
Как ее чудесен сон,
Как три века длится он,
Как во сне царевна ждет,
Что спаситель к ней придет;
Как опасны в лес пути,
Как пыталася дойти
До царевны молодежь,
Как со всяким то ж да то ж
Приключалось: попадал
В лес да там и погибал.
Был детина удалой
Царский сын; от сказки той
Вспыхнул он, как от огня;
Шпоры втиснул он в коня;
Прянул конь от острых шпор
И стрелой помчался в бор,
И в одно мгновенье там.
Что ж явилося очам
Сына царского? Забор,
Ограждавший темный бор,
Не терновник уж густой,
Но кустарник молодой;
Блещут розы по кустам;
Перед витязем он сам
Расступился, как живой;
В лес въезжает витязь мой:

Все свежо, красно пред ним;
По цветочкам молодым
Пляшут, блещут мотыльки;
Светлой змейкой ручейки
Вьются, пенятся, журчат;
Птицы прыгают, шумят
В густоте ветвей живых;
Лес душист, прохладен, тих,
И ничто не страшно в нем.
Едет гладким он путем
Час, другой; вот наконец
Перед ним стоит дворец,
Зданье — чудо старины;
Ворота отворены;
В ворота въезжает он;
На дворе встречает он
Тьму людей, и каждый спит:
Тот как вкопанный сидит;
Тот, не двигаясь, идет;
Тот стоит, раскрывши рот,
Сном пресекся разговор,
И в устах молчит с тех пор
Недоконченная речь;
Тот, вздремав, когда-то лечь
Собрался, но не успел:
Сон *волшебный* овладел
Прежде сна *простого* им;
И, три века недвижим,
Не стоит он, не лежит
И, упасть готовый, спит.
Изумлен и поражен
Царский сын. Проходит он
Между сонными к дворцу;
Приближается к крыльцу;
По широким ступеням
Хочет вверх идти; но там
На ступенях царь лежит
И с царицей вместе спит.
Путь наверх загорожен.
«Как же быть? — подумал он. —
Где пробраться во дворец?»
Но решился наконец.
И, молитву сотворя,
Он шагнул через царя.
Весь дворец обходит он;

Пышно все, но всюду сон,
Гробовая тишина.
Вдруг глядит: отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Он взошел. И что же там?
Вся душа его кипит,
Перед ним царевна спит.
Как дитя, лежит она,
Распылалася от сна;
Молод цвет ее ланит;
Меж ресницами блестит
Пламя сонное очей;
Ночи темныя темней,
Заплетенные косой
Кудри черной полосой
Обвились кругом чела;
Грудь как свежий снег бела;
На воздушный, тонкий стан
Брошен легкий сарафан;
Губки алые горят;
Руки белые лежат
На трепещущих грудях;
Сжаты в легких сапожках
Ножки — чудо красотой.
Видом прелести такой
Отуманен, распален,
Неподвижно смотрит он;
Неподвижно спит она.
Что ж разрушит силу сна?
Вот, чтоб душу насладить,
Чтоб хоть мало утолить
Жадность пламенных очей,
На колени ставши, к ней
Он приблизился лицом:
Распалительным огнем
Жарко рдеющих ланит
И дыханьем уст облит,
Он души не удержал
И ее поцеловал.
Вмиг проснулася она;
И за нею вмиг от сна
Поднялося все кругом:
Царь, царица, царский дом;

Снова говор, крик, возня;
Все как было; словно дня
Не прошло с тех пор, как в сон
Весь тот край был погружен.
Царь на лестницу идет;
Нагулявшися, ведет
Он царицу в их покой;
Сзади свита вся толпой;
Стражи ружьями стучат;
Мухи стаями летят;
Приворотный лает пес;
На конюшне свой овес
Доедает добрый конь;
Повар дует на огонь,
И, треща, огонь горит,
И струею дым бежит;
Все бывалое — один
Небывалый царский сын.
Он с царевной наконец
Сходит сверху; мать, отец
Принялись их обнимать.
Что ж осталось досказать?
Свадьба, пир, и я там был
И вино на свадьбе пил;
По усам вино бежало,
В рот же капли не попало.

1831





ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК

(Отрывок)



Слушайте: я расскажу вам, друзья, про мышей и лягушек.
Сказка ложь, а песня быль, говорят нам: но в этой
Сказке моей найдется и правда. Милости ж просим
Тех, кто охотник в досужий часок пошутить, посмеяться,
Сказки послушать; а тех, кто любит смотреть исподлобья,
Всякую шутку считая за грех, мы просим покорно
К нам не ходить и дома сидеть да высиживать скуку.

Было прекрасное майское утро. Квакун двадесятый,
Царь знаменитой породы, властитель ближней трясины,
Вышел из мокрой столицы своей, окруженный блестящей
Свитой придворных. Вприпрыжку они взобрались на пригорок,
Сочной травою покрытый, и там, на кочке усевшись,
Царь приказал из толпы его окружавших почетных
Стражей вызвать бойцов, чтоб его, царя, забавляли
Боем кулачным. Вышли бойцы; началося; уж много
Было лягушечьих морд царю в угожденье разбито;
Царь хохотал; от смеха придворная квакала свита
Вслед за величеством; солнце взошло уж на полдень.
Вдруг из кустов молодец в прекрасной беленькой шубке,
С тоненьким хвостиком, острым, как стрелка, на тоненьких ножках

Выскочил; следом за ним четыре таких же, но в шубках
Дымного цвета. Рысцой они подбежали к болоту.
Белая шубка, носик в болото уткнув и поднявши
Правую ножку, начал воду тянуть, и, казалось,
Был для него тот напиток приятнее меда; головку
Часто он вверх поднимал, и вода с усастого рыльца
Мелким бисером падала; вдоволь напившись и лапкой
Рыльце обтерши, сказал он: «Какое раздолье студеной
Выпить воды, утомившись от зноя! Теперь понимаю
То, что чувствовал Дарий, когда он, в бегстве из мутной
Лужи напившись, сказал: я не знаю вкуснее напитка!»
Эти слова одна из лягушек подслушала; тотчас
Скачет она с донесеньем к царю: из леса-де вышли
Пять каких-то зверков, с усами турецкими, уши
Длинные, хвостики острые, лапки как руки; в осоку
Все они побежали и царскую воду в болоте
Пьют. А кто и откуда они, неизвестно. С десятком
Стражей Квакун посылает хорунжего Пышку проведать,
Кто незваные гости; когда неприятели — взять их,
Если дадутся; когда же соседи, пришедшие с миром, —
Дружески их пригласить к царю на беседу. Сошедши
Пышка с холма и увидя гостей, в минуту узнал их:
«Это мыши, неважное дело! Но мне не случалось
Белых меж ними видать, и это мне чудно. Смотрите ж, —
Спутникам тут он сказал, — никого не обидеть. Я с ними
Сам на словах объяснюся. Увидим, что скажет мне белый».
Белый меж тем с удивленьем великим смотрел, приподнявши
Уши, на скачущих прямо к нему с пригорка лягушек;
Слуги его хотели бежать, но он удержал их,
Выступив бодро вперед, и ждал скакунов; и как скоро
Пышка с своими к болоту приблизился: «Здравствуй, почтенный
Воин, — сказал он ему, — прошу не взыскать, что без спросу
Вашей воды напился я; мы все от охоты устали;
В это же время здесь никого не нашлось; благодарны
Очень мы вам за прекрасный напиток; и сами готовы
Равным добром за ваше добро заплатить; благодарность
Есть благодетель возвышенных душ». Удивленный такою
Умною речью, ответствовал Пышка: «Милости просим
К нам, благородные гости; наш царь, о прибытии вашем
Сведав, весьма любопытен узнать: откуда вы родом,
Кто вы и как вас зовут. Я послан сюда пригласить вас
К нам на беседу. Рады мы очень, что вам показалась
Наша по вкусу вода; а платы не требуем: воду
Создал господь для всех на потребу, как воздух и солнце».
Белая шубка учтиво ответствовал: «Царская воля

Будет исполнена; рад я к его величеству с вами
Вместе пойти, но только сухим путем, не водою;
Плавать я не умею; я царский сын и наследник
Царства мышиного». В это мгновенье, спустившись с пригорка,
Царь Квакун со свитой своей приближался. Царевич
Белая шубка, увидя царя с такою толпою,
Несколько струсил, ибо не ведал, доброе ль, злое ль
Было у них на уме. Квакун отличался зеленым
Платьем, глаза навыкат сверкали, как звезды, и пузом
Громко он, прядая, шлепал. Царевич Белая шубка,
Вспомнивши, кто он, робость свою победил. Величаво
Он поклонился Царю Квакуну. А царь, благосклонно
Лапку подавши ему, сказал: «Любезному гостю
Очень мы рады; садись, отдохни; ты из дальнего, верно,
Края, ибо до сих пор тебя нам видать не случалось».
Белая шубка, царю поклоняся опять, на зеленой
Травке уселся с ним рядом; а царь продолжал: «Расскажи нам,
Кто ты? кто твой отец? кто мать? и откуда пришел к нам?
Здесь мы тебя угостим дружелюбно, когда, не таяся,
Правду всю скажешь: я царь и много имею богатства;
Будет нам сладко почтить дорогого гостя дарами».
«Нет никакой мне причины,— ответствовал Белая шубка,—
Царь-государь, утаивать истину. Сам я породы
Царской, весьма на земле знаменитой; отец мой из дома
Древних воинственных Бубликов, царь Долгохвост Иринарий
Третий; владеет пятью чердаками, наследием славных
Предков, но область свою он сам расширил войнами:
Три подполья, один амбар и две трети ветчинни
Он покорил, победивши соседних царей; а в супруги
Взявши царевну Прасковью-Пискунью белую шкурку,
Целый овин получил он за нею в приданое. В свете
Нет подобного царства. Я сын царя Долгохвоста,
Петр Долгохвост, по прозванию *Хват*. Был я воспитан
В нашем столичном подполье премудрым Онуфрием крысой.
Мастер я рыться в муке, таскать орехи; вскребаюсь
В сыр и множество книг уж изгрыз, любя просвещенье,
Хватом же прозван я вот за какое смелое дело:
Раз случилось, что множество нас, молодых мышеняток,
Бегало по полю взапуски; я, как шальной, раззадорясь,
Вспрыгнул с разбегу на льва, отдыхавшего в поле, и в пышной
Гриве запутался; лев проснулся и лапой огромной
Стиснул меня; я подумал, что буду раздавлен, как мошка.
С духом собравшись, я высунул нос из-под лапы;
«Лев-государь,— ему я сказал,— мне и в мысль не входило
Милость твою оскорбить; пощади, не губи; не ровен час,

Сам я тебе пригожуся». Лев улыбнулся (конечно,
Он уж покушать успел) и сказал мне: «Ты, вижу, забавник,
Льву услужить ты задумал. Добро, мы посмотрим, какую
Милость окажешь ты нам? Ступай». Тогда он раздвинул
Лапу; а я давай бог ноги; но вот что случилось:
Дня не прошло, как все мы испуганы были в подпольях
Наших львиным рыканьем: смутилась, как будто от бури,
Вся сторона; я не струсил; выбежал в поле и что же
В поле увидел? Царь Лев, запутавшись в крепких тенетах,
Мечется, бьется как бешеный; кровью глаза налилися,
Лапами рвет он веревки, зубами грызет их, и было
Все то напрасно; лишь боле себя он запутывал. «Видишь,
Лев-государь,— сказал я ему,— что и я пригодился.
Будь спокоен: в минуту тебя мы избавим». И тотчас
Созвал я дюжину ловких мышат; принялись мы работать
Зубом: узлы перегрызли тенет, и Лев распутлялся.
Важно кивнув головою косматой и нас допустивши
К царской лапе своей, он гриву расправил, ударил
Сильным хвостом по бедрам и в три прыжка очутился
В ближнем лесу, где вмиг и пропал. По этому делу
Прозван я *Хватом,* и славу свою поддержать я стараюсь;
Страшного нет для меня ничего; я знаю, что смелым
Бог владеет. Но должно, однако, признаться, что всюду
Здесь мы встречаем опасность; так бог уж землю устроил:
Все здесь воюет: с травою Овца, с Овцою голодный
Волк, Собака с Волком, с Собакой Медведь, а с Медведем
Лев; Человек же и Льва, и Медведя, и всех побеждает.
Так и у нас, отважных мышей, есть много опасных,
Сильных гонителей: Совы, Ласточки, Кошки, а всех их
Злее козни людские. И тяжко подчас нам приходит.
Я, однако, спокоен; я помню, что мне мой наставник
Мудрый, крыса Онуфрий, твердил: беды нас смиренью
Учат. С верой такою ничто не беда. Я доволен
Тем, что имею: счастию рад, а в несчастье не хмурюсь».
Царь Квакун со вниманием слушал Петра Долгохвоста.
«Гость дорогой,— сказал он ему,— признаюсь откровенно:
Столь разумные речи меня в изумленье приводят.
Мудрость такая в такие цветущие лета! Мне сладко
Слушать тебя: и приятность и польза! Теперь опиши мне
То, что случалось когда с мышиным вашим народом,
Что от врагов вы терпели и с кем когда воевали».
«Должен я прежде о том рассказать, какие нам козни
Строит наш хитрый двуногий злодей, Человек. Он ужасно
Жаден; он хочет всю землю заграбить один и с Мышами
В вечной вражде. Не исчислить всех выдумок хитрых, какими

Наше он племя избыть замышляет. Вот, например, он
Домик затеял построить: два входа, широкий и узкий;
Узкий заделан решеткой, широкий с подъемною дверью.
Домик он этот поставил у самого входа в подполье.
Нам же сдуру на мысли взбрело, что, поладить
С нами желая, для нас учредил он гостиницу. Жирный
Кус ветчины там висел и манил нас; вот целый десяток
Смелых охотников вызвались в домик забраться, без платы
В нем отобедать и верные вести принесть нам.
Входят они, но только что начали дружно висячий
Кус ветчины тормошить, как подъемная дверь с превеликим
Стуком упала и всех их захлопнула. Тут поразило
Страшное зрелище нас: увидели мы, как злодеи
Наших героев таскали за хвост и в воду бросали.
Все они пали жертвой любви к ветчине и к отчизне.
Было нечто и хуже. Двуногий злодей наготовил
Множество вкусных для нас пирожков и расклал их,
Словно как добрый, по всем закоулкам; народ наш
Очень доверчив и ветрен; мы лакомки; бросилась жадно
Вся молодежь на добычу. Но что же случилось? Об этом
Вспомнить — мороз подирает по коже! Открылся в подполье
Мор: отравой злодей угостил нас. Как будто шальные
С пиру пришли удальцы: глаза навыкат, разинув
Рты, умирая от жажды, взад и вперед по подполью
Бегали с писком они, родных, друзей и знакомых
Боле не зная в лицо; наконец, утомясь, обессилев,
Все попáдали мертвые лапками вверх; запустела
Целая область от этой беды; от ужасного смрада
Трупов ушли мы в другое подполье, и край наш родимый
Надолго был обезмышлен. Но главное бедствие наше
Ныне в том, что губитель двуногий крепко сдружился,
Нам ко вреду, с сибирским котом, Федотом Мурлыкой.
Кошачий род давно враждует с мышиным. Но этот
Хитрый котище Федот Мурлыка для нас наказанье
Божие. Вот как я с ним познакомился. Глупым мышонком
Был я еще и не знал ничего. И мне захотелось
Высунуть нос из подполья. Но мать царица Прасковья
С крысой Онуфрием крепко-накрепко мне запретили
Норку мою покидать; но я не послушался, в щелку
Выглянул: вижу камнем выстланный двор; освещало
Солнце его, и окна огромного дома светились;
Птицы летали и пели. Глаза у меня разбежались.
Выйти не смея, смотрю я из щелки и вижу, на дальнем
Крае двора зверок усастый, сизая шкурка,
Розовый нос, зеленые глазки, пушистые уши,

Тихо сидит и за птичками смотрит; а хвостик, как змейка,
Так и виляет. Потом он своею бархатной лапкой
Начал усастое рыльце себе умывать. Облилося
Радостью сердце мое, и я уж сбирался покинуть
Щелку, чтоб с милым зверком познакомиться. Вдруг зашумело
Что-то вблизи; оглянувшись, так я и обмер. Какой-то
Страшный урод ко мне подходил; широко шагая,
Черные ноги свои подымал он, и когти кривые
С острыми шпорами были на них; на уродливой шее
Длинные косы висели змеями; нос крючковатый;
Под носом трясся какой-то мохнатый мешок, и как будто
Красный с зубчатой верхушкой колпак, с головы перегнувшись,
По носу бился, а сзади какие-то длинные крючья,
Разного цвета, торчали снопом. Не успел я от страха
В память прийти, как с обоих боков поднялись у урода
Словно как парусы, начали хлопать, и он, раздвоивши
Острый нос свой, так заорал, что меня как дубиной
Треснуло. Как прибежал я назад в подполье, не помню.
Крыса Онуфрий, услышав о том, что случилось со мною,
Так и ахнул. «Тебя помиловал бог, — он сказал мне,—
Свечку ты должен поставить уроду, который так кстати
Криком своим тебя испугал; ведь это наш добрый
Сторож петух; он горлан и с своими большой забияка;
Нам же, мышам, он приносит и пользу; когда закричит он,
Знаем мы все, что проснулися наши враги; а приятель,
Так обольстивший тебя своей лицемерною харей,
Был не иной кто, как наш злодей записной, объедало
Кот Мурлыка; хорош бы ты был, когда бы с знакомством
К этому плуту подъехал: тебя б он порядком погладил
Бархатной лапкой своею; будь же вперед осторожен».
Долго рассказывать мне об этом проклятом Мурлыке;
Каждый день от него у нас недочет. Расскажу я
Только то, что случилось недавно. Разнесся в подполье
Слух, что Мурлыку повесили. Наши лазутчики сами
Видели это глазами своими. Вскружилось подполье;
Шум, беготня, пискотня, скаканье, кувырканье, пляска,—
Словом, мы все одурели, и сам мой Онуфрий премудрый
С радости так напился, что подрался с царицей и в драке
Хвост у нее откусил, за что был и высечен больно.
Что же случилось потом? Не разведавши дела порядком,
Вздумали мы кота погребать, и надгробное слово
Тотчас поспело. Его сочинил поэт наш подпольный
Клим, по прозванию Бешеный Хвост; такое прозванье
Дали ему за то, что, стихи читая, всегда он
В меру вилял хвостом, и хвост, как маятник, стукал.

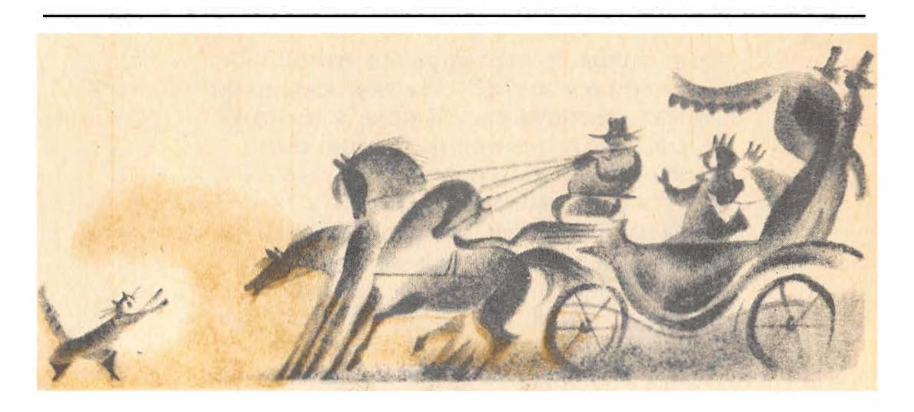
Все изготовив, отправились мы на поминки к Мурлыке;
Вылезло множество нас из подполья; глядим мы, и вправду
Кот Мурлыка в ветчинне висит на бревне, и повешен
За ноги, мордою вниз; оскалены зубы; как палка,
Вытянут весь; и спина, и хвост, и передние лапы
Словно как мерзлые; оба глаза глядят не моргая,
Все запищали мы хором: «Повешен Мурлыка, повешен
Кот окаянный; довольно ты, кот, погулял; погуляем
Нынче и мы». И шесть смельчаков тотчас взобралися
Вверх по бревну, чтоб Мурлыкины лапы распутать, но лапы
Сами держались, когтями вцепившись в бревно, а веревки
Не было там никакой, и лишь только к ним прикоснулись
Наши ребята, как вдруг распустилися когти, и на пол
Хлопнулся кот, как мешок. Мы все по углам разбежались
В страхе и смотрим, что будет. Мурлыка лежит и не дышит,
Ус не тронется, глаз не моргнет; мертвец, да и только.
Вот, ободрясь, из углов мы к нему подступать понемногу
Начали; кто посмелее, тот дернет за хвост, да и тягу
Даст от него; тот лапкой ему погрозит; тот подразнит
Сзади его языком; а кто еще посмелее,
Тот, подкравшись, хвостом в носу у него пощекочет.
Кот ни с места, как пень. «Берегитесь,— тогда нам сказала
Старая мышь Степанида, которой Мурлыкины когти
Были знакомы (у ней он весь зад ободрал, и насилу
Как-то она от него уплела),— берегитесь: Мурлыка
Старый мошенник; ведь он висел без веревки, а это
Знак недобрый; и шкурка цела у него». То услыша,
Громко мы все засмеялись. «Смейтесь, чтобы после не плакать,—
Мышь Степанида сказала опять.— А я не товарищ
Вам». И поспешно, созвав мышеняток своих, убралася
С ними в подполье она. А мы принялись как шальные
Прыгать, скакать и кота тормошить. Наконец, поуставши,
Все мы уселись в кружок перед мордой его, и поэт наш
Клим, по прозванию Бешеный Хвост, на Мурлыкино пузо
Взлезши, начал оттуда читать нам надгробное слово,
Мы же при каждом стихе хохотали. И вот что прочел он:
«Жил Мурлыка; был Мурлыка кот сибирский,
Рост богатырский, сизая шкурка, усы как у турка;
Был он бешен, на краже помешан, за то и повешен,
Радуйся, наше подполье!..» Но только успел проповедник
Это слово промолвить, как вдруг наш покойник очнулся.
Мы бежать... Куда ты! пошла ужасная травля.
Двадцать их осталось на месте; а раненых втрое
Более было. Тот воротился с ободранным пузом,

Тот без уха, другой с отъеденной мордой; иному
Хвост был оторван; у многих так страшно искусаны были
Спины, что шкурки мотались, как тряпки; царицу Прасковью
Чуть успели в нору уволочь за задние лапки;
Царь Иринарий спасся с рубцом на носу; но премудрый
Крыса Онуфрий с Климом-поэтом достались Мурлыке
Прежде других на обед. Так кончился пир наш бедою».

. . . .

1831





КОТ В САПОГАХ



Жил мельник. Жил он, жил и умер,
Оставивши своим трем сыновьям
В наследство мельницу, осла, кота
И... только. Мельницу взял старший сын,
Осла взял средний; а меньшому дали
Кота. И был он крепко недоволен
Своим участком. «Братья,— рассуждал он,—
Сложившись, будут без нужды; а я,
Изжаривши кота, и съев, и сделав
Из шкурки муфту, чем потом начну
Хлеб добывать насущный?» Так он вслух,
С самим собою рассуждая, думал;
А Кот, тогда лежавший на печурке,
Разумное подслушав рассужденье,
Сказал ему: «Хозяин, не печалься;
Дай мне мешок, да сапоги, чтоб мог я
Ходить за дичью по болоту — сам
Тогда увидишь, что не так-то беден
Участок твой». Хотя и не совсем
Был убежден Котом своим хозяин,
Но уж не раз случалось замечать
Ему, как этот Кот искусно вел
Войну против мышей и крыс, какие
Выдумывал он хитрости и как
То, мертвым притворясь, висел на лапах

Вниз головой, то пудрился мукой,
То прятался в трубу, то под кадушкой
Лежал, свернувшись в ком; а потому
И слов Кота не пропустил он мимо
Ушей. И подлинно, когда он дал
Коту мешок и нарядил его
В большие сапоги, на шею Кот
Мешок надел и вышел на охоту
В такое место, где, он ведал, много
Водилось кроликов. В мешок насыпав
Трухи, его на землю положил он;
А сам вблизи, как мертвый, растянулся
И терпеливо ждал, чтобы такой невинный,
Неопытный в науке жизни кролик
Пожаловал к мешку покушать сладкой
Трухи; и он недолго ждал; как раз
Перед мешком его явился глупый,
Вертлявый, долгоухий кролик; он
Мешок понюхал, поморгал ноздрями,
Потом и влез в мешок, а Кот проворно
Мешок стянул снурком и без дальнейших
Приветствий гостя угостил по-свойски.
Победою довольный, во дворец
Пошел он к королю и приказал,
Чтобы о нем немедля доложили.
Велел ввести Кота в свой кабинет
Король. Вошед, он поклонился в пояс;
Потом сказал, потупив морду в землю:
«Я кролика, великий государь,
От моего принес вам господина,
Маркиза Карабаса (так он вздумал
Назвать хозяина); имеет честь
Он вашему величеству свое
Глубокое почтенье изъявить
И просит Вас принять его гостинец».—
«Скажи маркизу,— отвечал король,—
Что я его благодарю и что
Я очень им доволен». Королю
Откланявшись, Кот пошел домой;
Когда ж он шел через дворец, то все
Вставали перед ним и жали лапу
Ему с улыбкой, потому что он
Был в кабинете принят королем
И с ним наедине (и, уж конечно,
О государственных делах) так долго

Беседовал; а Кот был так учтив,
Так обходителен, что все дивились
И думали, что жизнь свою провел
Он в лучшем обществе. Спустя немного
Отправился опять на ловлю Кот,
В густую рожь засел с своим мешком
И там поймал двух жирных перепелок.
И их немедленно он к королю,
Как прежде кролика, отнес в гостинец
От своего маркиза Карабаса.
Охотник был король до перепелок;
Опять позвать велел он в кабинет
Кота и, перепелок сам принявши,
Благодарить маркиза Карабаса
Велел особенно. И так наш Кот
Недели три-четыре к королю
От имени маркиза Карабаса
Носил и кроликов и перепелок.
Вот он однажды сведал, что король
Сбирается прогуливаться в поле
С своею дочерью (а дочь была
Красавица, какой другой на свете
Никто не видывал) и что они
Поедут берегом реки. И он,
К хозяину поспешно прибежав,
Ему сказал: «Когда теперь меня
Послушаешься ты, то будешь разом
И счастлив, и богат; вся хитрость в том,
Чтобы сейчас пошел купаться в ре́ку;
Что будет после, знаю я; а ты,
Сиди себе в воде, да полоскайся,
Да ни о чем не хлопочи». Такой
Совет принять маркизу Карабасу
Нетрудно было; день был жаркий; он
С охотою отправился к реке,
Влез в воду и сидел в воде по горло.
А в это время был король уж близко.
Вдруг начал Кот кричать: «Разбой! разбой!
Сюда, народ!» — «Что сделалось?» — подъехав,
Спросил король. «Маркиза Карабаса
Ограбили и бросили в реку;
Он тонет». Тут, по слову короля,
С ним бывшие придворные чины
Все кинулись ловить в воде маркиза.
А королю Кот на ухо шепнул:

«Я должен вашему величеству донесть,
Что бедный мой маркиз совсем раздет;
Разбойники все платье унесли».
(А платье сам, мошенник, спрятал в куст).
Король велел, чтобы один из бывших
С ним государственных министров снял
С себя мундир и дал его маркизу.
Министр тотчас разделся за кустом;
Маркиза же в его мундир одели,
И Кот его представил королю;
И королем был ласково он принят.
А так как он красавец был собою,
То и совсем немудрено, что скоро
И дочери прекрасной королевской
Понравился; богатый же мундир
(Хотя на нем и не совсем в обтяжку
Сидел он, потому что брюхо было
У королевского министра) вид
Ему отличный придавал — короче,
Маркиз понравился; и сесть с собой
В коляску пригласил его король;
А сметливый наш Кот во все лопатки
Вперед бежать пустился. Вот увидел
Он на лугу широком косарей,
Сбиравших сено. Кот им закричал:
«Король проедет здесь; и если вы
Ему не скажете, что этот луг
Принадлежит маркизу Карабасу,
То он вас всех прикажет изрубить
На мелкие куски». Король, проехав,
Спросил: «Кому такой прекрасный луг
Принадлежит?» — «Маркизу Карабасу»,—
Все закричали разом косари
(В такой их страх привел проворный Кот).
«Богатые луга у вас, маркиз»,—
Король заметил. А маркиз, смиренный
Принявши вид, ответствовал: «Луга
Изрядные». Тем временем поспешно
Вперед ушедший Кот увидел в поле
Жнецов: они в снопы вязали рожь.
«Жнецы,— сказал он,— едет близко наш
Король. Он спросит вас: чья рожь? И если
Не скажете ему вы, что она
Принадлежит маркизу Карабасу,
То он вас всех прикажет изрубить

На мелкие куски». Король проехал.
«Кому принадлежит здесь поле?» — он
Спросил жнецов. «Маркизу Карабасу»,—
Жнецы ему с поклоном отвечали.
Король опять сказал: «Маркиз, у вас
Богатые поля». Маркиз на то
По-прежнему ответствовал смиренно:
«Изрядные». А Кот бежал вперед
И встречных всех учил, как королю
Им отвечать. Король был поражен
Богатствами маркиза Карабаса.
Вот, наконец, в великолепный замок
Кот прибежал. В том замке людоед-
Волшебник жил, и Кот о нем уж знал
Всю подноготную; в минуту он
Смекнул, что делать: в замок смело
Вошед, он попросил у людоеда
Аудиенцию; и людоед,
Приняв его, спросил: «Какую нужду
Вы, Кот, во мне имеете?» На это
Кот отвечал: «Почтенный людоед,
Давно слух носится, что будто вы
Умеете во всякий превращаться,
Какой задумаете, вид; хотел бы
Узнать я, подлинно ль такая мудрость
Дана вам?» — «Это правда; сами, Кот,
Увидите». И мигом он явился
Ужасным львом с густой, косматой гривой
И острыми зубами. Кот при этом
Так струсил, что (хоть был и в сапогах)
В один прыжок под кровлей очутился.
А людоед, захохотавши, принял
Свой прежний вид и попросил Кота
К нему сойти. Спустившись с кровли, Кот
Сказал: «Хотелось бы, однако, знать, мне,
Вы можете ль и в маленького зверя,
Вот, например, в мышонка, превратиться?» —
«Могу,— сказал с усмешкой людоед.—
Что ж тут мудреного?» И он явился
Вдруг маленьким мышонком. Кот того
И ждал; он разом: цап! и съел мышонка.
Король тем временем подъехал к замку,
Остановился и хотел узнать,
Чей был он. Кот же, рассчитавшись
С его владельцем, ждал уж у ворот,

И в пояс кланялся, и говорил:
«Не будет ли угодно, государь,
Пожаловать на перепутье в замок
К маркизу Карабасу?» — «Как, маркиз,—
Спросил король,— и этот замок вам же
Принадлежит? Признаться, удивляюсь;
И будет мне приятно побывать в нем».
И приказал король своей коляске
К крыльцу подъехать; вышел из коляски;
Принцессе ж руку предложил маркиз;
И все пошли по лестнице высокой
В покои. Там в пространной галерее
Был стол накрыт и полдник приготовлен
(На этот полдник людоед позвал
Приятелей, но те, узнав, что в замке
Король был, не вошли и все домой
Отправились). И, сев за стол роскошный,
Король велел маркизу сесть меж ним
И дочерью; и стали пировать.
Когда же в голове у короля
Вино позашумело, он маркизу
Сказал: «Хотите ли, маркиз, чтоб дочь
Мою за вас я выдал?» Честь такую
С неимоверной радостию принял
Маркиз. И свадьбу вмиг сыграли. Кот
Остался при дворе, и был в чины
Произведен, и в бархатных являлся
В дни табельные сапогах. Он бросил
Ловить мышей, а если и ловил,
То это для того, чтобы немного
Себя развлечь и сплин, который нажил
Под старость при дворе, воспоминаньем
О светлых днях минувшего рассеять.

1845





ТЮЛЬПАННОЕ ДЕРЕВО



Однажды жил, не знаю где, богатый
И добрый человек. Он был женат
И всей душой любил свою жену;
Но не было у них детей; и это
Их сокрушало, и они молились,
Чтобы господь благословил их брак;
И к господу молитва их достигла.
Был сад кругом их дома; на поляне
Там дерево тюльпанное росло.
Под этим деревом однажды (это
Случилось в зимний день) жена сидела
И с яблока румяного ножом
Снимала кожу; вдруг ей острый нож
Легонько палец оцарапал; кровь
Пурпурной каплею на белый снег
Упала; тяжело вздохнув, она
Подумала: «О! если б бог нам дал
Дитя, румяное как эта кровь
И белое как этот чистый снег!»
И только что она сказала это, в сердце
Ее как будто что зашевелилось,
Как будто из него утешный голос
Шепнул ей: «Сбудется». Пошла в раздумье
Домой. Проходит месяц — снег растаял;

Другой проходит — все в лугах и рощах
Зазеленело; третий месяц миновался —
Цветы покрыли землю, как ковер;
Прошел четвертый — все в лесу деревья
Срослись в один зеленый свод, и птицы
В густых ветвях запели голосисто,
И с ними весь широкий лес запел.
Когда же пятый месяц был в исходе —
Под дерево тюльпанное она
Пришла; оно так сладко, так свежо
Благоухало, что ее душа
Глубокою, неведомой тоскою
Была проникнута; когда шестой
Свершился месяц — стали наливаться
Плоды и созревать; она же стала
Задумчивей и тише; наступает
Седьмой — и часто, часто под своим
Тюльпанным деревом она одна
Сидит и плачет, и ее томит
Предчувствие тяжелое; настал
Осьмой — она в конце его больная
Слегла в постелю и сказала мужу
В слезах: «Когда умру, похорони
Меня под деревом тюльпанным»; месяц
Девятый кончился — и родился
У ней сынок, как кровь румяный, белый
Как снег; она ж обрадовалась так,
Что умерла. И муж похоронил
Ее в саду, под деревом тюльпанным.
И горько плакал он об ней; и целый
Проплакал год; и начала печаль
В нем утихать; и наконец, утихла
Совсем; и он женился на другой
Жене; и скоро с нею прижил дочь.
Но не была ничем жена вторая
На первую похожа; в дом его
Не принесла она с собою счастья.
Когда она на дочь свою родную
Смотрела, в ней смеялася душа;
Когда ж глаза на сироту, на сына
Другой жены, невольно обращала,
В ней сердце злилось: он как будто ей
И жить мешал; а хитрый искуситель
Против него нашептывал всечасно
Ей злые замыслы. В слезах и горе

Сиротка рос, и ни одной минуты
Веселой в доме не было ему.
Однажды мать была в своей каморке,
И перед ней стоял сундук открытый
С тяжелой, кованной железом кровлей
И с острым нутряным замком; сундук
Был полон яблок. Тут сказала ей
Марлиночка (так называли дочь):
«Дай яблочко, родная, мне».— «Возьми»,—
Ей отвечала мать. «И братцу дай»,—
Прибавила Марлиночка. Сначала
Нахмурилася мать; но враг лукавый
Вдруг что-то ей шепнул; она сказала:
«Марлиночка, поди теперь отсюда;
Обоим вам по яблочку я дам,
Когда твой брат воротится домой».
(А из окна уж видела она,
Что мальчик шел, и чудилося ей,
Что будто на нее с ним вместе злое
Шло искушенье.) Кованый сундук
Закрыв, она глаза на двери дико
Уставила; когда ж их отворил
Малютка и вошел, ее лицо
Белее стало полотна; поспешно
Она ему дрожащим и глухим
Сказала голосом: «Вынь для себя
И для Марлиночки из сундука
Два яблока». При этом слове ей
Почудилось, что кто-то подле громко
Захохотал, а мальчик, на нее
Взглянув, спросил: «Зачем ты на меня
Так страшно смотришь?» — «Выбирай скорее!» —
Она, поднявши кровлю сундука,
Ему сказала, и ее глаза
Сверкнули острым блеском. Мальчик робко
За яблоком нагнулся головой
В сундук; тут ей лукавый враг шепнул:
«Скорей!» И кровлею она тяжелой
Захлопнула сундук, и голова
Малютки, как ножом, была железным
Отрезана замком и, отскочивши,
Упала в яблоки. Холодной дрожью
Злодейку обдало. «Что делать мне?» —
Подумала она, смотря на страшный
Захлопнутый сундук. И вот она

Из шкапа шелковый платок достала,
И, голову отрезанную к шее
Приставив, тем платком их обвила
Так плотно, что приметить ничего
Не можно было, и потом она
Перед дверями мертвого на стул
(Дав в руки яблоко ему и к стенке
Его спиной придвинув) посадила;
И наконец, как будто не была
Ни в чем, пошла на кухню стряпать. Вдруг
Марлиночка в испуге прибежала
И шепчет: «Посмотри туда; там братец
Сидит в дверях на стуле; он так бел;
И держит яблоко в руке, но сам
Не ест; когда ж его я попросила,
Чтоб дал мне яблоко, не отвечал
Ни слова, не взглянул; мне стало страшно».
На то сказала мать: «Поди к нему
И попроси в другой раз; если ж он
Опять ни слова отвечать не будет
И на тебя не взглянет, подери
Его покрепче за ухо: он спит».
Марлиночка пошла и видит: братец
Сидит в дверях на стуле бел, как снег;
Не шевелится, не глядит и держит,
Как прежде, яблоко в руках, но сам
Его не ест. Марлиночка подходит
И говорит: «Дай яблочко мне, братец».
Ответа нет. Тут за ухо она
Тихонько братца дернула; и вдруг
От плеч его отпала голова
И покатилась. С криком прибежала
Марлиночка на кухню: «Ах! родная,
Беда, беда! Я братца моего
Убила! Голову оторвала
Я братцу!» и бедняжка заливалась
Слезами и кричала криком. Ей
Сказала мать: «Марлиночка, уж горю
Не пособить; нам надобно скорей
Его прибрать, пока не воротился
Домой отец; возьми и отнеси
Его покуда в сад и спрячь там; завтра
Его сама в овраг я брошу; волки
Его съедят, и косточек никто
Не сыщет; перестань же плакать; делай,

Что я велю». Марлиночка пошла;
Она, широкой белой простынею
Обвивши тело, отнесла его,
Рыдая, в сад, и там его тихонько
Под деревом тюльпанным положила
На свежий дерн, который покрывал
Могилку матери его... И что же?
Могилка вдруг раскрылася, и тело
Взяла, и снова дерн зазеленел
На ней, и расцвели на ней цветы,
И из цветов вдруг выпорхнула птичка,
И весело запела, и взвилась
Под облака, и в облаках пропала.
Марлиночка сперва оторопела;
Потом (как будто кто в ее душе
Печаль заговорил) ей стало вдруг
Легко — пошла домой и никому
О бывшем с нею не сказала. Скоро
Пришел домой отец. Не видя сына,
Спросил он с беспокойством: «Где он?» Мать,
Вся помертвев, поспешно отвечала:
«Ранехонько ушел он со двора
И все еще не возвращался». Было
Уж за полдень; была пора обедать,
И накрывать на стол хозяйка стала.
Марлиночка ж сидела в уголку,
Не шевелясь и молча; день был светлый;
Ни облачка́ на небе не бродило,
И тихо блеск полуденного солнца
Лежал на зелени дерев, и было
Повсюду все спокойно. Той порой
Спорхнувшая с могилы братца птичка
Летала да летала; вот она
На кустик села под окошком дома,
Где золотых дел мастер жил. Она,
Расправив крылышки, запела громко:
«Зла мачеха зарезала меня;
Отец родной не ведает о том;
Сестрица же Марлиночка меня
Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
Услышав это, золотых дел мастер
В окошко выглянул; он так пленился
Прекрасной птичкою, что закричал:
«Пропой еще раз, милая пичужка!» —

«Я даром дважды петь не стану, —птичка
Сказала, — подари цепочку мне,
И запою». Услышав это, мастер
Богатую ей бросил из окна
Цепочку. Правой лапкой схвативши
Цепочку ту, свою запела песню
Звучней, чем прежде, птичка и, допевши,
Спорхнула с кустика с своей добычей,
И полетела далее, и скоро
На кровлю домика, где жил башмачник,
Спустилася и там опять запела:
«Зла мачеха зарезала меня;
Отец родной не ведает о том;
Сестрица же Марлиночка меня
Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
Башмачник в это время у окна
Шил башмаки; услышав песню, он
Работу бросил, выбежал во двор
И видит, что сидит на кровле птичка
Чудесной красоты. «Ах! птичка, птичка,—
Сказал башмачник, — как же ты прекрасно
Поешь. Нельзя ль еще раз ту же песню
Пропеть?» — «Я даром дважды не пою,—
Сказала птичка, — дай мне пару детских
Сафьянных башмаков». Башмачник тотчас
Ей вынес башмаки. И, левой лапкой
Их взяв, свою опять запела песню
Звучней, чем прежде, птичка и, допевши,
Спорхнула с кровли с новою добычей,
И полетела далее, и скоро
На мельницу, которая стояла
Над быстрой речкою во глубине
Прохладныя долины, прилетела.
Был стук и шум от мельничных колес,
И с громом в ней молол огромный жернов;
И в воротах ее рубили двадцать
Работников дрова. На ветку липы,
Которая у мельничных ворот
Росла, спустилась птичка и запела:
«Зла мачеха зарезала меня»;
Один работник, то услышав, поднял
Глаза и перестал рубить дрова.
«Отец родной не ведает о том»;
Оставили еще работу двое.

«Сестрица же Марлиночка меня»;
Тут пятеро еще, глаза на липу
Оборотив, работать перестали.
«Близ матушки родной моей в саду»;
Еще тут восемь вслушалися в песню;
Остолбеневши, топоры они
На землю бросили и на певицу
Уставили глаза; когда ж она
Умолкнула, последнее пропев:
«Под деревом тюльпанным погребла»,
Все двадцать разом кинулися к липе
И закричали: «Птичка, птичка, спой нам
Еще раз песенку твою». На это
Сказала птичка: «Дважды петь не стану
Я даром; если же вы этот жернов
Дадите мне, я запою».— «Дадим,
Дадим!» — в один все голос закричали.
С трудом великим общей силой жернов
Подняв с земли, они его надели
На шею птичке; и она, как будто
В жемчужном ожерелье, отряхнувшись
И крылышки расправивши, запела
Звучней, чем прежде, и, допев, спорхнула
С зеленой ветви, и умчалась быстро—
На шее жернов, в правой лапке цепь,
И в левой башмаки. И так она
На дерево тюльпанное в саду
Спустилась. Той порой отец сидел
Перед окном; по-прежнему в углу
Марлиночка; а мать на стол сбирала.
«Как мне легко! — сказал отец.— Как светел
И тепел майский день!» — «А мне,— сказала
Жена,— так тяжело, так душно!
Как будто бы сбирается гроза».
Марлиночка ж, прижавшись в уголок,
Не шевелилася, сидела молча
И плакала. А птичка той порой,
На дереве тюльпанном отдохнувши,
Полетом тихим к дому полетела.
«Как на душе моей легко! — опять
Сказал отец.— Как будто бы кого
Родного мне увидеть».— «Мне ж,— сказала
Жена,— так страшно! все во мне дрожит;
И кровь по жилам льется, как огонь».
Марлиночка ж ни слова; в уголку

Сидит, не шевелясь, и тихо плачет.
Вдруг птичка, к дому подлетев, запела:
«Зла мачеха зарезала меня»;
Услышав это, мать в оцепененье
Зажмурила глаза, заткнула уши,
Чтоб не видать и не слыхать; но в уши
Гудело ей, как будто шум грозы,
В зажмуренных глазах ее сверкало,
Как молния, и пот смертельный тело
Ее, как змей холодный, обвивал.
«Отец родной не ведает о том».
«Жена,— сказал отец,— смотри, какая
Там птичка! Как поет! А день так тих,
Так ясен и такой повсюду запах,
Что скажешь: вся земля в цветы оделась.
Пойду и посмотрю на эту птичку».—
«Останься, не ходи,— сказала в страхе
Жена.— Мне чудится, что весь наш дом
В огне». Но он пошел. А птичка пела:
«Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
И в этот миг цепочка золотая
Упала перед ним. «Смотрите,— он
Сказал,— какой подарок дорогой
Мне птичка бросила». Тут не могла
Жена от страха устоять на месте
И начала как в исступленье бегать
По горнице. Опять запела птичка:
«Зла мачеха зарезала меня»,
А мачеха бледнела и шептала:
«О! если б на меня упали горы,
Лишь только б этой песни не слыхать!» —
«Отец родной не ведает о том»;
Тут повалилася она на землю,
Как мертвая, как труп окостенелый.
«Сестрица же Марлиночка меня...»
Марлиночка, вскочив при этом с места,
Сказала: «Побегу, не даст ли птичка
Чего и мне». И, выбежав, глазами
Она искала птичку. Вдруг упали
Ей в руки башмаки; она в ладоши
От радости захлопала. «Мне было
До этих пор так грустно, а теперь
Так стало весело, так живо!» —
«Нет,— простонала мать,— я не могу

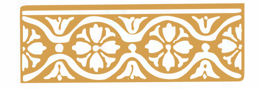
Здесь оставаться; я задохнусь; сердце
Готово лопнуть». И она вскочила;
На голове ее стояли дыбом,
Как пламень, волосы, и ей казалось,
Что все кругом ее валилось. В двери
Она в безумье кинулась. Но только
Ступила за порог, тяжелый жернов
Бух!.. и ее как будто не бывало;
На месте же, где казнь над ней свершилась,
Столбом огонь поднялся из земли.
Когда ж исчез огонь, живой явился
Там братец; и Марлиночка к нему
На шею кинулась. Отец же долго
Искал жены глазами; но ее
Он не нашел. Потом все трое сели,
Усердно богу помолясь, за стол;
Но за столом никто не ел, и все
Молчали; и у всех на сердце было
Спокойно, как бывает всякий раз,
Когда оно почувствует живей
Присутствие невидимого бога.

1845





СКАЗКА О ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ И СЕРОМ ВОЛКЕ



Давным-давно был в некотором царстве
Могучий царь по имени Демьян
Данилович. Он царствовал премудро;
И было у него три сына: Клим-
Царевич, Петр-царевич и Иван-
Царевич. Да еще был у него
Прекрасный сад, и чудная росла
В саду том яблоня; всё золотые
Родились яблоки на ней. Но вдруг
В тех яблоках царевых оказался
Великий недочет; и царь Демьян
Данилович был так тем опечален,
Что похудел, лишился аппетита
И впал в бессонницу. Вот наконец,
Призвав к себе своих трех сыновей,
Он им сказал: «Сердечные друзья
И сыновья мои родные, Клим-
Царевич, Петр-царевич и Иван-
Царевич, должно вам теперь большую
Услугу оказать мне; в царский сад мой
Повадился таскаться ночью вор;
И золотых уж очень много яблок
Пропало; для меня ж пропажа эта

Тошнее смерти. Слушайте, друзья:
Тому из вас, кому поймать удастся
Под яблоней ночного вора, я
Отдам при жизни половину царства;
Когда ж умру, и все ему оставлю
В наследство». Сыновья, услышав это,
Что им сказал отец, уговорились
Поочередно в сад ходить и ночь
Не спать, а вора сторожить. И первый
Пошел, как скоро ночь настала, Клим-
Царевич в сад и там залег в густую
Траву под яблоней, и с полчаса
В ней пролежал, да и заснул так крепко,
Что полдень был, когда, глаза продрав,
Он поднялся, во весь зевая рот.
И, возвратясь, царю Демьяну он
Сказал, что вор в ту ночь не приходил.
Другая ночь настала; Петр-царевич
Сел сторожить под яблонею вора;
Он целый час крепился, в темноту
Во все глаза глядел, но в темноте
Все было пусто: наконец и он,
Не одолев дремоты, повалился
В траву и захрапел на целый сад.
Давно был день, когда проснулся он.
Пришед к царю, ему донес он так же,
Как Клим-царевич, что и в эту ночь
Красть царских яблок вор не приходил.
На третью ночь отправился Иван-
Царевич в сад по очереди вора
Стеречь. Под яблоней он притаился,
Сидел не шевелясь, глядел прилежно
И не дремал; и вот, когда настала
Глухая полночь, сад весь облеснуло
Как будто молнией; и что же видит
Иван-царевич? От востока быстро
Летит жар-птица, огненной звездою
Блестя и в день преобращая ночь.
Прижавшись к яблоне, Иван-царевич
Сидит, не движется, не дышит, ждет,
Что будет? Сев на яблоню, жар-птица
За дело принялась и нарвала
С десяток яблок. Тут Иван-царевич,
Тихохонько поднявшись из травы,
Схватил за хвост воровку; уронив

На землю яблоки, она рванулась
Всей силою и вырвала из рук
Царевича свой хвост и улетела;
Однако у него в руках одно
Перо осталось, и такой был блеск
От этого пера, что целый сад
Казался огненным. К царю Демьяну
Пришед, Иван-царевич доложил
Ему, что вор нашелся и что этот
Вор был не человек, а птица; в знак же,
Что правду он сказал, Иван-царевич
Почтительно царю Демьяну подал
Перо, которое он из хвоста
У вора вырвал. С радости отец
Его расцеловал. С тех пор не стали
Красть яблок золотых, и царь Демьян
Развеселился, пополнел и начал
По-прежнему есть, пить и спать. Но в нем
Желанье сильное зажглось: добыть
Воровку яблок, чудную жар-птицу.
Призвав к себе двух старших сыновей,
«Друзья мои,— сказал он,— Клим-царевич
и Петр-царевич, вам уже давно
Пора людей увидеть и себя
Им показать. С моим благословеньем
И с помощью господней поезжайте
На подвиги и наживите честь
Себе и славу; мне ж, царю, достаньте
Жар-птицу; кто из вас ее достанет,
Тому при жизни я отдам полцарства,
А после смерти все ему оставлю
В наследство». Поклонясь царю, немедля
Царевичи отправились в дорогу.
Немного времени спустя пришел
К царю Иван-царевич и сказал:
«Родитель мой, великий государь
Демьян Данилович, позволь мне ехать
За братьями; и мне пора людей
Увидеть, и себя им показать,
И честь себе нажить от них и славу.
Да и тебе, царю, я угодить
Желал бы, для тебя достав жар-птицу.
Родительское мне благословенье
Дай и позволь пуститься в путь мой с богом».
На это царь сказал: «Иван-царевич,

Еще ты молод, погоди; твоя
Пора придет; теперь же ты меня
Не покидай; я стар, уж мне недолго
На свете жить; а если я один
Умру, то на кого покину свой
Народ и царство?» Но Иван-царевич
Был так упрям, что напоследок царь
И нехотя его благословил.
И в путь отправился Иван-царевич;
И ехал, ехал, и приехал к месту,
Где разделялася дорога на три.
Он на распутье том увидел столб,
А на столбе такую надпись: *«Кто*
Поедет прямо, будет всю дорогу
И голоден, и холоден; кто вправо
Поедет, будет жив, да конь его
Умрет, а влево кто поедет, сам
Умрет, да конь его жив будет». Вправо,
Подумавши, поворотить решился
Иван-царевич. Он недолго ехал;
Вдруг выбежал из леса Серый Волк
И кинулся свирепо на коня;
И не успел Иван-царевич взяться
За меч, как был уж конь заеден,
И Серый Волк пропал. Иван-царевич,
Повесив голову, пошел тихонько
Пешком; но шел недолго; перед ним
По-прежнему явился Серый Волк
И человечьим голосом сказал:
«Мне жаль, Иван-царевич, мой сердечный,
Что твоего я доброго коня
Заел, но ты ведь сам, конечно, видел,
Что на столбу написано; тому
Так следовало быть; однако ж ты
Свою печаль забудь и на меня
Садись; тебе я верою и правдой
Служить отныне буду. Ну, скажи же,
Куда теперь ты едешь и зачем?»
И Серому Иван-царевич Волку
Все рассказал. А Серый Волк ему
Ответствовал: «Где отыскать жар-птицу,
Я знаю; ну, садися на меня,
Иван-царевич, и поедем с богом».
И Серый Волк быстрее всякой птицы
Помчался с седоком, и с ним он в полночь

У каменной стены остановился.
«Приехали, Иван-царевич! — Волк
Сказал,— но слушай, в клетке золотой
За этою оградою висит
Жар-птица; ты ее из клетки
Достань тихонько, клетки же отнюдь
Не трогай: попадешь в беду». Иван-
Царевич перелез через ограду;
За ней в саду увидел он жар-птицу
В богатой клетке золотой, и сад
Был освещен, как будто солнцем. Вынув
Из клетки золотой жар-птицу, он
Подумал: «В чем же мне ее везти?»
И, позабыв, что Серый Волк ему
Советовал, взял клетку; но отовсюду
Проведены к ней были струны; громкий
Поднялся звон, и сторожа проснулись,
И в сад сбежались, и в саду Ивана-
Царевича схватили, и к царю
Представили, а царь (он назывался
Далматом) так сказал: «Откуда ты?
И кто ты?» — «Я Иван-царевич, мой
Отец, Демьян Данилович, владеет
Великим, сильным государством; ваша
Жар-птица по ночам летать в наш сад
Повадилась, чтоб золотые красть
Там яблоки: за ней меня послал
Родитель мой, великий государь
Демьян Данилович». На это царь
Далмат сказал: «Царевич ты иль нет,
Того не знаю я; но, если правду
Сказал ты, то не царским ремеслом
Ты промышляешь; мог бы прямо мне
Сказать: отдай мне, царь Далмат, жар-птицу,
И я тебе ее руками б отдал
Во уважение того, что царь
Демьян Данилович, столь знаменитый
Своей премудростью, тебе отец.
Но слушай, я тебе мою жар-птицу
Охотно уступлю, когда ты сам
Достанешь мне коня Золотогрива;
Принадлежит могучему царю
Афрону он. За тридевять земель
Ты в тридесятое отправься царство
И у могучего царя Афрона

Мне выпроси коня Золотогрива
Иль хитростью какой его достань.
Когда ж ко мне с конем не возвратишься,
То по всему расславлю свету я,
Что ты не царский сын, а вор; и будет
Тогда тебе великий срам и стыд».
Повесив голову, Иван-царевич
Пошел туда, где был им Серый Волк
Оставлен. Серый Волк ему сказал:
«Напрасно же меня, Иван-царевич,
Ты не послушался; но пособить
Уж нечем; будь вперед умней; поедем
За тридевять земель к царю Афрону».
И Серый Волк быстрее всякой птицы
Помчался с седоком; и к ночи в царство
Царя Афрона прибыли они
И у дверей конюшни царской там
Остановились. «Ну, Иван-царевич,
Послушай,— Серый Волк сказал,— войди
В конюшню; конюха спят крепко; ты
Легко из стойла выведешь коня
Золотогрива; только не бери
Его уздечки; снова попадешь в беду».
В конюшню царскую Иван-царевич
Вошел и вывел он коня из стойла;
Но на беду, взглянувши на уздечку,
Прельстился ею так, что позабыл
Совсем о том, что Серый Волк сказал,
И снял с гвоздя уздечку. Но и к ней
Проведены отвсюду были струны;
Все зазвенело; конюха вскочили;
И был с конем Иван-царевич пойман,
И привели его к царю Афрону.
И царь Афрон спросил сурово: «Кто ты?»
Ему Иван-царевич то ж в ответ
Сказал, что и царю Далмату. Царь
Афрон ответствовал: «Хороший ты
Царевич! Так ли должно поступать
Царевичам? И царское ли дело
Шататься по ночам и воровать
Коней? С тебя я буйную бы мог
Снять голову; но молодость твою
Мне жалко погубить; да и коня
Золотогрива дать я соглашусь,
Лишь поезжай за тридевять земель

Ты в тридесятое отсюда царство
Да привези оттуда мне царевну
Прекрасную Елену, дочь царя
Могучего Касима; если ж мне
Ее не привезешь, то я везде расславлю,
Что ты ночной бродяга, плут и вор».
Опять, повесив голову, пошел
Туда Иван-царевич, где его
Ждал Серый Волк. И Серый Волк сказал:
«Ой ты, Иван-царевич! Если б я
Тебя так не любил, здесь моего бы
И духу не было. Ну, полно охать,
Садися на меня, поедем с богом
За тридевять земель к царю Касиму;
Теперь мое, а не твое уж дело».
И Серый Волк опять скакать с Иваном-
Царевичем пустился. Вот они
Проехали уж тридевять земель,
И вот они уж в тридесятом царстве;
И Серый Волк, ссадив с себя Ивана-
Царевича, сказал: «Недалеко
Отсюда царский сад; туда один
Пойду я; ты ж меня дождись под этим
Зеленым дубом». Серый Волк пошел,
И перелез через ограду сада,
И закопался в куст, и там лежал
Не шевелясь. Прекрасная Елена
Касимовна — с ней красные девицы,
И мамушки, и нянюшки — пошла
Прогуливаться в сад; а Серый Волк
Того и ждал: приметив, что царевна,
От прочих отделяся, шла одна,
Он выскочил из-под куста, схватил
Царевну, за спину ее свою
Закинул и давай бог ноги. Страшный
Крик подняли и красные девицы,
И мамушки, и нянюшки; и весь
Сбежался двор, министры, камергеры
И генералы; царь велел собрать
Охотников и всех спустить своих
Собак борзых и гончих — все напрасно:
Уж Серый Волк с царевной и с Иваном-
Царевичем был далеко, и след
Давно простыл; царевна же лежала
Без всякого движенья у Ивана-

Царевича в руках (так Серый Волк
Ее, сердечную, перепугал).
Вот понемногу начала она
Входить в себя, пошевелилась, глазки
Прекрасные открыла, и, совсем
Очнувшись, подняла их на Ивана-
Царевича и покраснела вся,
Как роза алая; и с ней Иван-
Царевич покраснел, и в этот миг
Она и он друг друга полюбили
Так сильно, что ни в сказке рассказать,
Ни описать пером того не можно.
И впал в глубокую печаль Иван-
Царевич: крепко, крепко не хотелось
С царевною Еленою ему
Расстаться и ее отдать царю
Афрону; да и ей самой то было
Страшнее смерти. Серый Волк, заметив
Их горе, так сказал: «Иван-царевич,
Изволишь ты кручиниться напрасно;
Я помогу твоей кручине: это
Не служба — службишка; прямая служба
Ждет впереди». И вот они уж в царстве
Царя Афрона. Серый Волк сказал:
«Иван-царевич; здесь должны умненько
Мы поступить: я превращусь в царевну;
А ты со мной явись к царю Афрону.
Меня ему отдай и, получив
Коня Золотогрива, поезжай вперед
С Еленою Касимовной; меня вы
Дождитесь в скрытном месте; ждать же вам
Не будет скучно». Тут, ударясь оземь,
Стал Серый Волк царевною Еленой
Касимовной. Иван-царевич, сдав
Его с рук на руки царю Афрону
И получив коня Золотогрива,
На том коне стрелой пустился в лес,
Где настоящая его ждала
Царевна. Во дворце ж царя Афрона
Тем временем готовилася свадьба:
И в тот же день с невестой царь к венцу
Пошел; когда же их перевенчали
И молодой был должен молодую
Поцеловать, губами царь Афрон
С шершавою столкнулся волчьей мордой,

И эта морда за нос укусила
Царя, и не жену перед собой
Красавицу, а волка царь Афрон
Увидел; Серый Волк недолго стал
Тут церемониться: он сбил хвостом
Царя Афрона с ног и прянул в двери.
Все принялись кричать: «Держи, держи!
Лови, лови!» Куда ты! Уж Ивана-
Царевича с царевною Еленой
Давно догнал проворный Серый Волк;
И уж, сошед с коня Золотогрива,
Иван-царевич пересел на Волка,
И уж вперед они опять, как вихри,
Летели. Вот приехали и в царство
Далматово они. И Серый Волк
Сказал: «В коня Золотогрива
Я превращусь, а ты, Иван-царевич,
Меня отдав царю и взяв жар-птицу,
По-прежнему, с царевною Еленой
Ступай вперед; я скоро догоню вас».
Так все и сделалось, как Волк устроил.
Немедленно велел Золотогрива
Царь оседлать, и выехал на нем
Он с свитою придворной на охоту;
И впереди у всех он поскакал
За зайцем; все придворные кричали:
«Как молодецки скачет царь Далмат!»
Но вдруг из-под него на всем скаку
Юркнул шершавый Волк, и царь Далмат,
Перекувыркнувшись с его спины,
Вмиг очутился головою вниз,
Ногами вверх, и, по плеча́ ушедши
В распаханную землю, упирался
В нее руками, и, напрасно силясь
Освободиться, в воздухе болтал
Ногами; вся к нему тут свита
Скакать пустилася; освободили
Царя; потом все принялися громко
Кричать: «Лови, лови! Трави, трави!»
Но было некого травить; на Волке
Уже по-прежнему сидел Иван-
Царевич; на коне ж Золотогриве
Царевна, и под ней Золотогрив
Гордился и плясал; не торопясь,
Большой дорогою они шажком

Тихонько ехали; и мало ль, долго ль
Их длилася дорога — наконец
Они доехали до места, где Иван-
Царевич Серым Волком в первый раз
Был встречен; и еще лежали там
Его коня белеющие кости;
И Серый Волк, вздохнув, сказал Ивану-
Царевичу: «Теперь, Иван-царевич,
Пришла пора друг друга нам покинуть;
Я верою и правдою доныне
Тебе служил, и ласкою твоею
Доволен, и, покуда жив, тебя
Не позабуду; здесь же на прощанье
Хочу тебе совет полезный дать:
Будь осторожен, люди злы; и братьям
Родным не верь. Молю усердно бога,
Чтоб ты домой доехал без беды
И чтоб меня обрадовал приятным
Известьем о себе. Прости, Иван-
Царевич». С этим словом Волк исчез.
Погоревав о нем, Иван-царевич,
С царевною Еленой на седле,
С жар-птицей в клетке за плечами, дале
Поехал на коне Золотогриве,
И ехали они дня три, четыре;
И вот, подъехавши к границе царства,
Где властвовал премудрый царь Демьян
Данилович, увидели богатый
Шатер, разбитый на лугу зеленом;
И из шатра к ним вышли... кто же? Клим
И Петр-царевичи. Иван-царевич
Был встречею такою несказанно
Обрадован; а братьям в сердце зависть
Змеей вползла, когда они жар-птицу
С царевною Еленой у Ивана-
Царевича увидели в руках:
Была им мысль несносна показаться
Без ничего к отцу, тогда как брат
Меньшой воротится к нему с жар-птицей,
С прекрасною невестой и с конем
Золотогривом и еще получит
Полцарства по приезде; а когда
Отец умрет, и все возьмет в наследство.
И вот они замыслили злодейство:
Вид дружеский принявши, пригласили

Они в шатер свой отдохнуть Ивана-
Царевича с царевною Еленой
Прекрасною. Без подозренья оба
Вошли в шатер. Иван-царевич, долгой
Дорогой утомленный, лег и скоро
Заснул глубоким сном; того и ждали
Злодеи братья: мигом острый меч
Они ему вонзили в грудь, и в поле
Его оставили, и, взяв царевну,
Жар-птицу и коня Золотогрива,
Как добрые, отправилися в путь.
А между тем, недвижим, бездыханен,
Облитый кровью, на́ поле широком
Лежал Иван-царевич. Так прошел
Весь день; уже склоняться начинало
На запад солнце; поле было пусто;
И уж над мертвым с черным вороненком
Носился, каркая и распустивши
Широко крылья, хищный ворон. Вдруг,
Откуда ни возьмись, явился Серый
Волк: он, беду великую почуяв,
На помощь подоспел; еще б минута,
И было б поздно. Угадав, какой
Был умысел у ворона, он дал
Ему на мертвое спуститься тело;
И только тот спустился; разом цап
Его за хвост: закаркал старый ворон.
«Пусти меня на волю, Серый Волк»,—
Кричал он.— «Не пущу,— тот отвечал,—
Пока не принесет твой вороненок
Живой и мертвой мне воды!» И ворон
Велел лететь скорее вороненку
За мертвою и за живой водою.
Сын полетел, а Серый Волк, отца
Порядком скомкав, с ним весьма учтиво
Стал разговаривать, и старый ворон
Довольно мог ему порассказать
О том, что он видал в свой долгий век
Меж птиц и меж людей. И слушал
Его с большим вниманьем Серый Волк
И мудрости его необычайной
Дивился, но, однако, все за хвост
Его держал и иногда, чтоб он
Не забывался, мял его легонько

В когтистых лапах. Солнце село; ночь
Настала и прошла; и занялась
Заря, когда с живой водой и мертвой
В двух пузырьках проворный вороненок
Явился. Серый Волк взял пузырьки
И ворона-отца пустил на волю.
Потом он с пузырьками подошел
К лежавшему недвижимо Ивану-
Царевичу: сперва его он мертвой
Водою вспрыснул — и в минуту рана
Его закрылася, окостенелость
Пропала в мертвых членах; заиграл
Румянец на щеках; его он вспрыснул
Живой водой — и он открыл глаза,
Пошевелился, потянулся, встал
И молвил: «Как же долго про́спал я!» —
«И вечно бы тебе здесь спать, Иван-
Царевич,— Серый Волк сказал,— когда б
Не я; теперь тебе прямую службу
Я отслужил; но эта служба, знай,
Последняя; отныне о себе
Заботься сам. А от меня прими
Совет и поступи, как я тебе скажу.
Твоих злодеев братьев нет уж боле
На свете; им могучий чародей
Кощей бессмертный голову обоим
Свернул, и этот чародей навел
На ваше царство сон; и твой родитель
И подданные все его теперь
Непробудимо спят; твою ж царевну
С жар-птицей и конем Золотогривом
Похитил вор Кощей; все трое
Заключены в его волшебном замке
Но ты, Иван-царевич, за свою
Невесту ничего не бойся; злой
Кощей над нею власти никакой
Иметь не может: сильный талисман
Есть у царевны; выйти ж ей из замка
Нельзя; ее избавит только смерть
Кощеева; а как найти ту смерть, и я
Того не ведаю; об этом Баба-
Яга одна сказать лишь может. Ты,
Иван-царевич, должен эту Бабу-

Ягу найти; она в дремучем, темном лесе,
В седом, глухом бору живет в избушке
На курьих ножках; в этот лес еще
Никто следа не пролагал; в него
Ни дикий зверь не заходил, ни птица
Не залетала. Разъезжает Баба-
Яга по целой поднебесной в ступе,
Пестом железным погоняет, след
Метлою заметает. От нее
Одной узнаешь ты, Иван-царевич,
Как смерть Кощееву тебе достать.
А я тебе скажу, где ты найдешь
Коня, который привезет тебя
Прямой дорогой в лес дремучий к Бабе-
Яге. Ступай отсюда на восток;
Придешь на луг зеленый; посреди
Его растут три дуба; меж дубами
В земле чугунная зарыта дверь
С кольцом; за то кольцо ты подыми
Ту дверь и вниз по лестнице сойди;
Там за двенадцатью дверями заперт
Конь богатырский; сам из подземелья
К тебе он выбежит; того коня
Возьми и с богом поезжай; с дороги
Он не собьется. Ну, теперь прости,
Иван-царевич; если бог велит
С тобой нам свидеться, то это будет
Не и́наче, как у тебя на свадьбе».
И Серый Волк помчался к лесу; вслед
За ним смотрел Иван-царевич с грустью;
Волк, к лесу подбежавши, обернулся,
В последний раз махнул издалека
Хвостом и скрылся. А Иван-царевич,
Оборотившись на восток лицом,
Пошел вперед. Идет он день, идет
Другой; на третий он приходит к лугу
Зеленому; на том лугу три дуба
Растут; меж тех дубов находит он
Чугунную с кольцом железным дверь;
Он подымает дверь; под тою дверью
Крутая лестница; по ней он вниз
Спускается и перед ним внизу
Другая дверь, чугунная ж, и крепко

Она замком висячим заперта.
И вдруг он слышит, конь заржал; и ржанье
Так было сильно, что, с петлéй сорвавшись,
Дверь наземь рухнула с ужасным стуком;
И видит он, что вместе с ней упало
Еще одиннадцать дверей чугунных.
За этими чугунными дверями
Давным-давно конь богатырский заперт
Был колдуном. Иван-царевич свистнул;
Почуяв седока, на молодецкий
Свист богатырский конь из стойла прянул
И прибежал, легок, могуч, красив,
Глаза как звезды, пламенные ноздри,
Как туча грива, словом, конь не конь,
А чудо. Чтоб узнать, каков он силой,
Иван-царевич по спине его
Повел рукой, и под рукой могучей
Конь захрапел и сильно пошатнулся,
Но устоял, копыта втиснув в землю;
И человечьим голосом Ивану-
Царевичу сказал он: «Добрый витязь,
Иван-царевич, мне такой, как ты,
Седок и надобен; готов тебе
Я верою и правдою служить;
Садися на меня, и с богом в путь наш
Отправимся; на свете все дороги
Я знаю; только прикажи, куда
Тебя везти, туда и привезу».
Иван-царевич в двух словах коню
Все объяснил и, севши на него,
Прикрикнул. И взвился могучий конь,
От радости заржавши, на дыбы;
Бьет по крутым бедрам его седок;
И конь бежит, под ним земля дрожит;
Несется выше он дерев стоячих,
Несется ниже облаков ходячих,
И прядает через широкий дол,
И застилает узкий дол хвостом,
И грудью все заграды пробивает,
Летя стрелой и легкими ногами
Былиночки к земле не пригибая,
Пылиночки с земли не подымая.
Но, так скакав день целый, наконец,

Конь утомился, пот с него бежал
Ручьями, весь был окружен, как дымом,
Горячим паром он. Иван-царевич,
Чтоб дать ему вздохнуть, поехал шагом;
Уж было под вечер; широким полем
Иван-царевич ехал и прекрасным
Закатом солнца любовался. Вдруг
Он слышит дикий крик; глядит... и что ж?
Два Лешая дерутся на дороге,
Кусаются, брыкаются, друг друга
Рогами тычут. К ним Иван-царевич
Подъехавши, спросил: «За что у вас,
Ребята, дело стало?» — «Вот за что,—
Сказал один.— Три клада нам достались:
Драчун-дубинка, скатерть-самобранка
Да шапка-невидимка — нас же двое;
Как по́ровну нам разделиться? Мы
Заспорили, и вышла драка; ты
Разумный человек; подай совет нам,
Как поступить?» — «А вот как,— им Иван-
Царевич отвечал.— Пущу стрелу,
А вы за ней бегите; с места ж, где
Она на землю упадет, обратно
Пуститесь взапуски ко мне; кто первый
Здесь будет, тот возьмет себе на выбор
Два клада; а другому взять один.
Согласны ль вы?» — «Согласны»,— закричали
Рогатые и стали рядом. Лук
Тугой свой натянул, пустил стрелу
Иван-царевич: Лешие за ней
Помчались, выпуча глаза, оставив
На месте скатерть, шапку и дубинку.
Тогда Иван-царевич, взяв под мышку
И скатерть, и дубинку, на себя
Надел спокойно шапку-невидимку,
Стал невидим и сам и конь и дале
Поехал, глупым Лешаям оставив
На произвол, начать ли снова драку
Иль помириться. Богатырский конь
Поспел еще до захожденья солнца
В дремучий лес, где обитала Баба-
Яга. И, въехав в лес, Иван-царевич
Дивится древности его огромных

Дубов и сосен, тускло освещенных
Зарей вечернею; и все в нем тихо:
Деревья все как сонные стоят,
Не колыхнется лист, не шевельнется
Былинка; нет живого ничего
В безмолвной глубине лесной, ни птицы
Между ветвей, ни в травке червяка;
Лишь слышится в молчанье повсеместном
Гремучий топот конский. Наконец
Иван-царевич выехал к избушке
На курьих ножках. Он сказал: «Избушка,
Избушка, к лесу стань задо́м, ко мне
Стань передо́м». И перед ним избушка
Перевернулась; он в нее вошел,
В дверях остановясь, перекрестился
На все четыре стороны, потом,
Как должно, поклонился и, глазами
Избушку всю окинувши, увидел,
Что на полу ее лежала Баба-
Яга, уперши ноги в потолок
И в угол голову. Услышав стук
В дверях, она сказала: «Фу! фу! фу!
Какое диво! Русского здесь духу
До этих пор не слыхано слыхо́м,
Не видано видо́м, а нынче русский
Дух уж в очах свершается. Зачем
Пожаловал сюда, Иван-царевич?
Неволею иль волею? Доныне
Здесь ни дубравный зверь не проходил,
Ни птица легкая не пролетала,
Ни богатырь лихой не проезжал;
Тебя как бог сюда занес, Иван-
Царевич?» — «Ах, безмозглая ты ведьма! —
Сказал Иван-царевич Бабе-
Яге. — Сначала накорми, напой
Меня ты, мо́лодца; да постели
Постелю мне; да выспаться мне дай,
Потом расспрашивай». И тотчас Баба-
Яга, поднявшись на ноги, Ивана-
Царевича как следует обмыла
И выпарила в бане, накормила
И напоила, да и тотчас спать
В постелю уложила, так примолвив:

«Спи, добрый витязь; утро мудренее,
Чем вечер; здесь теперь спокойно
Ты отдохнешь; нужду́ ж свою расскажешь
Мне завтра; я, как знаю, помогу».
Иван-царевич, богу помолясь,
В постелю лег и скоро сном глубоким
Заснул и про́спал до полудня. Вставши,
Умывшися, одевшися, он Бабе-
Яге подробно рассказал, зачем
Заехал к ней в дремучий лес; и Баба-
Яга ему ответствовала так:
«Ах! добрый молодец Иван-царевич,
Затеял ты нешуточное дело;
Но не кручинься, все уладим с богом;
Я научу, как смерть тебе Кощея
Бессмертного достать; изволь меня
Послушать: на́ море на Окиане,
На острове великом на Буяне
Есть старый дуб; под этим старым дубом
Зарыт сундук, окованный железом;
В том сундуке лежит пушистый заяц;
В том зайце утка серая сидит;
А в утке той яйцо; в яйце же смерть
Кощеева. Ты то яйцо возьми
И с ним ступай к Кощею, а когда
В его приедешь замок, то увидишь,
Что змей двенадцатиголовый вход
В тот замок стережет; ты с этим змеем
Не думай драться, у тебя на то
Дубинка есть; она его уймет.
А ты, надевши шапку-невидимку,
Иди прямой дорогою к Кощею
Бессмертному; в минуту он издохнет,
Как скоро ты при нем яйцо раздавишь.
Смотри лишь не забудь, когда назад
Поедешь, взять и гусли-самогуды:
Лишь их игрою только твой родитель
Демьян Данилович и все его
Заснувшее с ним вместе государство
Пробуждены быть могут. Ну, теперь
Прости, Иван-царевич; бог с тобою,
Твой добрый конь найдет дорогу сам;
Когда ж свершишь опасный подвиг свой,

То и меня, старуху, помяни
Не лихом, а добром». Иван-царевич,
Простившись с Бабою-Ягою, сел
На доброго коня, перекрестился
По-молодецки свистнул, конь помчался,
И скоро лес дремучий за Иваном-
Царевичем пропал вдали, и скоро
Мелькнуло впереди чертою синей
На крае неба море Окиан,
Вот прискакал и к морю Окиану
Иван-царевич. Осмотрясь, он видит,
Что у́ моря лежит рыбачий невод
И что в том неводе морская щука
Трепещется. И вдруг ему та щука
По-человечьи говорит: «Иван-
Царевич, вынь из невода меня
И в море брось; тебе я пригожуся».
Иван-царевич тотчас просьбу щуки
Исполнил, и она, хлестнув хвостом
В знак благодарности, исчезла в море.
А на море глядит Иван-царевич
В недоумении; на самом крае,
Где небо с ним как будто бы слилося,
Он видит, длинной полосою остров
Буян чернеет; он и недалек;
Но кто туда перевезет? Вдруг конь
Заговорил: «О чем, Иван-царевич,
Задумался? О том ли, как добраться
Нам до Буяна-острова? Да что
За трудность? Я тебе корабль; сиди
На мне, да крепче за меня держись,
Да не робей, и духом доплывем».
И в гриву конскую Иван-царевич
Рукою впутался, крутые бедра
Коня ногами крепко стиснул; конь
Рассвирепел и, расскакавшись, прянул
С крутого берега в морскую бездну;
На миг и он и всадник в глубине
Пропали; вдруг раздвинулася с шумом
Морская зыбь, и вынырнул могучий
Конь из нее с отважным седоком;
И начал конь копытами и грудью
Бить по водам и волны пробивать,

И вкруг него кипела, волновалась,
И пенилась, и брызгами взлетала
Морская зыбь, и сильными прыжками,
Под крепкие копыта загребая
Кругом ревущую волну, как легкий
На парусах корабль с попутным ветром,
Вперед стремился конь, и длинный след
Шипящею бежал за ним змеею;
И скоро он до острова Буяна
Доплыл и на берег его отлогий
Из моря выбежал, покрытый пеной.
Не стал Иван-царевич медлить; он,
Коня пустив по шелковому лугу,
Ходить, гулять и травку медовую
Щипать, пошел поспешным шагом к дубу,
Который рос у берега морского
На высоте муравчатого холма.
И, к дубу подошед, Иван-царевич
Его шатнул рукою богатырской,
Но крепкий дуб не пошатнулся; он
Опять его шатнул — дуб скрипнул; он
Еще шатнул его и посильнее,
Дуб покачнулся, и под ним коренья
Зашевелили землю; тут Иван-царевич
Всей силою рванул его — и с треском
Он повалился, из земли коренья
Со всех сторон, как змеи, поднялися,
И там, где ими дуб впивался в землю,
Глубокая открылась яма. В ней
Иван-царевич кованый сундук
Увидел; тотчас тот сундук из ямы
Он вытащил, висячий сбил замок,
Взял за уши лежавшего там зайца
И разорвал; но только лишь успел
Он зайца разорвать, как из него
Вдруг выпорхнула утка; быстро
Она взвилась и полетела к морю;
В нее пустил стрелу Иван-царевич,
И метко так, что пронизал ее
Насквозь; закрякав, кувырнулась утка;
И из нее вдруг выпало яйцо
И прямо в море, и пошло, как ключ,
Ко дну. Иван-царевич ахнул; вдруг,

Откуда ни возьмись, морская щука
Сверкнула на воде, потом юркнула,
Хлестнув хвостом, на дно, потом опять
Всплыла и, к берегу с яйцом во рту
Тихохонько приближась, на песке
Яйцо оставила, потом сказала:
«Ты видишь сам теперь, Иван-царевич,
Что я тебе в час нужный пригодилась».
С сим словом щука уплыла. Иван-
Царевич взял яйцо; и конь могучий
С Буяна-острова на твердый берег
Его обратно перенес. И дале
Конь поскакал и скоро прискакал
К крутой горе, на высоте которой
Кощеев замок был; ее подошва
Обведена была стеной железной;
И у ворот железной той стены
Двенадцатиголовый змей лежал;
И из его двенадцати голов
Всегда шесть спали, шесть не спали, днем
И ночью по два раза для надзора
Сменяясь; а в виду ворот железных
Никто и вдалеке остановиться
Не смел; змей подымался, и от зуб
Его уж не было спасенья — он
Был невредим и только сам себя
Мог умертвить: чужая ж сила сладить
С ним никакая не могла. Но конь
Был осторожен; он подвез Ивана-
Царевича к горе со стороны,
Противной вoрота́м, в которых змей
Лежал и караулил; потихоньку
Иван-царевич в шапке-невидимке
Подъехал к змею; шесть его голов
Во все глаза по сторонам глядели,
Разинув рты, оскалив зубы; шесть
Других голов на вытянутых шеях
Лежали на земле, не шевелясь,
И, сном объятые, храпели. Тут
Иван-царевич, подтолкнув дубинку,
Висевшую спокойно на седле,
Шепнул ей: «Начинай!» Не стала долго
Дубинка думать, тотчас прыг с седла,

На змея кинулась и ну его
По головам и спящим и неспящим
Гвоздить. Он зашипел, озлился, начал
Туда, сюда бросаться; а дубинка
Его себе колотит да колотит;
Лишь только он одну разинет пасть,
Чтобы ее схватить — ан нет, прошу
Не торопиться, уж она
Ему другую чешет морду; все он
Двенадцать ртов откроет, чтоб ее
Поймать, — она по всем его зубам,
Оскаленным как будто напоказ,
Гуляет и все зубы чистит; взвыв
И все носы наморщив, он зажмет
Все рты и лапами схватить дубинку
Попробует — она тогда его
Честит по всем двенадцати затылкам;
Змей в исступлении, как одурелый,
Кидался, выл, кувыркался, от злости
Дышал огнем, грыз землю — все напрасно!
Не торопясь, отчетливо, спокойно,
Без промахов, над ним свою дубинка
Работу продолжает и его,
Как на току усердный цеп, молотит;
Змей наконец озлился так, что начал
Грызть самого себя и, когти в грудь
Себе вдруг запустив, рванул так сильно,
Что разорвался надвое и, с визгом
На землю грянувшись, издох. Дубинка
Работу и над мертвым продолжать
Свою, как над живым, хотела; но
Иван-царевич ей сказал: «Довольно!»
И вмиг она, как будто не бывала
Ни в чем, повисла на седле. Иван-
Царевич, у ворот коня оставив
И разостлавши скатерть-самобранку
У ног его, чтоб мог усталый конь
Наесться и напиться вдоволь, сам
Пошел, покрытый шапкой-невидимкой,
С дубинкою на всякий случай и с яйцом
В Кощеев замок. Трудновато было
Карабкаться ему на верх горы;
Вот, наконец, добрался и до замка

Кощеева Иван-царевич. Вдруг
Он слышит, что в саду недалекó
Играют гусли-самогуды; в сад
Вошедши, в самом деле он увидел,
Что гусли на дубу висели и играли
И что под дубом тем сама Елена
Прекрасная сидела, погрузившись
В раздумье. Шапку-невидимку снявши,
Он тотчас ей явился и рукою
Знак подал, чтоб она молчала. Ей
Потом он на ухо шепнул: «Я смерть
Кощееву принес; ты подожди
Меня на этом месте; я с ним скоро
Управлюся и возвращусь; и мы
Немедленно уедем». Тут Иван-
Царевич, снова шапку-невидимку
Надев, хотел идти искать Кощея
Бессмертного в его волшебном замке,
Но он и сам пожаловал. Приближась,
Он стал перед царевною Еленой
Прекрасною и начал попрекать ей
Ее печаль и говорить: «Иван-
Царевич твой к тебе уж не придет,
Его уж нам не воскресить. Но чем же
Я не жених тебе, скажи сама,
Прекрасная моя царевна? Полно ж
Упрямиться, упрямство не поможет;
Из рук моих оно тебя не вырвет;
Уж я...» Дубинке тут шепнул Иван-
Царевич: «Начинай!» И принялась
Она трепать Кощею спину. С криком,
Как бешеный, коверкаться и прыгать
Он начал, а Иван-царевич, шапки
Не сняв, стал приговаривать: «Прибавь,
Прибавь, дубинка; поделом ему,
Собаке: не воруй чужих невест;
Не докучай своею волчьей харей
И глупым сватовством своим прекрасным
Царевнам; злого сна не наводи
На царства! Крепче бей его, дубинка!» —
«Да где ты! Покажись! — кричал Кощей.—
Кто ты таков?» — «А вот кто!» — отвечал
Иван-царевич, шапку-невидимку

Сняв с головы своей, и в то ж мгновенье
Ударил оземь он яйцо; оно
Разбилось вдребезги; Кощей бессмертный
Перекувырнулся и околел.
Иван-царевич из саду с царевной
Еленою Прекрасной вышел, взять
Не позабывши гусли-самогуды,
Жар-птицу и коня Золотогрива.
Когда ж они с крутой горы спустились
И, севши на коней, в обратный путь
Поехали, гора, ужасно затрещав,
Упала с замком, и на месте том
Явилось озеро, и долго черный
Над ним клубился дым, распространяясь
По всей окрестности с великим смрадом.
Тем временем Иван-царевич, дав
Коням на волю их везти, как им
Самим хотелось, весело с прекрасной
Невестой ехал. Скатерть-самобранка
Усердно им дорогою служила,
И был всегда готов им вкусный завтрак,
Обед и ужин в надлежащий час;
На мураве душистой утром, в полдень
Под деревом густовершинным, ночью
Под шелковым шатром, который был
Всегда из двух отдельных половин
Составлен. И за каждой их трапезой
Играли гусли-самогуды; ночью
Светила им жар-птица, а дубинка
Стояла на часах перед шатром;
Кони же, подружась, гуляли вместе,
Каталися по бархатному лугу,
Или траву росистую щипали,
Иль, голову кладя поочередно
Друг другу на спину, спокойно спали.
Так ехали они путем-дорогой
И наконец приехали в то царство,
Которым властвовал отец Ивана-
Царевича, премудрый царь Демьян
Данилович. И царство все, от самых
Его границ до царского дворца,
Объято было сном непробудимым;
И где они ни проезжали, все

Там спало; нá поле перед сохой
Стояли спящие волы; близ них
С своим бичом, взмахнутым и заснувшим
На взмахе, пахарь спал; среди большой
Дороги спал ездок с конем, и пыль,
Поднявшись, сонная, недвижным клубом
Стояла; в воздухе был мертвый сон;
На деревах листы дремали молча;
И в ветвях сонные молчали птицы;
В селеньях, в городах все было тихо,
Как будто в гробе: люди по домам,
На улицах, гуляя, сидя, стоя,
И с ними все: собаки, кошки, куры,
В конюшнях лошади, в закутах овцы,
И мухи на стенах, и дым в трубах —
Все спало. Так в отцовскую столицу
Иван-царевич напоследок прибыл
С царевною Еленою Прекрасной.
И, на широкий взъехав царский двор,
Они на нем лежащие два трупа
Увидели: то были Клим и Петр —
Царевичи, убитые Кощеем.
Иван-царевич, мимо караула,
Стоявшего в параде сонным строем,
Прошед, по лестнице повел невесту
В покои царские. Был во дворце,
По случаю прибытия двух старших
Царевых сыновей, богатый пир
В тот самый час, когда убил обоих
Царевичей и сон на весь народ
Навел Кощей: весь пир в одно мгновенье
Тогда заснул, кто как сидел, кто как
Ходил, кто как плясал; и в этом сне
Еще их всех нашел Иван-царевич;
Демьян Данилович спал стоя; подле
Царя храпел министр его двора
С открытым ртом, с неконченным во рту
Докладом; и придворные чины,
Все вытянувшись, сонные стояли
Перед царем, уставив на него
Свои глаза, потухшие от сна,
С подобострастием на сонных лицах,
С заснувшею улыбкой на губах.

Иван-царевич, подошед с царевной
Еленою Прекрасною к царю,
Сказал: «Играйте, гусли-самогуды»;
И заиграли гусли-самогуды...
Вдруг все очнулось, все заговорило,
Запрыгало и заплясало; словно
Ни на минуту не был прерван пир.
А царь Демьян Данилович, увидя,
Что перед ним с царевною Еленой
Прекрасною стоит Иван-царевич,
Его любимый сын, едва совсем
Не обезумел: он смеялся, плакал,
Глядел на сына, глаз не отводя,
И целовал его, и миловал,
И напоследок так развеселился,
Что руки в боки и пошел плясать
С царевною Еленою Прекрасной.
Потом он приказал стрелять из пушек,
Звонить в колокола и бирючам
Столице возвестить, что возвратился
Иван-царевич, что ему полцарства
Теперь же уступает царь Демьян
Данилович, что он наименован
Наследником, что завтра брак его
С царевною Еленою свершится
В придворной церкви и что царь Демьян
Данилович весь свой народ зовет
На свадьбу к сыну, всех военных, статских,
Министров, генералов, всех дворян
Богатых, всех дворян мелкопоместных,
Купцов, мещан, простых людей и даже
Всех нищих. И на следующий день
Невесту с женихом повел Демьян
Данилович к венцу; когда же их
Перевенчали, тотчас поздравленье
Им принесли все знатные чины
Обоих полов; а народ на площади
Дворцовой той порой кипел, как море;
Когда же вышел с молодыми царь
К нему на золотой балкон, от крика:
«Да здравствует наш государь Демьян
Данилович с наследником Иваном-
Царевичем и с дочерью царевной

Еленою Прекрасною!», все зданья
Столицы дрогнули и от взлетевших
На воздух шапок божий день затмился.
Вот на обед все званные царем
Сошлися гости — вся его столица;
В домах осталися одни больные
Да дети, кошки и собаки. Тут
Свое проворство скатерть-самобранка
Явила: вдруг она на целый город
Раскинулась; сама собою площадь
Уставилась столами, и столы
По улицам в два ряда протянулись;
На всех столах сервиз был золотой,
И не стекло, хрусталь; а под столами
Шелковые ковры повсюду были
Разостланы; и всем гостям служили
Гайдуки в золотых ливреях. Был
Обед такой, какого никогда
Никто не слыхивал: уха, как жидкий
Янтарь, сверкавшая в больших кастрюлях;
Огромножирные, длиною в сажень
Из Волги стерляди на золотых
Узорных блюдах; кулебяка с сладкой
Начинкою, с груздями гуси, каша
С сметаною, блины с икрою свежей
И крупной, как жемчуг, и пироги
Подовые, потопленные в масле;
А для питья шипучий квас в хрустальных
Кувшинах, мартовское пиво, мед
Душистый и вино из всех земель:
Шампанское, венгерское, мадера,
И ренское, и всякие наливки —
Короче молвить, скатерть-самобранка
Так отличилася, что было чудо.
Но и дубинка не лежала праздно:
Вся гвардия была за царский стол
Приглашена, вся даже городская
Полиция — дубинка молодецки
За всех одна служила: во дворце
Держала караул; она ж ходила
По улицам, чтоб наблюдать везде
Порядок: кто ей пьяный попадался,
Того она толкала в спину прямо

На съезжую; кого ж в пустом где доме
За кражею она ловила, тот
Был так отшлепан, что от воровства
Навеки отрекался и вступал
В путь добродетели — дубинка, словом,
Неимоверные во время пира
Царю, гостям и городу всему
Услуги оказала. Между тем
Все во дворце кипело, гости ели
И пили так, что с их румяных лиц
Катился пот; тут гусли-самогуды
Явили все усердие свое:
При них не нужен был оркестр, и гости
Уж музыки наслышались такой,
Какая никогда им и во сне
Не грезилась. Но вот, когда, наполнив
Вином заздравный кубок, царь Демьян
Данилович хотел провозгласить
Сам многолетье новобрачным, громко
На площади раздался трубный звук;
Все изумились, все оторопели;
Царь с молодыми сам идет к окну,
И что же их является очам?
Карета в восемь лошадей (трубач
С трубою впереди) к крыльцу дворца
Сквозь улицу толпы народной скачет;
И та карета золотая; козлы
С подушкою и бархатным покрыты
Наметом; назади шесть гайдуков;
Шесть скороходов по бокам; ливреи
На них из серого сукна, по швам
Басоны; на каретных дверцах герб:
В червленом поле волчий хвост под графской
Короною. В карету заглянув,
Иван-царевич закричал: «Да это
Мой благодетель Серый Волк!» Его
Встречать бегом он побежал. И точно,
Сидел в карете Серый Волк; Иван-
Царевич, подскочив к карете, дверцы
Сам отворил, подножку сам откинул
И гостя высадил; потом он, с ним
Поцеловавшись, взял его за лапу,
Ввел во дворец и сам его царю

Представил. Серый Волк, отдав поклон
Царю, осанисто на задних лапах
Всех обошел гостей, мужчин и дам,
И всем, как следует, по комплименту
Понятному сказал; он был одет
Отлично: красная на голове
Ермолка с кисточкой, под морду лентой
Подвязанная; шелковый платок
На шее; куртка с золотым шитьем;
Перчатки лайковые с бахромою;
Перепоясанные тонкой шалью
Из алого атласа шаровары;
Сафьянные на задних лапах туфли;
И на хвосте серебряная сетка
С жемчужной кистью — так был Серый Волк
Одет. И всех своим он обхожденьем
Очаровал; не только что простые
Дворяне маленьких чинов и средних,
Но и чины придворные, статс-дамы
И фрейлины все были от него
Как без ума. И, гостя за столом
С собою рядом посадив, Демьян
Данилович с ним кубком в кубок стукнул
И возгласил здоровье новобрачным,
И пушечный заздравный грянул залп.
Пир царский и народный продолжался
До темной ночи; а когда настала
Ночная тьма, жар-птицу на балконе
В ее богатой клетке золотой
Поставили, и весь дворец, и площадь,
И улицы, кипевшие народом,
Яснее дня жар-птица осветила.
И до утра столица пировала.
Был ночевать оставлен Серый Волк;
Когда же на другое утро он,
Собравшись в путь, прощаться стал с Иваном-
Царевичем, его Иван-царевич
Стал уговаривать, чтоб он у них
Остался на житье, и уверял,
Что всякую получит почесть он,
Что во дворце дадут ему квартиру,
Что будет он по чину в первом классе,
Что разом все получит ордена,

И прочее. Подумав, Серый Волк
В знак своего согласия Ивану-
Царевичу дал лапу, и Иван-
Царевич так был тронут тем, что лапу
Поцеловал. И во дворце стал жить
Да поживать по-царски Серый Волк.
Вот наконец, по долгом, мирном, славном
Владычестве, премудрый царь Демьян
Данилович скончался, на престол
Взошел Иван Демьянович; с своей
Царицей он до самых поздних лет
Достигнул, и господь благословил
Их многими детьми; а Серый Волк
Душою в душу жил с царем Иваном
Демьяновичем, нянчился с его
Детьми, сам, как дитя, резвился с ними,
Меньшим рассказывал нередко сказки,
А старших выучил читать, писать
И арифметике и им давал
Полезные для сердца наставленья.
Вот напоследок, царствовав премудро,
И царь Иван Демьянович скончался;
За ним последовал и Серый Волк
В могилу. Но в его нашлись бумагах
Подробные записки обо всем,
Что на своем веку в лесу и свете
Заметил он, и мы из тех записок
Составили правдивый наш рассказ.

1845





Владимир Иванович Даль

Казак Луганский
(1802—1871)

Родился в семье датчанина и немки. Летом 1814 г. Даль вместе с братом был помещен в Морской кадетский корпус. Окончив его, отслужил во флоте обязательные годы (1819—1826), был мичманом сначала в Николаеве, потом в Кронштадте.
В 1826 г. вышел в отставку и поступил в Дерптский университет на медицинский факультет; окончил его доктором и хирургом.
Участвовал в Турецкой и Польской кампаниях (1828—1831). После войны поселился в Петербурге. Здесь упрочились связи с литераторами, появилась возможность заниматься литературой. С 1821 года Даль начал собирать народные сказки, поговорки, пословицы. В 1832 г. вышла его первая книга «Русские сказки... Пяток первый».
В последующие годы Даль служил в Оренбурге при генерал-губернаторе (1833—1841), в столице секретарем товарища министра уделов (1841—1849), а затем в Новгороде (1849—1859). С 1859 г., выйдя в отставку, писатель жил в Москве.
Все это время продолжалась литературная работа: в 1834—1838 гг. издана книга «Были и небылицы» в четырех томах, в 1844-м — повесть «Похождения Х. Х. Виальдамура и его «Аршета», в 1846-м — «Сочинения Казака Луганского»; печатался в «Библиотеке для чтения», «Современнике», «Отечественных записках» и других журналах и сборниках.
В течение всей своей жизни В. И. Даль работал над составлением «Толкового словаря живого великорусского языка» (М., 1861—1868; 2-е изд. 1880—1882), аналога которому нет ни у одного народа мира.
Интенсивной была издательская деятельность писателя в 1860-е годы: «Пословицы русского народа» (М., 1862). «Полное собрание сочинений» (СПб., 1861), «Повести» (СПб., 1861), «Солдатские досуги» (СПб., 1861), «Два сорока бывальщинок для крестьян» (СПб., 1862), рассказы и сказки для маленьких детей.
Даль был членом-корреспондентом (1838) и почетным академиком (1866) Императорской академии наук, почетным членом Общества любителей российской словесности (1868), членом Общества истории и древностей (1863), членом-учредителем Русского географического общества.
Умер Даль в Москве.







СКАЗКА О ИВАНЕ МОЛОДОМ СЕРЖАНТЕ, УДАЛОЙ ГОЛОВЕ, БЕЗ РОДУ, БЕЗ ПЛЕМЕНИ, СПРОСТА БЕЗ ПРОЗВИЩА

Милым сестрам моим Павле и Александре



Сказка из похождений слагается, присказками красуется, небылицами минувшими отзывается, за былями буднишними не гоняется; а кто сказку мою слушать собирается, тот пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного не пугается; у меня сказочник в лаптях; по паркетам не шатывался, своды расписные, речи затейливые только по сказкам одним и знает. А кому сказка моя про царя Дадона Золотого Кошеля, про двенадцать князей его, про конюших, стольников, блюдолизов придворных, про Ивана Молодого Сержанта, Удалую Голову, спроста без прозвища, без роду, без племени, и прекрасную супругу его, девицу Катерину, не по нутру, не по нраву — тот садись за грамоты французские, переплеты сафьяновые, листы золотообрезные, читай бредни высокоумные! Счастливый путь ему на ахинеи, на баклуши заморские, не видать ему стороны затейливой, как ушей своих; не видать и гуслей-самогудов: сами заводятся, сами пляшут, сами играют, сами песни поют; не видать и Дадона Золотого Кошеля, ни чудес неимоверных, Иваном Моло-

дым Сержантом созидаемых! А мы, люди темные, не за большим гоняемся, сказками потешаемся, с ведьмами, с чародеями якшаемся. В нашей сказке на всякого плясуна по погудке, про куму Соломониду страсти-напасти, про нас со сватом смехи-потехи!

В некотором самодержавном царстве, что за тридевять земель, за тридесятым государством, жил-был царь Дадон Золотой Кошель. У этого царя было великое множество подвластных князей: князь Панкратий, князь Клим, князь Кондратий, князь Трофим, князь Игнатий, князь Евдоким, много других таких же и, сверх того, правдолюбивые, сердобольные министры, фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь Пяташная Голова да строевого боевого войска Иван Молодой Сержант, Удалая Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища. Его-то царь Дадон любил за верную службу, его и жаловал неоднократно большими чинами, деньгами, лентами первоклассными, златочеканными кавалериями, крестами, медалями и орденами. Таковая милость царская подвела его под зависть вельмож и бояр придворных, и пришли они в полном облачении своем к царю и, приняв слово, стали такую речь говорить: «За что, государь, изволишь жаловать Ивана Молодого Сержанта милостями-почестями своими царскими, осыпать благоволениями многократными наравне с твоими полководцами? Мы, не в похвальбу сказано, не в урок помянуто, мы, кажется, для тебя большего стоим; собираем с крестьян подати-оброки хорошие, живем не по-холопьи, хлебом-солью, пивом-медом угощаем и чествуем всякого, носим на себе чины и звания генеральские, которые на свете ценятся выше чина капральского».

Царь этот царствовал, как медведь в лесу дуги гнет: гнет — не парит, переломит — не тужит! Он, послушав правдолюбивых и сердобольных советников своих, приказал немедленно отобрать от Ивана Молодого Сержанта, Удалой Головы, без роду, без племени, спроста без прозвища, все документы царские, чины, ордена, златочеканные медали, и пошло ему опять жалованье солдатское, простое, житье плохое, и стали со дня на день налегать на него более вельможи, бояре царские, стали клеветать, обносить, оговаривать. Подстреленного сокола и ворона носом долбит; свались только с ног, а за тычками дело не станет! Бился, бился наш Иван — какого добра еще дожидаться? Надувшись на пиво, его не выпьешь; глядя на лес, не вырастешь, а смотря на людей, богат не будешь. Задумал он наконец худое дело сделать, бежать из службы царской — земля государева не клином сошлась; беглому одна дорога, а погонщикам — сто; а поймают — воля божья, суд царев: хуже худова

не бывает, а здесь несдобровать. Выждал он ночь потемнее, собрался и пошел куда глаза глядят, куда стопы понесут молодецкие!

Приятель наш нехорошо сделал, что сбежал, о том ни слова, но и то сказать, человек не скотина; терпит напраслину до поры до времени, а пошла брага через край, так и не сговоришь! Исподволь и ольху согнешь, а вкруте и вяз переломишь!

Не успел выйти Иван наш на первый перекресток, видит-встречает, глазам своим молодецким не доверяет, видит прекрасную девицу, стоит девица Катерина, что твоя красная малина! Разодетая, разубранная, как ряженая суженая! Она поклонилась обязательно, приветствовала милостиво и спросила с ласкою: кто он таков, куда и зачем идет или послан, по своему ли желанью или по чьему приказанью? «Не торопись к худу Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища,— продолжала она,— а держись блага — послушай ты моего девичьего разума глупого, будешь умнее умного; задумал ты худое дело делать: бежать из службы царской, не схоронишь ты концов в воду, выйдет через год со днем наружу грех твой, пропадет за побег вся служба твоя; подумай-ка ты лучше думу да воротись; не всем в изобилии, в раздолье жить припеваючи, белорыбицей по Волге-реке разгуливать; кто служит, тот и тужит; ложку меду, бочку дегтю — не съешь горького, не поешь и сладкого; не смазав дегтем, не поедешь и по брагу! Мало славы служить из одной корысти; нет, Иван, послужи-ка ты своему царю заморскому, под оговором, под клеветою, верою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да из чести! Воротись, Иван Молодой Сержант, да женись ты на мне, так мы бы с тобою и стали жить да поживать; любишь — так скажи, а не любишь — откажи! Запрос в карман не лезет».

Есть притча короче носа птичья: жениться — не лапоть надеть, а одни лапти плетутся без меры, да на всякую ногу приходятся! И истинно; жена не гусли: поигравши, на стенку не повесишь, а с кем под венец, с тем и в могилу,— приглядись, принорорись, а потом женись, примерь десять раз, а отрежь один раз; на горячей кляче жениться не езди! — Все это и справедливо и хорошо, но иногда дело как будто бы наперед уже слажено, а суженого и на кривых оглоблях не объедешь! Так и тут случилось; капрал наш солдат, человек сговорчивый подал руку девице Катерине — вот то-то свахи наши ахнут: что за некрещеная земля, где сговор мог состояться без них!!! — подал руку ей, она ему надела на перст колечко обручальное даровое-заветное, дарующее силу и крепость и неиссякающее терпение, вымолвила пригодное слово, и чета наша идет — не

идет, летит — не летит, а до заутрени очутились они в первопрестольном граде своем, снарядились и обвенчались, а с рассветом встали молодыми супругами.

И вдруг, отколе что взялось, пошла Ивану опять прежняя милость царская, чины, и деньги, и лестные награды, и зажил он припеваючи домовитым хозяином, как ярославский мужик. И снова стал лукавый мучить завистью правдолюбивых, сердобольных министров царских, фельдмаршала Кашина, генерала Дюжина, губернатора графа Чихиря Пяташную Голову, и предложили они единодушно царю, чтобы Иван Молодой Сержант по крайней мере заслужил службою милость царскую, показал бы на деле рысь свою утиную лапчатую. Вследствие сего Иван Молодой Сержант наутро вычистился, белье натер человечьим мясом[1], брюки велел жене вымыть и выкатать, на себе высушил — словом, снарядился, как на ординарцы, и явился ко двору. Цадь Дадон, трепнув его по плечу, вызывал службу служить. «Рад стараться»,— отвечал Иван. «Чтобы ты мне,— продолжал царь,— за один день, за одну ночь, и всего за одни сутки, сосчитал, сколько сот, тысяч или миллионов зерен пшеницы в трех больших амбарах моих, и с рассветом доложил мне об этом. Если сочтешь верно, пойдет снова милость царская пуще прежнего; а нет, так казнить, повинную голову рубить!»

Взяла кручинушка Ивана Молодого Сержанта, Удалую Голову, без роду, без племени, спроста без прозвища, повесил он головушку на правую сторонушку, пришел, горемычный, домой. «О чем тужишь-горюешь, очи солдатские потупляешь или горе старое мыкаешь-понимаешь?» — так спросила его благоверная супруга девица Катерина. «Всевозлюбленная и распрекрасная дражайшая сожительница моя,— держал ответ Иван Молодой Сержант,— не бесчести в загонях добра молодца, загоняешь и волка, так будет овца! Как мне не тужить, не горевать, когда царь Дадон, слушая царедворцев своих, велит мне службу служить непомерную, велит мне за один день, за одну ночь, и всего-то русским счетом за одни сутки, счесть, сколько в трех больших амбарах его царских сот, тысяч или миллионов зерен пшеницы; сочту, так пойдет милость царская, а нет, так казнить, повинную голову рубить!» — «Эх, Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова, дражайший сожитель и супруг мой! Это не служба, а службишка, а служба будет впереди! Ложись-ка ты спать, утро вечера мудренее,— завтра встанем да, умывшись и помолившись, подумаем»,— так рекла прекрасная

[1] Белье у солдата *что белится,* белая кожаная амуниция. Белят ее составом из белой глины, а натирается она и вылащивается голою рукою. *(Прим. авт.)*

Катерина; напоила, накормила его, и спать положила, и прибаюкивала песенкою:

За лесами, за горами горы да леса,
А за теми за лесами лес да гора —
А за тою за горою горы да леса,
А за теми за лесами трын да трава;
Там луга заповедным диким лесом поросли,
И древа в том лесу стоеросовые,
На них шишки простые, не кокосовые!

Сожитель лег, зевнул, заснул — а Катерина вышла за вороты тесовые на крылечко белокаменное, махнула платочком итальянским и молвила: «Ах вы, любезные мои повытчики, батюшкины посольщики, нашему делу помощники, пожалуйте сюда!» И тотчас, отколе ни возьмись, старик идет, клюкой подпирается, на нем шапка мотается, головой кивает, бородой след заметает; стал и послушно от повелительницы приказания ожидает. «Сослужи-ка ты мне, вещун-чародей, службу, сосчитай до утра: сколько в трех больших амбарах государевых счетом зерен?» — «Ах, любезная наша повелительница, дочь родная-кровная нашего отца-командира, это не служба, а службишка, а служба будет впереди»; сам как свистнет да гаркнет на своих на приказчиков, так со всех сторон налетели, тьма-тьмущая — что твоя туча громовая, черная! Как принялись за работу, за расчет, не довольно по горсти — по зерну на каждого не досталось!

Еще черти на кулачки не бились, наш Иван просыпается, глаза протирает, сон тяжкий отряхает, беду неминучую, смерть верную ожидает. Вдруг подходит к нему супруга его благоверная, сожительница Катерина, грамоту харатейную, расчет верный зернам пшеничным подносит. А века тогда были темные, грамоте скорописной мало кто знал, печатной и в заводе не было,— церковными буквами под титлами и ключами числа несметные нагорожены: азы прописные — красные, узорчатые, строчные — черные, буднишние,— кто им даст толку? Да и не поверять же стать! Ни свет ни заря явился капрал наш на войсковой двор и подал грамоту по начальству. А придворные правдолюбивые фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь Пяташная Голова мысленно капрала давно уже казнили, четверили, повесили, тело его всесожжению предали и прах от востока до заката развеяли. Царь передал грамоту и дело Ивана на суд царедворцам своим. А царедворцы его — кто взят из грязи да посажен в князи; кто и велик телом, да мал делом; иной с высоку, да без намеку; тот с виду орел, да умом тетерев, личиком беленек, да умом простенек, хоть и не книжен, да хорошо острижен; а которые посмышленее, так

все плуты наголо, кто кого сможет, тот того и гложет, ну, словом, живут — только хлеб жуют, едят — небо коптят! Они повелели именем Дадона собрать всех счетчиков, арифметчиков со всего царства, составить заседание и поверить огромные итоги. Арифметчики бились, перебрали жалованья, каждый тысяч по нескольку, получили по чину сенаторскому, по две ленты на крест, по плюмажу на шляпу и решили наконец единогласно и единодушно, чтобы грамоту нерукотворную харатейную отдать на сохранение в приличное книгохранилище и передавать из рода в род позднейшему потомству яко достопамятность просвещенного века великоименитого, великодаровитого, великодержавного и великомудрого царя Дадона Золотого Кошеля; что же именно касается выкладки счета сего, то оно действительно может быть так, а может быть и не так; а потому не благоугодно ли будет вышепоименованному Ивану Молодому Сержанту повелеть, яко остающемуся и пребывающему под сомнением, повелеть службу служить ему иную и исполнить оную с большим тщанием и рачением? Царь Дадон пожаловал им теперь по кресту на петлицу, по звезде на пуговицу, по банту за спину.

А службу опять загадали Ивану безделицу: в один день, в одну ночь, всего-то русским счетом в одни сутки, выкопать вокруг города-столицы канаву, сто сажен глубины, сто сажен ширины, воды напустить, чтобы корабли ходили, рыба гуляла, пушки по берегам на валу стояли и до рассвету производилась бы пальба, ибо царь Дадон Золотой Кошель намеревался потешаться и праздновать именины свои. Если сослужит Иван службу эту — любить и золотом дарить; если нет — так казнить, голову рубить!

Вот когда нашему Ивану пришлось хоть волком взвыть! Разорвись наш брат надвое, скажут: две ноги, две руки, почему не начетверо? Подгорюнился, пришел домой, судьбу свою проклинает, смерть верную ожидает; попало зернышко под жернов, быть ему смолоту; с ветром божьим, с волею мастера не поспоришь. Но прекрасная Катерина, спросив и узнав кручину супруга-сожителя, снова намекнула ему: это не служба, а службишка, а служба будет впереди; положила спать, убаюкала тою же песнью, вышла и накликала вещуна-чародея. Идет, головой кивает, бородой след заметает; как свистнет да топнет на своих на приказчиков — ночи тьму затмили; а за работу принялись, так не только по горсти земли — по зерну, по одной песчинке на брата не досталось!

С рассветом дня царь, министры его, вельможи, царедворцы, думные и конюшие и вся столица просыпаются от гула пушек, и губернатор граф Чихирь Пяташная Голова, в легком

ночном уборе, в *валентиновом* халате, с *парламентером* на шее, походя с ног на горного шотландца, выскочил из терема своего в *три авантажа* на *балахон* и старался усмотреть в *подозрительную* трубу подступающего неприятеля. Когда же дело все обнаружилось, то Иван за страх, причиненный царю Дадону, царедворцам его и всем честным согражданам, был схвачен и посажен до времени под стражу; губернатора графа Чихиря сделали комендантом новой крепости; фельдмаршалу Кашину за деятельные меры для отражения мнимого неприятеля сшили в знак отличия кафтан из одних разноцветных выпушек; у прежнего же высокого совета арифметчиков, блаженныя памяти, отобрали все знаки отличия, ордена, ленты и звезды; за нехитро придуманную, площадную, Иваном нашим легко исполненную службу признаны все учреждения и постановления их, да и сами они, несостоятельными, и сосланы они на теплые воды полечиться. А когда при вечернем осмотре царь Дадон Золотой Кошель нашел все новые укрепления со всеми угодьями в отличной исправности, то и отдал коменданту Чихирю все знаки отличий, коими пользовался, блажныя памяти, верховный совет его.

Между тем у новых советников царских мало-помалу умишко поразгулялся, и они придумали-пригадали Ивану такую добрую службу сослужить, что от радости приказали поднести себе по кружке меду, закусили муромским калачом, ростовским каплуном и нежинским свежепросольным огурчиком, и понесли, убоясь грамоты, речи свои царю на доклад. Да и хитро же придумали! Дурак камень в воду закинет, дурак узел завяжет, семеро умных камня не вытащат из воды, узла не развяжут! Ивану нашему велели службу служить, а сами за сказки да за пляски, за обеды да за беседы — народ деловой; два брата на медведя, два свата на кисель; из лука не мы, из пищали не мы, а поесть, поплясать — против нас не сыскать!

«Ох ты гой еси, добрый молодец, Иван Молодой Сержант, без роду, без племени, спроста без прозвища, витязь безродный и бесконный! Собирайся служить ты службу тяжкую; иди ты туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекресткам, с семи перекрестков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем лесом опять гора, — вспомнил теперь Иван наш колыбельную песенку супруги своей! — Придешь ты в тридесятое государство, что за тридевять земель, в заповедную рощу; в роще заповедной стоит терем золоченый, в тереме золоченом живет Котыш Нахал, невидимка искони века; у него-то есть гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют; гусли эти принеси царю, царевичам,

и царедворцам, и наперсникам их играть, потешаться, музыкою заморскою забавляться; и чтобы все это было сделано в одни сутки! Исполнишь — хорошо; а нет, так третий и последний тебе срок — шапки с головы схватить не успеешь, как она тебе, и с головою, в ноги покатится!»

Уповая на благоверную сожительницу свою, прекрасную Катерину, и на помощь вещуна-чародея, Иван наш не унывал; но когда он пересказал сожительнице загаданную ему службу, тогда получил в ответ: «Вселюбезнейший и дражайший супруг мой и сожитель Иван Молодой Сержант, без роду, без племени, спроста без прозвища, Удалая ты Голова! Ныне пришла пора, пришла и служба твоя, и должно тебе служить ее самому; не в моих силах высвободить тебя, ниже подать тебе, бедствующему, руку помощи»; а за сим она его снарядила и в поход отпустила, как с судьбою, с случаями путем-дорогою ведаться научила, платочком итальянским своим подарила и примолвила: «Паси денежку про черный день; платком этим не иначе как в самой сущей крайности и в самом бедственном положении можешь ты утереть с лица своего молодецкую слезу горести и скорби! Не пренебрегай бездельным подарком моим: не велика мышка, да зубок остер, не велик сверчок, да звонко поет,— часом и лычко послужит ремешком!» Сели, подали хлеб-соль на прощанье, помолились богу — и пошел наш Иван, куда кривая не вынесет!

И кто бы благодерзновенный покусился сподвизаться на такие чудные и неслыханные похождения! Но плетью обуха не перешибешь — когда посылают, так идти; не положить же им, здорово живешь, голову на плаху; смерть не свой брат, хоть жить и тошно, а умирать тошнее; ретивый парень лучше пойдет проведать счастья молодецкого на чужбине, чем ему умирать бесславно на родине!

Иван наш уже на пути. Терпит он холод и голод и много бедствий различных переносит; бог вымочит, бог и высушит; потерял он счет дням и ночам. «Светишь, да не греешь,— подумал он, поглядев на казацкое солнышко, на луну,— только напрасно у бога хлеб ешь». И видит он вдруг, что зашел в бор дремучий и непроходимый, такой, что света божьего невзвидел; пень на пне, то лбом, то затылком притыкается — устал, хоть на убой! Подкосились колени его молодецкие, сапоги в сугробах снежных глубоких вязнут. Поднял он лычко подвязать голенище — горе лыком подпоясано! Вынул платочек даровой заветной супруги-сожительницы — вдруг его как на ходули подняло! Отозвалося лычко ремешком! На нем сапоги-самоходы, да и такие они скороходы, что и на одном месте стоят, так конному не нагнать; не успел шагнуть, полюбоваться

рысью своею, и уже все вокруг него зазеленелось: зашел он из белой матушки зимы в цветущую благоуханную весну; и полетел наш Иван, оглянуться не успел, выходит из лесу соснового дремучего на лужайку вечнозеленую, травка-муравка вечно свежа-зелена, как бархатец опушкой шелковой ложится, ковром узорчатым под ноги расстилается. И стоит на лужайке той здание чудное, вызолоченное от земли до кровли, от угла до угла; столпы беломраморные кровлю черепичную-серебряную подпирают, на ней маковки горят золотые, узоры прихотливые, живописные и лепные под карнизами резными разгуливают, окны цветные хрустальные, как щиты огненные, злато отливают — ни ворот, ни дверей, ни кола, ни двора; без забора, без запора, говорится, не уйдешь от вора, а тут все цело, исправно, видно некому и воровать! Обошел капрал наш здание это раз-другой кругом, оглядел со всех сторон — всюду то же, и входа нет! Смелость города берет, а за смелого бог; без отваги нет и браги; не быв звонарем, не быть и пономарем! Стук, бряк в окно хрустальное, зазвенело-полетело, только осколки брызнули! Забрался наш Иван безродный, удалой, в терем золоченый, да и ахнул! Хороша куропатка перьями, а лучше мясом; здание внутри блистало такою красотой, что ни придумать, ни сгадать, ниже в сказке сказать! А палаты огромные пусты; никто на зов Ивана Молодого Сержанта не откликается; нет ответа, нет привета. Ходил, ходил Иван наш, выходил по всем покоям и видит, вдруг встречает, глазам молодецким не доверяет, стоит в углу чан дубовый, висит через край ковшик луженый. Выпил он на усталость крючок, за здравие благоверной сожительницы своей другой, за упокой клеветников и доносчиков своих третий — разобрало его, зашумело в голове, ходит по покоям золоченым один как перст, похаживает, завалил руку левую за ухо на самый затылок и песенку русскую: «Растоскуйся ты, моя голубушка, моя дорогая» — во весь дух покрикивает. Вдруг незримая рука его останавливает, голос безвестный вопрошает: «Ох ты гой еси, добрый молодец, мало доблести, много дерзости! Зачем и откуда пожаловал, по своему ли желанью или по чьему приказанью?» — «Я Иван Молодой Сержант, спроста без прозвища, без роду, без племени, я Иван безродный, Удалая Голова, витязь безломный и бесконный; служил я верно богу и некрещеному царю своему в земле, что за триста конных миль; сбили меня царедворцы завистливые с чести, с хорошего места, лишили милостей царских, службы непосильные служить посылали, золотые горы сулили-обещали; сослужил я службу, сослужил другую, душу познал их кри-

вую — не дали, чего посулили, на произвол судьбы за третьей службой отпустили: «Иди туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекресткам, с семи перекрестков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем лесом опять гора; придешь в тридесятое государство, что за тридевять земель, в рощу заповедную; стоит там терем золотой, в тереме том живет Котыш Нахал, невидимка искони века; у него возьми гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют; их-то принеси царю, царевичам, царедворцам и наперсникам их потешаться, музыкою заморскою забавляться!»

Отозвался невидимка снова: «Кого ищешь, Иван Молодой Сержант, того нашел. Зовут меня Котышем Нахалом, вековечный я невидимка, живу в заповедной роще в тереме золоченом. Знаю я художества разные и многие; умею я строить-набирать гусли-самогуды, да с уговором: грех пополам; я буду работать, а ты будешь светить мне лучиной три дня и три ночи без смены, без засыпу; просветишь — гусли-самогуды возьмешь; а заснешь, не то вздремнешь, так голову, как с воробья, сорву! До слова крепись, а за слово держись; попятишься — раком назовут!»

«Полез по горло,— подумал Иван,— лезть и по уши; уже теперь не воротиться же стать». Надрал он лучин хвойных, зажег, светит день, светит ночь, светит и еще день, сон клонит неодолимый; кивнул Иван головой, задремал. А Котыш Нахал толк его под бок: «Ты спишь, Иван?» — «Ох, спать я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думу».— «А какую же ты думаешь думу?» — «А думаю я, глядя в окно, множество несметное растет по свету белому лесу разнокалиберного — а какого более растет, кривого или прямого? Чай, кривого больше». Котыш Нахал призадумался. «Погоди, говорит, постереги ты на досуге гусли, я пойду посчитаю». Пошел; а капрал наш тем часом залег да давай на скорую руку спать. Долго ли, нет ли ходил Котыш — не долог час на аршин, да дорог улочкою,— а Иван поспал изрядно; он, солдат, спит скоро; бывало, под туркою, походя наестся, стоя выспится. «Вставай, Иван,— закричал Котыш,— твоя правда, кривого лесу больше; и больше так, что на числа положить, так русским счетом и не выговоришь. Зажигай-ка лучину да садись за работу, свети трое суток сряду!» Светит капрал наш день, светит и ночь, добился и до другой — опять песня та же; крепился, крепился — задремал! А Котыш его толк в ребро: «Спишь?» — говорит. «Ох, спать я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думу!» — «А какую

же ты думаешь думу?» — «А думаю я: несметное множество людей на свете у бога да у земных царей, а мало ли было, да перемерло? Каких же больше людей на свете, живых или мертвых? Чай, мертвых больше!» Покинул Котыш опять Ивана на стороже, сам пошел считать. Ходил он сутки с неделей без семи дней, по-ихнему без году год со днем, выходил всю поднебесную; а Иван на брюхо лег, спиной укрылся, зевнуть не успел, заснул. «Вставай, капрал! Пора за работу, а правда твоя, мертвых людей больше; живых без четверти с седьмухой три осьмины, а остальные все мертвые!»

Светит Иван опять ночь со днем, перемогся и другую, а до третьей стало доходить — вздремнул, да так, что всхрапнул да присвистнул! Толкнул его Котыш в ребро: «Спишь, Иван?» А он очнулся, да не нашелся, а вымолвил с перепугу словцо русское: *виноват!* К пиву едется, а к слову молвится: *авось, небось* да *как-нибудь,* а если, на беду, концы с концами не сойдутся: *виноват!* Вот что нашего брата на русской земле и губит; вот за что нашего брата и бьют, да, видно, все еще мало; неймется! «Из твоей вины, — молвил Котыш Нахал, — не рукавицы шить, не сапоги тачать, а если так, то делать нечего, смерть твоя пришла неминучая. Поди-ка выдь на лужайку муравчатую, на мою заповедную мелкотравчатую, погляди еще раз на белый свет, простися, покайся, умирать собирайся, а я голову с тебя, как с воробья, сорву! Охота хуже неволи; ты же сам обрекся не животу, а смерти; слово сказано языком да губами, а держись за него зубами!»

Вышел Иван Молодой Сержант на лужайку заповедную вечнозеленую, вспомнил родину свою, супругу молодую, прекрасную Катерину, и залился слезами горькими. Что рыбе погибать на суше и безводье, то добру молодцу умирать вчуже на безродье! Вынул Иван платочек заветный итальянский утереть в последний раз слезу молодецкую — а уж Котыш Нахал зовет его на расправу, под окном косятчатым сидя, в растворчатое глядя. Пришел к нему капрал наш, заживо мертвым себя почитает, молитвами грешными сам себя поминает. «Отколе ты взял платок этот?» — спросил у него Котыш Нахал, невидимка искони века. Иван рассказал, от кого и каким случаем платок ему достался. «Ладно, кума, лишь бы правда была, — отозвался Котыш. — Правду ли ты говоришь?» — «Божиться у нас не велят, да и лгать заказывают, — отвечал служивый, — что сказано, то и свято; на солдатском слове хоть твердыни клади». — «Не долго думано, да хорошо сказано, — молвил Котыш. — Если так, то ты бы мне давно это сказал — стало быть, ты женат на

дочери моей прекрасной девице Катерине, и ты по завету, которому столько же лет, как ей самой, не только пребудешь жив, здоров и невредим и свободен от всякой пени, но и должен получить в приданое собственные мои гусли-самогуды, искони готовые, заветные, на которые и было положено завету заслужить любовь и руку дочери моей прекрасной девицы Катерины. Для милого дружка и сережку из ушка!» Снарядил его, в поход отпустил, гусли-самогуды в мошне кожаной на плечи повесил — заиграли, заплясали, песни чудные запели,— а Иван лыжи наострил да направил восвояси; шагает как жар-птица летает, домой торопится-поспешает. Шел он оттуда високосный год без недели со днем, не то поменьше, не то побольше, не поспеть ему и назад в сутки! Стоит над путем-дорогой избушка-домоседка, распустила крылья, как курочка-наседка, а в ней стукотня; лукошко, кузовок, корзина да коробок вместо цыплят вокруг похаживают, а две ведьмы, сестры, одна буланая, другая соловая, вокруг избы дозором объезжают, никого к ней не допускают. Повесил Иван гусли-самогуды на дерево, заслушались ведьмы игры чудесной, а он тем часом обошел кругом, да и в избу. Старик седой молотом полновесным перед жерлом огненным на наковальне булатной кует булавы стальные, запускает их в набалдашники золотые, а готовые на полати за печь кидает. Это был вещун-чародей, служивший на Ивана по повелению сожительницы его Катерины службы царские, но они друг друга не знавали в глаза. Старик принял радушно пришельца усталого. «Ляг, говорит, да отдохни; а старуха моя, коли похлебать чего хочешь, сварит тебе щец — за вкус не берусь, а горяченько, да мокренько будет!» Словом, напоил, накормил и спать положил, а с рассветом выпроводил, да услышал, на беду, игру чудесную гуслей-самогудов, и стал он их у Ивана просить-выпрашивать. Не захотел отдать ему Иван сокровища своего заветного, плодов поисков, трудов и похождений неимоверных,— а тот не взял добром, так взял всемером; помощники, которым, как мы уже видели, числа нет, явились по мановению повелителя своего, воздух и небо затмили множеством своим. «Хочешь ли бороться с каждым и со всеми? — спросил вещун-чародей.— Или добровольно за булаву любую отдашь мне гусли твои?» Иван подумал, да и отдал гусли; коротки ноги у миноги на небо лезть! Выбрал булаву поувесистее и пошел, проклиная белый свет! Куда деваться ему теперь? Что делать? Как дома, как в люди показаться и принести повинную голову свою на плаху? А был уже так близок великой цели своей! В раздумье играя булавой, стал он

набалдашник золотой отвертывать. Отвернул — из палицы кованой несметное и бесчисленное множество войска боевого, конного и пешего, вылетает, в строй парадный перед ним на лугу собирается, генералы с адъютантами своими во всю прыть на Ивана, витязя бездомного и бесконного, наскакивают, отдают честь должную полководцу, музыка полный поход играет, подвиги Ивана Молодого Сержанта выхваляет, армия вся в три темпа ружья на караул осаживает, правою ногою отступает. Это несметные полчища бесов вещуна-чародея, обмундированные, вооруженные. Надел Иван набалдашник золотой — исчезло все, как не бывало; снял — опять здесь, и бой, и музыка, и армия, и генералы с рапортами; а гусли-самогуды в котомке за плечами. Смекнул делом капрал наш; набалдашник надел, палицу в руку, котомку за плечи, самоходцы на ноги, и марш на один шабаш в родимую свою сторонушку. Поспел до рассвета; стал на луга заповедные царские, которые недовольно человек ни один не смел святотатными стопами своими попирать, но на кои и птица мимолетная не садилась; снял голову с булавы и построил армию несметную прямо против дворца царского, а гусли-самогуды заставил играть: «За горами, за долами!» Царь, проснувшись, разгневался на дерзостного пришельца необычайно, струсил без меры и послал губернатора графа Чихиря Пяташную Голову осведомиться немедленно: что, и как, и кто, и почему? Идет Чихирь, узнал Ивана Молодого Сержанта издали, подходит дерзостно, шляпы плюмажной не сымает, речи строптивые-ругательные произносит: «Не удивишь ты нас, Иван окаянный, что скоро воротился, и врасплох нас не застанешь! На тебя виселица готова давным-давно!» Притравил словом одним Иван бесов своих на старого недруга закоснелого: схватили — не довольно по клочку, по волоску на каждого не досталось! Ждал, ждал царь ответа с нетерпением великим. «Нет, говорит, видно этот музыки заслушался; поди-ка ты, фельдмаршал мой Кашин!» «Не ломайся, овсяник, не быть калачом»,— сказал ему Иван; и этому была участь не завиднее первого, и третьему генералу Дюжину также. Но теперь вызвался и пошел сослуживец и поборник Ивана Молодого Сержанта, поступивший ныне на место убылого, сосланного за тридевять земель по гусли-самогуды. Зная службу и дисциплину, стал он подходить к новому полководцу почтительно, держал мерный шаг, руки по шву, фуражку снял на приличном расстоянии, одним словом: шел — не спотыкался, стал — не шатался, заговорил — не заикался, и осведомился от имени царского о происходящем. Иван Молодой Сержант, спроста без

прозвища, без роду, без племени, а теперь фельдмаршал, полуторный генерал и сам себе кавалер, обнял его, приласкал, сказал именем своим, приказал царю бить челом и доложить, что Иван воротился из похода своего, сослужил службу царскую, принес гусли-самогуды из рощи заповедной вечнозеленой от Котыша Нахала, вековечного невидимки, царю, царевичам и наперсникам их потешаться, музыкою забавляться. Сам надел набалдашник на булаву, снял войско с заповедных лугов и в послушании остался ожидать решения царского. Царь Дадон Золотой Кошель выслал звать его ко двору на чай и ужин, произвел в военачальники свои, губернаторы, сенаторы, генералы и кавалеры,— но только что Иван дался в обман и пошел без подозрения на зов царский, как два наемные резника с кистенями, с ножами бросились с остервенением ему навстречу: они имели повеление обезоружить его, отняв палицу, и бросить его в темницу. Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал; им было бы выждать, покуда он взойдет в тесные ворота дворцовые, и захватить его сзади, а они, не поглядев в святцы да бух в колокол, поспешили, людей насмешили, вышли рано, да сделали мало. Теперь Иван в последний испытал коварство царя Дадона Золотого Кошеля и советников его правдолюбивых; он выпустил войско свое, конное и пешее, навстречу убийцам, обложил дворец и весь город столичный, так что лишь только нашедшая туча дождевая пронеслась в недоумении, ибо некуда было и капле дождя кануть,— и истребил до последнего лоскутка, ноготка и волоска Дадона Золотого Кошеля и всех сыщиков, блюдолизов и потакал его. «Человеку нельзя же быть ангелом»,— говорили они в оправдание свое. «Но не должно ему быть и дьяволом,— отвечал он им.— И Соломон и Давид согрешали — давидски согрешаете, да не давидски каетесь! Нет вам пардону!» И поделом: они все, по владыке своему, на один лад, на тот же покрой — все наголо бездельники; каков поп, таков и приход; куда дворяне, туда и миряне; куда иголка, туда и нитка.

Иван был провозглашен от народа царем земли той, а супруга его, благоверная Катерина,— царевною; он был еще в цветущей молодости своей, да и она в отсутствие его не состарилась, ибо все неимоверные похождения его с Котышем Нахалом и гуслями-самогудами действительно произошли в продолжение одних только суток. Царь Иван много лет здравствовал и царствовал, кротко и смиренно, милостиво и справедливо; пользовался мудрыми советами супруги своей, благоверной Катерины, ратью своею несметною держал во

страхе и повиновении врагов своих и был благословляем народом. Празднуя же восшествие свое и супруги своей на престол, заставил на пиршестве обильном ликовать народ три дня и три ночи без отдыха; вина заморские лились через край; яств, каких только прихотливая душа твоя пожелает, вдоволь; скоморохи, выписные и доморощенные, игрища многоразличные, горы, пляски, салазки и сказки, кулачные бои увеселяли народ, со всех концов царства обширного собравшийся.

И я и сват Демьян там были, куму Соломониду дома забыли, мед и пиво пили, по усам текло, в рот не попадало,— кто сказку мою дослушал, с тем поделюсь, кто нет — тому ни капли!

1832





СКАЗКА О ШЕМЯКИНОМ СУДЕ И О ВОЕВОДСТВЕ И О ПРОЧЕМ; БЫЛА КОГДА-ТО БЫЛЬ, А НЫНЕ СКАЗКА БУДНИШНЯЯ

Карлу Христофоровичу Кнорре



Пробежал заяц косой, проказник замысловатый, по свежей пороше, напрыгался, налягался, крюк выкинул сажени в три, под кочкою улегся, снежком загребся, притаился, казалось бы его уж и на свете нет — а мальчики-плутишки заутре по клюкву пошли и смеются, на след глядя, проказам его; экий увертливой, подумаешь, ведь не пойдет же прямым путем-дорогой, по-людски, виляет стороной, через пень, через тын, узоры хитрые лапками по снежку выводит, на корточки сядет, лягнет, притопнет; петлю закинет — экий куцый проказник! Ну, а как бы ему еще да лисий хвост? — И долго смеялись зайцу, а заяц уж бог весть где! Слухом земля полнится, а причудами свет; это не сказка, а присказка, а сказка будет впереди. Шемяка, судья и воевода, напроказил, нашалил, и скрылся, как заяц наш, да след покинул рыси своей лебединой лапчатой; а русский народ, как известно всему свету, необразованный, непросвещенный, так и рад случаю придраться, голову почесать, бороду потрясти,

зубы поскалить, и подымает на смех бедного Шемяку судью и поныне. Кто празднику рад, тот до свету пьян; у меня кума жила на Волге, Соломонида, бывало как вспомянет, что у свекрови на крестинах пономарь оскоромился, так и в слезы; а в Суздале, сват Демьян, и на тризне, да хохочет! Уговор лучше денег, кто в куму Соломониду удался, ни сказки ни присказки моей слушать не садись; сказка моя о похождениях слезных, приключениях жалостных Стоухана Рогоуховича и Бабарыки Подстегайловны лежит у меня под спудом; а присказка о косом и куцом зайце и сказка о суде Шемякином написана, к быту приноровлена и поговорками с ярмонки Макарьевской разукрашена, для свата Демьяна с честными сотоварищи: всякому зерну своя борозда; на всех не угодить; шапка с заломом, будь и бархатная, не на дворянскую голову шьется — а по мне да по свату куцое платье, французская булка на свет не родись! Нам подай зимою щи с пирогом; кашу; летом ботвинью, либо окрошку, тюрю, поставь квасу, да ржаного хлеба ломоть, чтобы было, за что подержаться, да зубами помолоть — а затем просим свата Демьяна не прогневаться небылицами коренными русскими потешиться, позабавиться; у нас с ним, как у людей, выше лба уши не растут!

Шемяка родился не воеводою, а мужиком. Не родись умен, не родись богат, а родись счастлив. Край его был бедный, народу смыслящего мало, письменного не много, а Шемяка у дьячка в святцы глядеть выучился, знал праздник, по приметам, отличать от буден, ходил в тонком кафтане — а как на безрыбьи и рак рыба, а в городе Питере и курица птица, так мир его и посадил в старосты. Шемяка мужик смирный: когда спит, так без палки проходи смело; и честный, заговорит, так что твои краснобаи, душа на ладони и сердце на языке; а что скажет, то и свято, где рука, там и голова; лихоимства не знал, бывало Федосей, покойник, царство ему небесное, вечная память, смышлен и хитер на выдумки, на догадки, тороватей немца иного — ему пальца в рот не клади! Бывало и комар носу не подточит; да любил покойник, нечего греха таить, чтобы ему просители глаза вставляли серебряные; бывало стукнет по голове молотом, не отзовется ль золотом? Да и сам только тем прав бывал, что за него и праведные деньги молились. Шемяка наш прост, хоть кол на голове теши, да добр и богобоязлив; так мужики и надеялись нажить от него добра, да и оскоромились. Не то беда, что растет лебеда, а то беды, как нет и лебеды!

Приходит к старосте Шемяке баба просить на парня, что горшки побил. Парню, лежа на полатях, соскучилось; поймал он клячу, а как он был не из самых ловких и проворных, так не умел и сесть, покуда кума его не подсадила. Клячонка начала его бить, понесла, а на беду тут у соседки на частоколе горшки сушатся — понесла, да мимо горшков; он, как пошел их лбом щелкать, все пересчитал, сколько ни было!

Судья Шемяка подумал, да и рассудил: чтобы кума заплатила протори, убытки и горшки соседки, за то, что парня криво на клячу посадила. — Где суд, там и расправа; мы проволочки не любим! Деньги на стол, кума, да и ступай домой!

Чтобы тебе быть дровосеком, да топорища в глаза не видать, за такой суд, подумал сват Демьян; убил бобра! Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибет!

Теперь подошла другая баба с просьбою. К ней в огород и во двор и в сени повадился ходить соседский петух; а поваженный, что наряженный, отбою нет; и такой он забияка, что бьет без пощады ее петуха и отгоняет от куриц; а соседка приберечь и устеречь его не хочет. Тогда судья Шемяка приказал поймать ей своего петуха и принести, и повелел писцу своему очинить ему нос гораздо потоньше и поострее, на подобие писчего пера, дабы он мог удобнее побивать петуха соседнего. Но он скоро, и не дождавшись победы своей, исчах и умер голодною смертью. Что ж делать; на грех мастера нет; и на старуху бывает проруха; конь о четырех ногах, да спотыкается, а у нашего петуха, покойника, только две и были!

Теперь еще пришла баба просить за мужика. Как квочки раскудахтались, сказал Шемяка, — визжать дело бабье! Ехали они вместе, баба с мужиком, на рынок; мужик стал про себя рассуждать: продам я курицу, продам яйца, да куплю горшок молока; а я, примолвила баба сдуру, я хлеба накрошу. Тогда мужик, не медля ни мало, ударил ее в щеку, и вышиб у нее два зуба; а когда она спросила, зарыдав, за что? Так он отвечал ей: *«Не квась молока»*. — Мужик с бабой пришли к Шемяке и просили друг на друга; мужик, не запираясь ни в чем, принес два зуба, которые у нее вышиб, в руках.

— Квасить молоко чужое не годится, — сказал Шемяка просительнице, — на чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой затевай! Но и ты не прав, земляк: вина одна; с чужим добром не носись, на утварь ближнего не посягай. Отдай бабе сей же час оба зуба, сполна, да и ступайте, господь с вами! тут и без вас тесно, и на брюхе пресно: сегодня еще ни

крохи, ни капли в глотку не попадало, а хлопот полон рот — в голове, как толчея ходит; бьешься, бьешься, как слепой козел об ясли! Либо одуреешь с этим народом, прости господи, либо с ума сойдешь, либо, за недосугом, когда-нибудь без покаяния умрешь!

За такие и иные подобные хитрые увертки и проделки нашего судьи правдивого, старосты Шемяки, посадили его на воеводство, и стали уже отныне честить-величать по батюшке, Шемякою Антоновичем. Полюбится сатана лучше ясного сокола; вечером Макар гряды копал, ныне Макар в воеводы попал! Коси малину, руби смородину! Жил прежде, так стал поживать ныне; готовый стол, готовый дом, а челобитчиков, просителей, на крыльце широком, что локтем не протолкаешься! Шемяка возмечтал о себе, и стал, как овсяная каша, сам себя хвалить и воспевать: Я-де старого лесу кочерга, меня не проведешь, и на кривых оглоблях не объедешь; у меня чем аукнешь, тем и отклинется; судить да рядить я и сам собаку съел; я и малого греха, и малой неправды не потерплю ни в ком; от малой искры да Москва загорелась; вола и резник обухом бьет, убей муху! А у меня, кто виноват, так виноват, хоть себе невидимка, хоть семи пядей во лбу будь!

А как бы сват мой Демьян его подслушал, так и подумал бы про себя: Ври на обед, да оставляй и на ужин! Ох ты гой еси добрый молодец, судья правдивый, Шемяка Антонович, сын отца своего родного-кровного Антона Поликарповича. Ни ухо ты ни рыло, ни с рожи, ни с кожи, а судишь так, что ни мыто, ни катано, ни брито, ни стрижено; у тебя ум за разум заходит, знать, чересчур перевалил; а где тонко, там, того и гляди, порвется! И сатана в славе, да не за добрые дела; а иная слава хуже поношенья. Ты богослов, да не однослов; мягко стелешь, да жестко спать; скажешь вдоль, а сделаешь поперек; запряжешь и прямо, да поедешь криво!

Все это подумал бы он про себя, а сказать, не скажет ни слова. Кто Шемяку посадил в воеводы, тот и отвечает. Солдат солдата под бок толкает: «Земляк! куда ты идешь, гляди-ка, тут головы не вынесешь без свища!» — «Про то знает тот, кто посылает, — проворчал старый служивый, — не ты за свою голову отвечаешь; а ты знай иди, да с ноги не сбивайся!» Так и я; не наше дело, попово, не нашего попа, чужого. Моя изба с краю, я ничего не знаю!

Пришел мещанин к воеводе Шемяке Антоновичу просить на соседа. Сосед у него был убогий, по имени Харитон, отстав-

ной целовальник. Он бы поехал и на топорище по дрова, да чай не довезет и до угла — так он и пришел просить у зажиточного хозяина кобылу. У меня, говорит, и дровни стоят наготове, и кнутишко припасен, и топор за поясом, так за малым дело стало: лошаденки нет! не откажи, батюшка!

Так и кума моя, Соломонида, что на Волге жила, не тем будь помянута, бывало о масленой пошлет внучку к золовке: приказала-де бабушка кланяться, собирается блины печь, так уж наставила водицы, натолкала и соли, припасла и сковородник, а велела просить: сковороды нет ли, мучицы гречневой, молока да маслица!

Ссудил сосед Харитона, отставного целовальника, кобылой, пришел тот к нему и за хомутом; а как хомута лишнего у этого не случилось, так он ему и не дал. Тогда убогий Харитон наш не призадумался: он привязал кобылу просто к дровням за хвост и поехал по дрова; когда же, навалив воз большой, возвращался из лесу домой, так был под хмельком; он ворота отпер, подворотню выставить позабыл, а сам кобылу стегнул плетью. Она бросилась через подворотню и вырвала себе хвост весь, а дровни остались за воротами. Харитон приводит кобылу без хвоста, а хозяин, не приняв ее, пошел на него просить.

Воевода Шемяка повелел кобылу ту привести и освидетельствовать, действительно ли она без хвоста! А когда сие оказалось справедливым, и присяжные ярыги и думные грамотеи в очках хвоста искали, искали и не нашли, тогда воевода Шемяка суд учинил и расправу и решение такое: Как оный убогий мужик, Харитон, отставной целовальник, взял кобылу с хвостом, то и повинен возвратить таковую ж; почему и взять ему оную к себе, и держать, доколе у нее не вырастет хвост.

— Ну, вот и с плеч долой,— сказал Шемяка про себя; — сделаешь дело и душе-то легче! Премудрость быть воеводой! Ведь не боги же и горшки обжигают!

«Удалось смелому присесть нагишом, да ежа раздавить,— подумал сват Демьян,— первый блин да комом! Хоть за то спасибо, что не призадумается; отзвонил, да и с колокольни! Чуть ли наш воевода не с Литвы; а туда, говорят, на всю шляхту один комар мозгу принес, да и тот, никак, девки порасхватали, а на нашего брата не досталось, что шилом патоки захватить! Нашему воеводе хоть зубы дергай; человек другому услужил, а сам виноват остался; бьют и Фому за Еремину вину! Ни думано, ни гадано, накликал на свою шею беду — не стучи, громом убьет. Кабы знал да ведал, где упасть, там бы соломы подо-

стлал — не давать бы кобылы, не ходить бы просить. Мое дело сторона; а я бы воеводе Шемяке сказал сказку, как слон-воевода разрешил волкам взять с овец по шкуре с сестры, а больше не велел их трогать ни волоском! Такой колокол по мне хоть разбей об угол! Поглядим, что дальше будет».

Приходит еще проситель, по делу уголовному. Сын вез отца, больного и слепого, на салазках, в баню, и спустился с ним, подле мосту, на лед. Тогда тот же Харитон, отставной целовальник, у которого и было ремесло, да хмелем поросло, шел пьяный через мост, упал с мосту, и убил до смерти больного старца, которого сын вез на салазках в баню. Харитон, подпав суду по делу уголовному, немного струсил; а когда его позвал Шемяка судья, то он, став позади просителя, показывал судье тяжелую, туго набитую кожаную кису, будто бы сулит ему великое множество денег. Шемяка Антонович, судья и воевода, приказал и суд учинить изволил такой: чтобы Харитону целовальнику стать под мостом, а вышереченному сыну убиенного прыгать на него с моста, и убить его до смерти. Долг платежом красен. Покойнику же отдать последнюю честь, и пристроить его к месту, то есть отвести ему земли косую сажень, выкопать землянку, снять с него мерку, да сшить на него деревянный тулуп и дать знак отличия, крест во весь рост. — Сват мой Демьян, услышав все это, замолчал, как воды в рот набрал, и рукой махнул. Теперь, говорит, дело в шапке, и концы в воду; хоть святых вон понеси! До поры, до времени, был Шемяка и прост, да лихоимства не знал; а в знать и силу попал, так и пустился во всякие художества: по бороде да по словам Аврам, а по делам — Хам; из речей своих, как закройщик модный, шьет, кроит, да выгадывает, по заказу, по деньгам, по людям, по лицу — что дальше, то лучше; счастливый путь!

Наконец приходит еще челобитчик. Тот же пьяный дурак Харитон выпросился к мужику в избу погреться. Мужик его пустил, накормил и на полати спать положил. Харитон оборвался с полатей, упал в люльку и убил ребенка до смерти. Отец привел Харитона к судье и, будучи крайне огорчен потерею дитяти своего, просил учинить суд и правду. Береза не угроза, где стоит, там и шумит! Харитон целовальник знал уже дорогу к правосудию: сухая ложка рот дерет, а за свой грош везде хорош. Он опять показал Шемяке, из-за челобитчика, туго набитую кожаную мошну, и дело пошло на лад.

Ах ты окаянный Шемяка Антонович! Судья и воевода и блюститель правды русской, типун тебе на язык! Лукавый

сам не соберется рассудить беспристрастнее и замысловатее твоего; а кто хочет знать да ведать последний приговор судьи Шемяки, конец и делу венец, тот купи, за три гривны, повествование о суде Шемякином, с изящными изображениями, не то суздальского, не то владимирского художника, начинающееся словами: «*В некоторых Палестинах два мужа живаше* — и читай — у меня и язык не поворотится пересказывать; а я, по просьбе свата, замечу только мимоходом, что изображение суда Шемякина, церемониала шествия мышей, погребающих кота, и сим подобные, неосновательно называются обыкновенно лубочными: это, говорит Демьян, показывает невежество, и унизительно для суздальцев; изображения сии искусно вырезываются на ольховых досках, а не на мягком и волокнистом лубке. Но сват меня заговорил, и я отбрел от кола; начал, так надобно кончить. Кто в кони пошел, тот и воду вози; не почитав сказки, не кидай указки!

Итак, по благополучном решении и окончании трех уголовных дел сих, Шемяка послал поверенного своего требовать от Харитона платы, которую он ему во время суда сулил и показывал в кисе кожаной. А Харитон целовальник отвечал: это не киса у меня, а праща; лежали в ней не рубли, а камни; а если бы судья Шемяка меня осудил, так я бы ему лоб раскроил! Тогда Шемяка Антонович, судья и воевода, перекрестясь, сказал: слава Богу, что я не его осудил: дурак стреляет, Бог пули носит; он бы камень бросил и, чего доброго, зашиб бы меня! Потом, рассудив, что ему пора отдохнуть и успокоиться после тяжких трудов и хлопот, на службе понесенных, расстроивших здоровье его, так что у него и подлинно уже ногти распухли, на зубах мозоли сели, и волоса моль съела, — поехал, для поправления здоровья своего, на службе утраченного, за море, на теплые воды. А Харитон, целовальник отставной, как пошел к челобитчикам требовать по судейскому приговору исполнения, так и взял, на мировую, отвяжись-де только, с одного козу дойную, с другого муки четверти две, а с третьего, никак, тулуп овчинный, да корову — всякого жита по лопате, да и домой; а с миру по нитке, голому рубаха, со всех по крохе, голодному пироги! Всяк своим умом живет, говорит Харитон; старайся всяк про себя, а господь про всех; хлеб за брюхом не ходит; не ударишь в дудку, не налетит и перепел; зимой без шубы не стыдно, а холодно, а в шубе без хлеба и тепло, да голодно!

Вот вам и всем сестрам по серьгам, и всякому старцу по ставцу! Шемяка родил, жену удивил; хоть рыло в крови да на-

ша взяла; господь милостив, царь не всевидящ — бумага терпит, перо пишет, а напишешь пером, не вырубишь топором! Нашего воеводу голыми руками не достанешь; ему бы только рыло свиное, так у него бы и сморчок под землей не схоронился!

Что ж сказать нам про Шемяку Антоновича, как его чествовать, чем его потчевать? Послушаем еще раз, на прощанье, свата Демьяна, да и пойдем. Он говорит: удалося нашему теляти да волка поймати! Простота хуже воровства, в дураке и царь не волен; по мне уж лучше пей, да дело разумей: а кто начнет за здравие, а сведет на упокой, кто и плут и глуп, тот — на ведьму юбка, на сатану — тулуп!

Кланяйся, сват Демьян, куме Соломониде, расскажи ей быль нашу о суде Шемякином, так она тебе, горе мыкаючи, вволю наплачется; скажет: ныне на свете, батюшка, все так; беда на беде, бедой погоняет, беду родит, бедою сгубит, бедой поминает! За грехи тяжкие господь нас карает; ныне малый хлеб ест, и крестного знамения сотворити не знает — а большой, правою крестится, а левую в чужие карманы запускает! А мы с тобою, сват, соловья баснями не кормят, где сошлись, там и пир; новорожденным на радость, усопшим на мир — поедим, попьем, да и домой пойдем!

1832





СКАЗКА О ПОХОЖДЕНИЯХ ЧЕРТА-ПОСЛУШНИКА, СИДОРА ПОЛИКАРПОВИЧА, НА МОРЕ И НА СУШЕ, О НЕУДАЧНЫХ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ ПОПЫТКАХ ЕГО И ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИСТРОЙКЕ ЕГО ПО ЧАСТИ ПИСЬМЕННОЙ

Однокашникам моим Павлу Михайловичу Новосильскому и Николаю Ивановичу Синицину





Идет рыба на блевку, идет и на блесну — кто наелся былей сытных, приторных, тот поди для праздника перекуси небылицей тощей да пряною, редькой, луком, стручковатым перцем приправленною! Истина нахальна и бесстыдна: ходит как мать на свет родила; в наше время как-то срамно с нею и брататься. Правда — собака цепная; ей только в конуре лежать, а спусти — так уцепится, хоть за кого! Быль — кляча норовистая; это кряж-мужик; она и редко шагает, да твердо ступает, а где станет, так упрется, как корни пустит! Притча — дело любезное! Она неряхою не ходит, разинею не прикидывается, не пристает как с ножом к горлу; она в праздник выйдет, снарядившись, за ворота, сядет от безделья на завалинку — кланяется прохожему всякому смело и приветливо: кто охоч и горазд — узнавай окрутника; кому не до него — проходи, как мимо кружки, будто не видишь, что люди по пятаку кидают! Вольному воля, а спасенному рай; а чужая совесть — могила; за каждой мухой не угоняешься с обухом, и мой окрутник за тобою не погонится!

В Олонецкой губернии, сказывают, много камня дикого и много болота мокрого — там вышел однажды мужик попахать. Пустил он соху по низовью, под скатом, так попал было в топь такую, что насилу вылез; выдрался с сохой он на горку, так напорол и вызубрил сошник о булыжник неповоротливый; а когда догадался поискать суходолья; так вспахал его и засеял. Это не сказка, а присказка, а сказка будет впереди!

Сатана, не самый старший, всегда лично в первопрестольном граде своем царствующий, а один из приспешников и нахлебников его, один из чертей-послушников, праздновал именины свои; а звали того черта Сидором, и Сидором Поликарповичем. На пирушке этой было народу много, все веселились честно и добропорядочно; плясали пляски народные и общественные, не как у нас, на ногах, а скромно и чинно, на голове; играли в карты и выезжали все на поддельных очках; расплачивались по курсу фальшивыми ассигнациями самой новой, прочной английской работы, не уступающей добротою настоящим; но все это делалось, говорю, мирно и ужиточно. Вдруг входит человек в изодранном форменном сертучишке, — кто говорил, что это хорунжий, отставленный три раза за пьянство и буянство; кто говорил, что это небольшой классный чиновник, а кто уверял, что это отставной клерк, унтер-баталер, а может быть, и подшкипер. Не успел он почтить собрания присутствием своим, как в тот же миг ввязался в шашни миролюбивых посетителей и, не откладывая дела и расправы, ударил на них в кулаки. Люблю молодца за обычай! Да и не детей же с ними крестить стать! Черт-именинник как хозяин сунулся было разнимать, но как от первого русского леща у него в ушах раздался трезвон в семь колоколов с перезвоном, на языке и горько и кисло стало, а из глаз искры посыпались градом, так он присел и присмирел. Гости расползлись по домам, по вертепам своим, и храбрый воитель и победитель наш остался пировать, один, как тетерев на току.

— Дурак ты, — сказал настоятель, сатана-староста, Сидору, когда этот пришел к нему плакаться на беду свою, — дурак круглый и трус, и худой, как я вижу, нам слуга, когда жалеешь для службы нашей шкуры своей и пары-другой зубов! Тебя, вижу я, надобно в черном теле держать! Ты бы обрадовался находке да последил ее; я давно вам, неизворотливым, сказывал, что мне чиновные озорники и пройдохи почетные нужны, чтобы вы их сманивали да зазывали, а вы знай ходите поджавши хвосты, как смиренники! Вы у меня как-то все от рук отбились: погоди, я вас пригну к ногтю! Изволь ты у меня отправиться на

землю, изведать на деле сушь и глубь и быт гражданский и военный и взять оседлость там, где для оборотов наших окажется повыгоднее; да прошу без всяких отговорок служить, как люди служат, не для поживы и личных выгод, а для блага и пользы общей нашей, не щадя ни живота, ни крови.

Сидор Поликарпович вылез из преисподней, стал ногами на твердую землю и оглядывался кругом на просторе; с него еще пар валил, как с московского банщика, и он все еще не сбил оскомину после вчерашней переквашенной русской закуски; а сверх того сплечился немного в задней левой ноге, когда выбирался из пропасти преисподней, а потому прихрамывал и сел отдохнуть.

«Плохое житье наше,— подумал он про себя.— С тех пор как нашего брата с неба спихнули, все обижают; всякий ярыга дулю подносит и по ушам хлещет! Свались только ты, так и подобьют под ноги, а станешь вставать, оправляться, так подзатыльников и не оберешься! Народ умудряется и просвещается со дня на день, и бесхвостое это племя за все берется, во все ввязывается; под землю подрывается, бороздит по морю, крестит по воздуху,— не присвой я себе жару, огня ярого, так бы и не было у меня своего красного уголка, нечем было бы перед ними похвалиться! Бьешься, бьешься как рыба об лед, а поживы мало, часом и харчи не окупаются!»

Он оглянулся кругом, поводил рылом во все стороны, а он, как добрый гончий, искал верхним чутьем, вздохнул горько и сказал: «Идти добро промышлять отселе подальше — здесь, в этой земле, за причетом нашим, и босым и постриженным, приступу нет; они и без нашего брата управятся!»

Он встал и пошел на восток, ибо вылез из земли на самом крайнем западе, на взморье, под крутым берегом, где конец света и выдался мыском в море крайний клок земли, нашей части света. Шел он, шел, долго ли, коротко ли, вёдром ли, погодкой ли, а дошел до страны от нас западной, пригишпанской, королевства задорного; а обитают в королевстве том люди неугомонные, неужиточные, родятся в них замыслы несбыточные. Там-то Сидор наш встретил отрядец солдат на привале. Солдаты те пришли из стран северных, необозримых, пространством морю прилежащему, ледовитому, равных; перешли путем земли многоязычные и отдыхали от трудов и утомительного перехода. Черт подсел к ним и начал расспрашивать их:

— Куда, ребятушки, идете?

— Идем мы, куда Макар телят не гоняет, куда ворон костей твоих не занесет; идем под Стукалов монастырь пить да

гулять, а не сиднем сидеть, играть в мяча чугунного, грызть орехи каленые ядреные; идем хлебом-солью гостей чествовать, сажать боком-ребром на прилавки железные, узкие, граненые, за скатерти браные травчатые-муравчатые, за столы земляные; поить до упаду хмельным багряным вином, опохмелять закусками ручными — ореховыми, приговаривать: «Не ходи один, ходи с батюшкою»; припевать: «Не тебе, супостату, на орла нашего сизого, на царя нашего белого руку заносить окаянную!» Кому пир, а кому мир; а кому суждено, разбредемся — сляжем по землянкам даровым, не купленным, по зимовьям не просторным, низеньким; нашему брату жизнь — копейка, голова — наживное дело! Идем пожить весело, умереть красно!

«И гладко строгает, и стружки кудрявы! — подумал черт Сидор Поликарпович. — Дай еще с ним потолкую, авось не будет ли поживы!»

— А что, служивый, чай здесь житье ваше привольное, хорошее?

— В гостях хорошо, а дома лучше, — отвечал гренадер.

— Здесь девушки хороши, — намекнул черт.

Гренадер. Много хороших, да милых нет!

Черт. Хороши, да не милы! Сбыточное ли это дело?

Гренадер. У нас не по хорошу мил, а по милу хорош!

Черт. Так что же вы милых покинули, а зашли к немилым!

Гренадер. Не пил бы, не ел, все на милую глядел — да слезою моря не наполнишь, кручиною поля не изъездишь, а супостата вашего крестом да молитвою не изведешь; стало быть, садиться казаку на коня, а нашему брату браться за пищаль да за щуп!

Черт. Да вы, господа кавалеры, волей или неволей сюда зашли?

Гренадер. Наша воля — воля царская; за него животы наши, за него головы!

Черт. Поглядишь на вашего брата, так жалость донимает! Кабы на мою немудрую голову — что бы, кажись, за радость в такой вериге ходить! Покинул бы честь и место, да и поминай как звали меня самого!

— А у тебя самого — распазить да навоз возить! — отвечал ему гренадер.

«Какой этот сторожкой! — подумал черт Сидор Поликарпович. — Пойду к другому! Дай пристану тут к заносному племени этому; к ним и ходить далеко и проживать холодно. Здесь, во стране пригишпанской, западной, сручнее будет мне с ними

побрататься; а там — чем отзовется, попытаюсь с ними вместе и до их земли добраться!»

Наш новобранец, из вольноопределяющихся, пристал, служил и ходил под ружьем, терпел всю беду солдатскую, перемогался, но — крепко морщился! Ему в первые сутки кивером на лбу мозоль намяло пальца в полтора; от железного листа в воротнике шея стала неповоротливее, чем у серого волка; широкою перевязью плеча отдавило, ранцем чуть не задушило, тесаком икры отбило! Солдату, говорят, три деньги в день, куда хочешь, туда их и день; веников много, да пару нет, а мылят, так все на сухую руку! У солдата шило бреет, а шубы нет, так палка греет! «Эти поговорки приелись мне, как сухой ячмень беззубой кобыле, уходили меня, как кающегося грехи; это не по мне! Семь недель, как в великий пост, голодом сиди, семь недель мозоли сбивай, покуда раз, да и то натощак, угодишь подраться да поживиться! Что мне за неволя в таком хомуте ходить! Стану жить я по-своему».

Сказано — сделано. Полк вышел к смотру, у всех и ранцы и амуниция исправны, а у нашего Сидора ни кирпичика форменного, ни ваксы сухой, ни воску, ни лоску, пуговицы не чищены, ниток в чемоданчике, напоказ, ни серых, ни белых!

Сидор Поликарпович думал переиначить всю службу по-своему, да и опростоволосился крепко! Ему это отозвалось так круто и больно, что он, забыв все благие советы и наставления старосты-сатаны, бросил все — и службу, и ранец, и ружье, и суму, проклял жизнь и сбежал. Он удирал трои сутки без оглядки, набил плюсны и пятки и присел наконец под липку перевести дух. Не успел он еще опамятоваться, как вдруг увидел перед собою человека невысокого росту, в низкой треугольной шляпе без пера, в расстегнутом сером сюртуке, длинной жилетке, в ботфортах, который стоял, сложив руки на груди и выставив левую ногу вперед, и разглядывал по очереди все отдаленные, через дол и лес пролегающие дороги, и был, казалось, в нерешимости, которую ему избрать. Черт Сидор подошел, обнюхал незнакомца кругом, в одно ухо ему влез, в другое вылез, и узнал таким образом все помышления и замыслы его. В это время вдруг подлетел латник с косматым шлемом и, указывая назад, донес, что он опять уже видел мельком пики на красных и синих древках и нагайки. Тот кинулся на коня и помчался стрелой; и наш Сидор, смекнув и разгадав дело, едва успел сунуть ему за пазуху письмо, которое он, пригнувшись на корточках за заднею лукою седла всадника, написал и которое при сей верной оказии вздумал отправить во тьму

окромешную к командиру своему, сатане-старосте, чтобы известить его о плохих успехах своих и проситься домой. Сидор не колдун, да угадчик; письмо его запоздало несколько, это правда, но оно, застрахованное, действительно дошло наконец до места и передано всадником с рук на руки старосте-сатане, настоятелю Стопоклепу Живдираловичу; вот оно от слова до слова:

«Письмо от черта-послушника, Сидора Поликарповича, к сатане-старосте, Стопоклепу Живдираловичу, писанное на земле, во стране пригишпанской, западной, и отправленное во тьму окромешную при первой оказии с человеком невысокого росту в треугольной шляпе без пера.

Старосте нашему, Стопоклепу Живдираловичу, от послушника его и нахлебника, Сидора Поликарповича, нижайший поклон; супруге его, Ступожиле Помеловне, от усердного поклонника ее, Сидора Поликарповича, многия лета и нижайший поклон; теще его, ведьме чалоглазой, Карге Фоминишне, по прозвищу Редечной Терке, нижайший от нас же поклон и всякая невзгода мирская; равномерно и сожительнице нашей, драгоценной Василисе Утробовне, поклон и супружеское наше приказание, задним числом со дня отлучки нашей, пребыть нам верной; деткам нашим, сыновьям: Кулаку, Зарезу и Запою, дочерям: Мохнашке и Сивухе — родительское наше проклятие на веки нерушимое и поклон; брату нашему, Искусу Поликарповичу, и сожительнице его, Чуме Цареградовне, дяде нашему, Тузу Бубновому под крапом и сожительнице его, Крале Червонной Зотообрезной, а равно и всей преисподней — нижайший поклон наш и всякая неправда мирская и нечистые дела и соблазны; желаем им всякое наитие замыслов нечестивых и успех и воздаяние сторицею за понесенные труды и беды; а о себе скажем, что мы благодаря ходатайству старосты нашего, Стопоклепа Живдираловича, и процветающим в краях здешних глупостям и вздорным пакостям людским еще в живых и здравствуем, хотя все посильные наши попытки доселе еще мало понесли за собою плодов, и много мы бедствий земных на себе испытали, и осталася за нами одна только надежда, что новое предприятие наше принести нам долженствует успех вящий и жатву обильную, душегубительную. А вышли мы из преисподней во стране, бедной науками, и художествами, и просвещением, где блаженствуют наши, и босые и постриженные, на краю света, — почему и сочли мы за лишнее основать здесь пребывание наше, а отправились через горы высокие, снежные на Восток и обрели там людей, наклонных

к дури и к пакостям, самодовольных и бессовестных; почему, рассудив также, что оные люди рук наших не минуют, раздавали мы им только значки, трехцветные и белые, для основания междоусобий; а потом и намеревались держать путь свой еще далее на Восток, как дошло до нас сведение, что нахлынули от стран северных люди, дюжие телом и крепкие духом, им же несть числа, а страна их ледовита и ими любима; и заложил во время оно преставившийся царь их, а наш первейший враг, столицу свою в земле неприятельской, и довершили ее наследники царя того и потомки, вопреки стараниям и покушениям нашим, а древнюю столицу свою, до которой нет нам приступу от великого множества церквей, коих числится сорок сороков, отстояли они ныне снова и подняли на дым, дабы не досталось в руки иноплеменникам двадесяти языков, под предводительством подручника нашего на царя и землю их покусившихся; и уморили они тех иноплеменников захожих голодом и холодом, и уходили и извели оружием, и написали сказку: «О беспечной вороне, попавшейся во щи гостей голодных», и следили того предводителя до земли и столицы его, где мы ныне обретаемся, и побивали его нещадно на каждом шагу. А посему и сочли мы за лучшую пакость подбиться к сим ненавистным нам доблестным и смиренным воителям и искусить их совращению с пути повиновения и благочестия. Но сия попытка, несмотря на то, что, усердствуя ко благу нашему общему, не щадим мы ни плеч своих, ни шкуры, обошлась нам весьма несходно, и понесли мы от нее накладу более, чем барышей. Есть у них, например, обычай военный, что не спрашивается: *отколе взять,* а говорится только: *чтоб было;* глядишь — и есть; а чуть прогуляешь, проглядишь, так тотчас за расправу, а это вовсе не по нас! И пуще всего невзлюбили мы у них той музыки, что стучат в глухие бубны без бубенчиков да подыгрывают в два смычка без канифоли на кожаной скрипке; испытали мы притом жизнь холодную и голодную, так что часом и уведешь где-нибудь быка, да негде изжарить, некогда съесть; а по всему этому и рассудили мы наконец предоставить их участи своей, покинуть и сбежать. Они же, воители те, царей своих чтят свято, за землю обширную, отчасти ненаселенную и дикую, стоят всем оплотом дружно и норовисто, а посему успеха нам еще ожидать должно мало. Таким делом изведали мы быт их на суше, а ныне намерены при помощи отца-настоятеля и старосты нашего сесть на корабли их, здесь обретающиеся, и держать путь вместе с ними чинно и тихо до земли их и осмотреться там, на месте, не упуская удобного случая взять оседлость свою,

как наказано нам было, там, где окажется повыгоднее и поприветливее. О чем, здравствуючи, будем не оставлять вас своими уведомлениями; а вас просим усердно находить нас таковыми же. А писано сие письмо к вам через самого того земли пригишпанской, западной, повелителя, нашего подручника, которому срок на земле ныне вышел уже давным-давно и следует ему явиться к старосте, Стопоклепу Живдираловичу, во тьму окромешную; но, по мнению нашему, востребуется послать дюжину-другую разночинцев и послушников, нашей братьи, дабы они могли уловить и увлечь с собою того подручника нашего и представить в преисподнюю; ибо сам он, употребляя во зло долготерпение наше, день за день просрочивает и явиться к месту откладывает. А за сим, испрашивая от старосты нашего, и настоятеля, и всей братии послушников всякую невзгоду и проклятие небесное и земное, остаемся усердствующим ко соблазну общему служителем и послушником вашим

чертом Сидором Поликарповым.

Приписка. Еще уведомляем вас о том, что оные северные страны повелитель, лишь только первый на миродавца того руку наложил, и отстоял земли и народы и веси своя, и избил всю заморскую рать его, и отобрал все оружие и до тысячи огнеметных литых орудий, то и все земли крещеные, доселе миродавцу тому раболепствовавшие, очнулись, и оперились, и противу него восстали, завопили, и начали витии велеречивые священнодействовать и писать воззвания доблестные и песни ободрительные войскам своим и всему народу; а понеже той северной страны повелитель даровал милость и пощаду всем на него посягавшим и карать их более не пожелал, а требует от них мира и дружбы, каковое изумительное великодушие поразило и врагов и новых союзников его, то и не худо бы нам заранее разослать в те иные земли послушников наших, дабы соблазнить все народы и земли крещеные забыть, что скорее, то лучше, таковое им оказанное беспримерное благодеяние и заставить их в бессилии своем и немощи обносить оговорами и клеветою северной той страны обитателей и властителей их и мстить им за вышереченное благодеяние всяким наветом злым, и словом, и делом, и где чем прилучится. О чем и прошу довести до сведения старосты нашего и настоятеля, Стопоклепа Живдираловича: ибо замечено нами на пути нашем, что наклонность к таковым нам любезным пакостям и злодеяниям таится уже в семенах раздора многоязычных племен тех».

Отправив письмо это, соскочил Сидор с задней луки седла и чуть было не повис в тороках! «Долго ль до беды,— подумал он.— О серник споткнешься, затылком грянешься, а лоб расшибешь!» Он присел; а как было уже довольно поздно и Сидор наш уморился крепко, то и лег, свернулся, наутро встал, стряхнулся, совершил поход в один переход и сел на корабль у взморья.

«Фортуна бона,— подумал черт Сидор Поликарпович — а он думать научился по-французски,— фортуна бона,— подумал он, когда изведал службу нашу на море.— Я хоть языкам не мастер, а смекаю, что тютюн, что кнастер; мои губы не дуры, язык не лопатка, я знаю, что хорошо, что сладко. Здесь жизнь разгульная и всякого добра разливное море! Каждый день идет порция: водка, мясо, горох, масло; под баком сказки, пляски, играют в дураки и в носки, в рыбку и в чехарды; рядятся в турок и верблюдов, в жидов и в лягушек; спят на койках подвешенных, как на качелях святошных,— одна беда — простору мало, да работы много!»

Он надел на себя смоленую рабочую рубаху, фуражку, у которой тулья шла кверху уже, а на околыше были выметаны цветными нитками зубцы и узоры; опоясался бечевкой, привесил на ремне нож в ножнах кожаных, свайку, насовал в карманы шаровар каболки, тавлинку, кисет; вымазал себе рожу и лапы смолою, взял в зубы трубчонку без четверти в вершок и, проглотив подзатыльника два от урядника за то, что сел было курить на трапе, примостился смиренно к камбузу, где честная братия сидела в кружке, покуривала корешки и точила лясы.

— Что скажешь, куцый капитан общипанной кóманды, поверенный пустых бочек? — спросил марсовой матрос трюмного,— каково твои крысы поживают?

— Приказали кланяться, не велели чваниться! — отвечал тот.

— Не бей в чужие ворота плетью,— заметил старый рулевой насмешнику,— не ударили бы в твои дубиной! Век долга недели, не узнаешь, что будет; может быть, доведется еще самому со шваброй ходить!

— Не доведется, Мироныч,— отвечал первый,— с фор-марсу на гальюн не посылают! Без нашего брата на марса-рее и штык-баут не крепится!

— Не хвалися, горох, не лучше бобов,— проворчал третий.— А кто намедни раз пять шкаторину из рук упускал, покуда люди не подсобили?

— Упустишь, когда из рук рвет,— отвечал опять тот.— Ведь не брамсельный дул, а другой риф брали!

— У доброго гребца и девятый вал весла из уключины не вышибет,— сказал урядник с капитанской шестерки,— не хвали меня в очи, не брани за глаза, не любуйся собой, так и будешь хорош!

— Запевай-ка повеселее какую, Сидорка,— сказал нашему Поликарповичу сосед его.— Что ты сидишь — надулся, как мышь на крупу! Ты волей пристал к нам, так и зазнаешься; а у нас, вишь, неволя скачет, неволя пляшет, неволя песни поет!

— Не свайкой петь, когда голосу нет! — отвечал Сидор, оскалив зубы, как мартышка.— Запевай-ка ты свою:

Здравствуй, милая, хорошая моя,
Чернобровая, похожа на меня!

— На тебя? — спросил урядник.— Надо быть, хороша была! Неужто и с тобой какая ни есть слюбилась?

— Нет такого мерзавца, чтобы не нашел своей скверновки,— отвечал Сидорка.— Кабы люди не сманили, и теперь бы со мной жила!

— Кабы нашего сокола вабило не сманило, сто лет бы на месте сидел,— подхватил марсовой.— А какая твоя любка была, Сидорка, чернавка или в тебя, белянка?

— Была белобрысая, была и черномазая,— отвечал Сидорка,— было, да быльем поросло! Нашему брату за вами, в бубновых платочках, не угоняться!

— Да, мы-таки постоим за своих,— подхватил тот же марсовой,— и поспорим хоть с кем, что против нашей, ниже у косноязычного француза, не найдешь ни одной! Бывало, моя как приоденется да приумоется, так хоть водицы испить!

— Чистоплотен больно,— промолвил Мироныч,— что за дворянин! Когда горох в котле, так стало быть, и чист; брюхо не зеркало, что в зубах, то и чисто!

— Горох горохом,— отозвался кок за камбузом,— а в рассоле из-под солонины, ребята, нечего греха таить, наудил нынеча угрей!

— Эка невидаль,— отвечал Мироныч,— будто то и черви, что мы едим; по-моему, так то черви, что нас едят! Смазной, да затягивай хоть ты сдуру песню свою про червяка черемхового!

— Погоди,— отвечал Смазной,— вишь, трюмный наш, Спирька, задремал, так чтоб не потревожить!

— Чего тут годить; на посуле, что на стуле, посидишь да и встанешь,— сказал опять первый.

— Встанешь, пройдешься, да и опять присядешь,— отвечал тот,— посуленое ждется; что я тебе за песенник дался? Много ли вас тут охочих до песен моих? Я меньше как при двенадцати зубов не оскалю и голосу не подам!

— И дело,— подхватил марсовой.— У нас был в Касимове мещанин; как начал торговать, так, бывало, на пятак в день уторгует да еще два гроша сдачи даст; а расторговался, поднялся с мелочного на оптовой-валовой, так в нитках пасмы не разбивает, в варганах полудюжины не рознит!

Дудка просвистела на шканцах, и осиплый голос прокричал в фор-люк: «Пошел все наверх!» Все кинулись, кто в чем сидел, и Сидора Поликарповича нашего подле трапу семь раз с ног сбивали! Он вылез последним, и вахтенный урядник, сказав ему, что он скор как байбак, поворотлив как байдак, спросил: «Не угодно ли прописать боцманских капель?» — «Не все линьком,— отвечал Сидор,— можно и свистком!» — «Да, можно,— ворчал тот,— засядете под баком, так вас оттоле калачом не выманишь, ломом не выломишь, шилом не выковырнешь! Пошел на марса-фал!» Сидор кинулся на марса-фал, а его в шею. «За что?» — «Не трёкай!» Опять по шее. «За что?» — «Иди ходом, лежи валом, не дергай!» Кричат: «На брасы на правую!» А Сидора в шею. «За что?» — «Не тяни без слова!» Опять в шею. «Отдай»,— говорят; отдал — «Тяни!» Ну, словом, замотали бедного Сидорку нашего до того, что он и не знал, куда деваться; куда ни сунься — урядник; за что ни ухватись — линек! «Из бухты вон!» — раздалось с юту, и Сидор наш, который еще не знал ни бухты, ни лопаря, оглянуться не успел, как боцман отдал пертулинь; якорь полетел, потащил за собою канат, а с канатом и Сидорку, который не успел выскочить из свернутых оборотов каната, из бухты, и Поликарповича в полтрети мига вместе с канатом прошмыгнуло в обитый свинцом клюз, выкинуло под гальюном, перед носом корабля! Он вынырнул, ухватился за водорез, за ватерштаги, вылез на бушприт и стоял долго, почесывая затылок и оглядываясь кругом: таких проказ он и во сне не видал! Он не мог опамятоваться. «Что за нелегкая меня сюда принесла! — подумал он, присев под кливером, у эзельгофта.— Тут замотают так, что с толку своротишь, из ума выбьешься! Попал я никак из огня да в воду! Как ни ладишь, ни годишь, а не приноровишься никак к этой *поведенции,* к морской *заведенции!* Не дотянешь — бьют, перетянешь — бьют; а что и всего хуже — работа впрок нейдет; тяни, тяни, да и отдай! Тяни, из шкуры лезь, тяни, да отдай! Что это за каторга? По-моему бы, выдраил в струнку один раз, на шабаш, закрепи,

да и не замай! А тут не успел навернуть на планку либо битенг, опять сымай, трави, отдавай — а там опять тяни! На это не станет и сил; у меня руки в плечах оттянуло так, что лапы в пол-икры болтаются: это не шутка! А глядишь — завтра то же, послезавтра опять то же... Служи сам настоятель, сатана-староста, когда лаком больно, а не я. Неохота лап мочить, а то бы соскочил сейчас, да и пошел! Терпеть, видно, до первого якоря, а там — и черт не слуга!»

Рассудил, как размазал, и не стал работать; отнекивался во ожидании первой якорной стоянки, а между тем стал бурлить тихомолком, задумал всполошить всю команду. Свистят: «Первую вахту наверх!» Сидорка забился на кубрике где-то, сидит, дух притаил. Кричат: «Аврал, аврал!» — и подавно то же; Сидорка и сам не идет и других не пускает! Как тут быть? Капитан хватился за ум. Он догадался, что все это проказы заморского выходца, новобранца нашего, Сидора, и вздумал повернуть делом покруче. «Свистать к вину!» — закричал он вахтенному уряднику. Урядники собрались все вокруг грот-люка, просвистали резко и согласно «к вину», вся команда вышла, и черт Сидор Поликарпович также вылез. Тогда капитан приказал его схватить и, как первого зачинщика, растянул его на люк и вспорол, да так, что с него, живого, сухая пыль пошла, что, как говорится, и чертям тошно стало! А сам приговаривал: «Я тебя взял на службу государеву, одевал и кормил тепло и сытно, а ты ум свой с концов обрезал, да и в середке ничего не оставил, вздумал проказить на свою голову — закорми чушку, так будет плакаться на пролежни; трунил ты надо мной, потешусь и я над тобой; проведу и я свою борозду, поставлю над тобою пример, чтобы у тебя сдуру молодец какой-нибудь не вздумал перенимать; передний заднему дорога; не задай острастки, так, чего доброго, черниговского олуха какого-нибудь и оплетешь! Не я бью, сам себя бьешь; кнут не мука, а вперед наука — один битый семерых небитых стоит! Это тебе в задаток; а если расплачиваться начистую с тобою доведется, так знай, что дело пойдет в рост! Тогда не пеняй!»

Черт Сидор Поликарпович, вырвавшись от жару такого, какого и у себя дома, в преисподней, не видывал, кинулся со всех ног через кран-балку и уцепился за одну лапу якоря, который только что был отдан и летел в воду, пошел с ним ко дну и впился мертвым зубом в илистый, вязкий, под плитняком, грунт морской; а когда на другой день судно стало сыматься с якоря, а черта нашего едва было не достали со дна морского, то он, в беде неминучей, перегрыз зубами канат у самого рыма,

и боцман с баку закричал: «Пал шпиль! Лопнул канат, щебнем перетерло и конец измочалило!» «Черт с ним, и с якорем,— подумал баковый матрос, которого выпороли заодно с Сидоркою,— у нашего царя якорей много, всех не переломаешь! По крайней мере избавились от новобранца этого неугомонного, что пришел из стран пригишпанских, западных, и сел кстати, как вахлак на мослак!»

Таким образом, черт Сидор Поликарпович пропал вторично без вести, считался год со днем в бегах и наконец из списков по сухопутному и морскому ведомству выключен. Поминают об нем старослуживые с тремя шевронами, поминают, как царя Гороха да Ивашку Белую Рубашку! Черт Сидор пропал, концы схоронил, и след простыл! Какие приключения и похождения проходил и изведал он на дне морском,— мореплаватель ли какой, со всем причетом и пожитками своими, морем хладным объятый и во мраке багровом до искупления своего по дну морскому крейсирующий, или другой кто приняли, приютили, наставили и научили Сидорку нашего,— этого я и не знал да позабыл; а у меня память такая куриная, что чего не знаешь, того и не помнишь! Знаю только, что вскоре после того, как сбылось с Сидоркою рассказанное в сказке нашей приключение и похождение, стал показываться оборотень какой-то в кудрявых и прописных Азах, коими расчеркиваются чиновные и должностные наши. Он, Сидорка, то роги выставит, то ногой лягнет, то когти покажет, то язык высунет, то хвостом, как мутовкой, пыль взобьет,— а сам с той поры никогда и никому более в руки не дается и на глаза не показывается; удавалось, правда изредка, сбить ему рог, так вырастал опять новый, покруче первого; посадили ему было как-то язык в лещедку, так он за перо; и видел его целком один только сват мой Демьян, да и то во сне! Сидит, сказывал, лоскут красного, чернилами испятнанного сукна подстлавши, затирает чернильные орешки с купоросом, с камедью, чинит перья-скорописчики, ножички подтачивает, смолку на подчистку изготовляет; сват Демьян подошел было к нему сдуру во сне, хотел поглядеть на него, так тот накормил его палями, напоил чернилами да начал было на него писать на листе форменного формата донос; так мой Демьян от него отрекся, отчурался; я, говорит, ни вор, ни пьяница, в домостроительстве не замечен, так во мне для тебя, хоть ты двадцать стоп испиши, ни русла, ни ремесла; человек я маленький, полуграмотный, шкурка на мне тоненькая, да и та казенная; пишу я по-казацки, супостата шашкою по затылку, коня донского нагайкою по ребрам; так ты от-

вяжись и не пятнай доброй славы моей, чтобы всяк мог говорить и ныне, как говаривали встарь:

Козак, душа правдивая,
Сорочки немае —
Коли не пье, так воши бье,
Таки не гуляе!

Черт Сидор Поликарпович задал еще никак острастку куме Соломониде; а впрочем, остался при хлебном и теплом ремесле своем и при месте — он выписал из преисподней супругу свою Василису Утробовну, сыновей: Кулака, Зареза и Запоя, дочерей: Мохнашку и Сивушку, и живет с ними припеваючи! Он доходами и сам сыт и подушное за себя и за всю семью свою, по последней ревизии, сатане-настоятелю, Стопоклепу Живдираловичу, уплачивает, а супругу его, Ступожилу Помеловну, дарил неоднократно к праздникам камачею, камкою, ожерельями и платками; места же своего покинуть не думает, а впился и въелся так, что его теперь уже не берет ни отвар, ни присыпка!

Вот вам сказка гладка; смекай, у кого есть догадка; кто *охоч,* да *не горазд,* тот поди, я с ним глаз на глаз еще потолкую; а кто *горазд,* да *не охоч,* тот прикуси язык да отойди прочь!

1832





СКАЗКА О БЕДНОМ КУЗЕ БЕСТАЛАННОЙ ГОЛОВЕ И О ПЕРЕМЕТЧИКЕ БУДУНТАЕ



— А что, ребята, какой ныне у нас день? Кто скажет, не заглядывая в святцы, не справляясь у церковника нашего, ни у тещи его, у просвирни?

— А ныне трынка - волынка - гудок, прялка-моталка-валек, да матери их Софии,— отвечал косолапый Терешка, облизываясь.

— А коли так,— молвил сват,— коли праздник, то видно, быть тому делу так: чтоб не согрешить, не ухватиться от безделья за дело, подите-тка сюда, садитесь на солнышко в кружок да кладите головы друг дружке на колени; сами делайте свое, а сами слушайте!..

Жил-был во земле далекой, промеж чехов да ляхов, старик гусляр да старуха гуслярка...

— И страх их не берет,— сказал долгополый церковник, проходя мимо наших молодцов и подпираясь терновой тросточкой своей,— и страх их не берет! Хоть бы воскресного дня дождались, да и зубоскалили б; так нет, вишь, и в будень... Погоди, вот я вас!

— Не сердись, дядя Агафоныч,— молвил сват,— что пути, печенку испортишь; позволь-ка милость твою поспрошать: у вас коли бывает воскресный-эт день?

— В воскресенье, антихристы,— гаркнул Агафоныч.

— Ан в субботу,— подхватил тот же молодец,— в субботу перед вербным у нас бывает Лазарево воскресенье!

— Вот каков, и церковника сбил да загонял,— закричали ребята, заливаясь хохотом,— ай да письмослов!

А рассказчик продолжал:

— ил, говорю, старик гусляр да старуха гуслярка. Спросите вы: что-де за гуслярка, коли он играл на гуслях, а не она?

Сами разумные вы, кажись, знаете, что по шерсти собачке кличка бывает, а по мужу и жену честят; коли муж гусляр, так жена неужто, по-вашему, пономариха? А коли этого про вас мало, так скажу вам, молодцам молодецким, что и старухе намедни прилучилось поиграть на гуслях: как полезла она за решетом да стянула их рядном с полатей — загудели, сердечные, сказывают, вечную память по себе пропели да и смолкли.

До этого греха старик наш кой-как с ломтя на ломоть перебивался; хотя, правда, родовое добро его, голос молодецкий, стал уже отказываться и подламываться о ту же пору, как и зубы, промолов с лихвою два-сорока годов; но наживное имущество, гусли, все еще служили верою и правдой безволосому и белобородому, утешали жителей села Поищихи, со проселки и выселки, и кормили старичков наших и сына их, бедного Кузю. Но теперь, после того когда старухе нехотя, как сказывал я вам, случилось поиграть на гуслях этих и в первый и последний, когда, сверх того, старички, живучи в сырой, дряблой землянке, захворали, то пришлось было им пропадать совсем. Вот они и сложили поскребыши и осколки гуслей своих в мешок, повесили его сыну, бедному Кузе, на шею и послали его собирать подаяние милосердных и жалостных прихожан; кто знал старика и помнил гусли его, тот-де не отринет и теперь, а подаст. Ходит Кузя по миру и поет под оконцами песни:

Гляньте, загляньте в дыряву котомку,
Дайте, подайте хлеба ломоть!
Тятька гусляр, моя мама гуслярка —
Где твои гусли, бедный Кузя?
Гляньте, загляньте в дыряву котомку,
Дайте, подайте хлеба ломоть!

Раз как-то в воскресный день бедный Кузя наш подошел поздним вечером под светлое оконце брусяной десятской избы, пропел песенку свою, тряхнул осколышами гуслей в мешке — нет ответу, ни привету, а шум и тары да бары в избе слышатся большие. Подошел Кузя поближе, вплоть под окно; глянул — сидят бабы; прислушался — идут у них толки о нечистой силе, про знахарей, волхвов, кудесников да про киевских ведьм. Всего, чего бедный Кузя наслушался у окна, пересказывать не станем. «Бабы дуры, — подумал он и сам, как отошел, и затянул ту же песню свою под другим окном, — кто бабе поверит, и трех дней не проживет»; одначе долго у него не выходило из головы, как бабы клялись и божились, что коли кто чары творит да зажмешь в это время пальцем сучок в стене бревенчатой избы, так пересилишь его; а еще говорили, что ведьму, знахаря, колдуна и всякого, кто только спознался да живет с нечистой силой, можно пригвоздить к месту и покорить себе на живот и на смерть, коли приколоть булавкой тень его к земле либо к стене; бедняга пропал тогда и с нечистым своим; будет моргать очами да повертываться, что на колу,

и наконец взмолится: *аман!* перед булавкой твоей, как турок неверный перед русским штыком!

Бедный Кузя рылся как-то в золе, в сору и в навозе, собирая кости, которые он жег и продавал на ваксу и на разные снадобья какому-то засевшему в ближнем уездном городке осколышу наполеоновской армии, учителю всякой всячины и досужему делателю ваксы и помады,— как вдруг к нему, к Кузе, подошел, отколь ни взялся, цыган ли, татарин ли какой, поглядел на него и присел на кучу навоза, будто хотел стеречи ее от суковатой клюки бедного Кузи. Кузя поглядел на него искоса, стал опять разгребать сор поодаль от шабра, от соседа, и сметил, что новый сторож, на кучке, сидючи, задремал. «Кто это?» — спросил тогда Кузя потихоньку шальную Мотрю, которая пасла телят и свиней. «Неужто ты эту собаку не знаешь? — сказала Мотря шальная.— Это Будунтай, чертов пай, всем ведомый переметчик; он в Вятке барсуком из норы вылез, в свояки семи шаманам сибирским приписался, под Чудовом в козла оборотился, в Вологде свечой подавился, да кабы казанские татары не сняли с него шкуры на сафьян, так бы и светильня за ним пропала! Он перекинулся в тройку бегунов, а из них две лошаденки белые, а одна голая,— да и ушел на три стороны; ищи его! Вот он за что и слывет у нас переметчиком, что перекидывается, собака, во что ни задумал!»

Бедный Кузя оглянулся на Будунтая, испугавшись голосистого крика шальной Мотри, а уж Будунтая и нет: на том месте, где он сидел, лежит только камень, а камня того, кажись, прежде не было. Кузя застрогал деревянную шпильку, подкрался к камню против солнца, да и приколол тень камня того к земле. «Что-то будет?» — подумал он. Долго камень лежал да отмалчивался, а Кузя стал разгребать под ним кучу навоза. Тогда и камень не утерпел: он перекинулся пошехонцем, в поршнях, в зипуне, с берестовой котомкой за плечами, и стал просить Кузю, чтобы он не ругался над бедным, бездомным поденщиком, чтобы не подрывался под него суковатою клюкою, а вынул бы колышек, на который-де того и гляди либо скотина, а не то и прохожий человек наступит да напорет ногу. Тогда Кузя наш догадался, что Будунтай недаром о колке заговаривает, и не вынул его, доколе тот не посулил ему за волю свою любого.

— Сокрушил меня, злодей! Проси чего хочешь,— сказал наконец Будунтай, а самого сердце так и подмывает; потом снял шапку, отер пот с чела полотенцем с алыми шитками да со владимирскими городочками и вздохнул тяжело, словно в оглоблях.

— Выучи меня своему досужеству,— стал тогда просить бедный Кузя.

— Изволь,— отвечал Будунтай,— отпусти ж меня!

— Нет, врешь, обманешь, в лес уйдешь,— приговаривала шальная Мотря.

— Дай задаток,— сказал Кузя,— видно, Мотря шальная правду говорит: мужик тонет — топор сулит, вытащишь — и топорища жаль! Дай задаток, а не то не отпущу!

Будунтай разгреб, не вставая с места, под собою кучу, достал горсть алтына, золота и высыпал его Кузе в котомку.

— Врет, обманет, в лес уйдет,— приговаривала опять Мотря.

— Все это хорошо,— сказал Кузя,— да этого мало; надо мне тебя затаврить, чтобы ты не ушел, да окорнать для приметы одно ухо; пой песни, хоть тресни, а без пометы не пущу; ты не курица, ногавки на тебе не навяжешь — давай ухо!

Будунтай-переметчик осерчал, стал браниться по-своему, по-вятски.

— Чего *талы*[1] натаращил на меня *блябла*[2] те в ухо, чтоб тебя *комуха*[3] в *ромух*[4] свернула! Чтоб тебя *уроса*[5] в *вицу*[6] иссушила да *шоры*[7] и *сильки*[8] пупочки с тебя посклевали! Бери нож,— сказал он наконец,— да режь ухо!

— Нет у меня ножа,— отвечал Кузя,— доставай свой, не то зубом грызть стану!

Будунтай снял с пояса складной нож, раскинул его, подал Кузе и подставил правое ухо.

— Левое давай, собака,— сказал Кузя,— недаром что-то ты его отворачиваешь!

Будунтай подставил и левое. Кузя ухватил ухо, перегнул его, как сгибают сапожный товар, когда клюшву выкраивают, вырезал и ускорнячок углом, положил лоскут в котомку, где лежали гусли, и выдернул из земли колышек. Будунтай только крякнул, встал, встряхнулся, в черного петуха обернулся и приказал Кузе приходить в самую полночь за село, на распутье, где дороги разбегаются: в лес, на водопойное озеро, да на кладбище. Сам взмахнул крыльями, перекинулся рябой сорокой и полетел, как сороки летают, поджимая крылышки под мышку, да все прямо, что из лука стрела.

Бедный Кузя пришел домой, высыпал старикам своим пригорсть золота, сказал, что богатый человек берет его в услужение да в ученье и вот прислал-де им задаток. Старики порадовались и потужили; сын покинул им отставные гусли и пошел в полночь на перепутье.

Прислонившись к верстовому столбу, прождал он уже долгонько, стало время за полночь, а Будунтая нет. Кузя сказал

[1] Глаза *(Прим. автора.)*
[2] Оплеуха *(Прим. автора.)*
[3] Лихорадка *(Прим. автора.)*
[4] Тряпица *(Прим. автора.)*
[5] Упрямцы; это испорченное татарское *урус,* русский. И поляки говорят: uparty, jak Moscal *(Прим. автора.)*
[6] Хворостина *(Прим. автора.)*
[7] Индейки *(Прим. автора.)*
[8] Цыплята *(Прим. автора.)*

про себя: «Недаром, видно, Мотря честила тебя; видно, знает она дружка! Ну да меня теперь не проведешь, от меня в лес не уйдешь!» Сам вынул ухо Будунтая и укусил его зубами. Столб, у которого стоял бедный Кузя, взвизгнул по-верблюжьи и закачался. Кузя отскочил в сторону, поглядел на версту, на столб:

— Кой черт! Ты, что ли, это, Будунтай?

— Я! Да что ж ты кусаешься, знаком? — сказал пегашка-столб,— пойдем, что с тобой делать, пойдем ко мне в науку; да только гляди, теперь ты мне слуга, поколе не выучишься всему досужеству моему, от аза до ижицы!

— А там что,— спросил Кузя,— как выучусь?

— А там,— отвечал Будунтай,— на свой пай сам промышляй; беркут пискленка кормит, а орла не кормит.

Будунтай взял его и продержал в науке довольно долгое время. Как он учил его своему художеству? — спросите вы. Да вот как: выдернет у него руки, ноги, самого в ком свернет — вот вам кочан капусты; запустит ему руку в глотку по самое плечо, ухватит там за что ни попало, выевернет наизнанку — вот вам ни то ни се, ни черт знает что. Такое ученье бедному Кузе наскучило и надоело; он стал проситься домой, уверяя, что он уже всю науку прошел и всему научился. Будунтай-переметчик позвал стариков, родителей его, вывел им трех коней и спросил: «Который ваш сын?» Старик поглядел да и указал, наудалую, на авось, среднюю. «Нет,— отвечал Будунтай,— знать, сын твой недоучился. Поди и приходи через полгода».

Вы знаете, ребята, что ждать полгода долго, страх долго; а между тем, оглянись назад, его уже и нет!

Старик пришел в срок, а Кузя как-то тихомолком шепнул ему: «Укажи-де на ту кобылу, которая будет вертеть хвостом». Но Будунтай вывел ему трех куцых куропаток и велел узнать сына. Старик указал опять на какую попало — и не угадал. Кузя известил отца, что в следующий раз будет оправлять носом перышки на шейке,— а Будунтай вывел опять коней. Средний махнул, однако ж, хвостом, старик его узнал и взял выученного сына домой. «Возьми его,— сказал переметчик Будунтай,— да слушай: береги его как око свое; если ж понадобятся тебе деньги, то вели сыну оборотиться в коня, веди на базар и продавай; да только смотри, уздечки с ним не отдавай, а сыми да неси домой, так и он дома будет». Колдун махнул рукой и пропал, словно сквозь землю провалился; а лошади оборотились в людей: вороной жеребчик — в Кузю бесталанного, рыжая кобыла — в шальную Мотрю, а чалый мерин — никак в тебя, Терешка!

Старик пришел с сыном домой, дождался торгового дня; Кузя оборотился конем, отец повел его на базар, продал, накупил сладкого и горького, квашеного и соленого — а он, вишь, держался русской поговорки: пей кисло, да ешь солоно, так

и на том свете не сгниешь. Накупивши всего, чтобы было чем полакомить и старуху свою, пошел домой, а Кузя, его сын бесталанный, дорогою его нагнал, и они опять оба вместе, рассмеявшись да порадовавшись, как ни в чем не бывало воротились домой.

А ушел наш Кузя от нового хозяина своего вот каким делом: ржевский мещанин, барышник, приехавший в нашу сторону закупать лошадей, чтобы там гнать их на лебедянскую ярмарку, сторговал и купил у старика гусляра каракового коня, четырех лет, трех с половиною вершков, без тавра и без отметин, поспорил было с хозяином за то, что этот, поупрямившись, не хотел передать ему, как водится, повод новокупки из полы в полу, а с коня, не по обычаю, снял недоуздок,— известно, что корова покупается с подойником, а конь с недоуздком,— наконец однако же, чтобы не упустить сходной покупки, на все согласился и заплатил гусляру деньги. Не успел этот отойти, а ржевский барышник оглянуться на бойкую, голосистую торговку, с которой тем часом молодой калмыцкий жеребчик стянул зубами головной платок, как народ, обступив нашего коновала и барышника, стал хохотать и указывать на него пальцами. Ржевский мещанин оглянулся назад — у него в поводу не конь, а человек. Что тут было шуму, крику, брани, божбы и смеху — весь базар расходился; казаки отняли у рыжего коновала бедного Кузю; этого отпустили, а того прозвали полоумным. Хотел он было идти просить — да к кому пойдешь и на кого? Но это, слышь, не все, а была еще потеха вот какая: крымский цыган, подкочевавший на базар с походною кузницею и увидевший, что приключилось со ржевским коновалом, рассудил, что Кузькино ремесло не плохой хлеб и что не худо бы попытаться перенять у него доброе дело; загадано — сделано; цыган продал тому же барышнику клячонку свою, а потом украл ее у него же из рук, передал товарищу, а сам надел на себя недоуздок. Когда же барышник наш оглянулся и снова увидел, что ведет в поводу не коня, а живого человека, только другой масти, смурого цыгана, то плюнул, кинул повод, перекрестился, прочел: «С нами крестная сила» и «Помилуй мя, господи!» — уехал с базару, и с той поры в Черкасск более ни ногой. Ну его, рыжего, к семи Семионам, обойдемся и без барышников! Только, окаянные, цены портят, с чужого добра сбивают, на свое наносят да набивают, а проку в них ни на волос!

Дождавшись другого базарного дня, гусляр наш опять вывел лошаденку на продажу. На грех навязался какой-то шестипалый пройдоха, подпоил нашего старика, присударивал да присударивал и купил у пьяного гусляра коня и увел его совсем, с недоуздком. Старик пришел домой, проспался, спохватился, да ожидает сына своего чуть ли не поныне.

На этот раз купил Кузю бесталанного сам Будунтай. Первым делом Будунтая было отрезать у новокупки левое ухо, на

обмен, на выкуп своего, которого иверень о сю пору еще оставался за Кузею. Разменявшись, оба они стали с ушами; да уж отныне, хоть и был Кузя по-прежнему мастером науки, в которой искушался на выучке у Будунтая, не стало ему, однако же, более по-прежнему власти над учителем своим, а должен был Кузя поневоле ему покориться.

Будунтай, изморивши да загонявши коня новокупленного до бела мыла и задавши на нем концов десяток-другой по городу, прискакал домой — а дом у него стоял в чистом поле невидимкою — и привязал лошадь подле тыну. Никак у тебя, Лукашка, кобыла была из Гукеевской орды, что не терпела на себе в стойле недоуздка: бывало, как ни пригонишь на нее оброть, как ни подтянешь его пряжкою, она дотоле чешется, доколе не скинет его с головы долой. Кузя бесталанный у нее, знать, наострился, только что Будунтай в избу, а он ну чесаться щекою, задрав голову кверху, — задел недоуздком за кол плетня, да и стащил его долой с головы через уши.

Мальчишка, сын Будунтая, увидел это, на дворе стоя, и побежал сказать отцу. Тот, выскочив, пустился в погоню за конем, и тут-то пошла потеха: Кузя, видя, что лютый барс его нагоняет, ударился об землю, перекинулся белым кречетом и взмыл по-над крутым берегом реки. Будунтай ударился на него сизым беркутом; Кузя ринулся клубом об берег, перекинулся пескарем и соскочил в воду. Будунтай, таки прямо как мчался за ним, комом грянулся об воду, распластав высокий вал надвое, и щукою зубастой насел на хвост мелькавшего серебряной чешуйкой пескарика. Кузя-бедняга вынырнул стрелою из воды, сделал, собравшись с последними силами, скачок в маховую сажень, обернулся в золотое колечко и подкатился под ноги гулявшей в те поры на муравке побережной княжны Милолики, дочери владельца той земли. Княжна Милолика подхватила колечко, надела его на пальчик и с радостным удивлением оглядывалась вокруг. Будунтай вынырнул гусем лапчатым из воды, выплыл на берег, встряхнулся, оборотился в купца кашемирского, подошел к княжне и стал просить убедительно отдать ему потерянное им колечко. Княжна испугалась густой черной бороды и воровских карих очей да сурменых бровей и чалмы кашемирца, закричала и прижала колечко к груди своей. Сенные девушки да подруженьки набежали, окружили младую княжну свою, кинулись все на неотступного бородача и начали его щекотать без пощады, до того, что незваный гость хохотал, и кашлял, и плакал, и чихал, и ногами и руками лягался, и снопом овсяным по мураве катался, да такая над ним беда прилучилася, что позабыл было всю науку свою; через великую силу опамятовавшись, оборотился он мигом в ежа, от которого девушки, поколов алые пальчики свои чуть ли не до крови, с криком отскочили. Пастух, прибежавший на крик и шум, взмахнул долгим посохом своим и ударил

свернувшегося тугим клубом ежа, и еж рассыпался калеными орехами; запрыгали орешки по земле, а девки кинулись их подбирать, да опять-таки с криком отскочили, побросав все, что захватили в лайковые ручки свои: орешки не тем отозвались, это были раскаленные ядрышки, и барышни наши пообжигали себе пальчики.

— А я бы рукавицы надел да подобрал,— сказал косолапый Терешка.

— Знать, ты умен чужим умом; ты и в Киев дойдешь, коли люди дорогу укажут,— отвечал сват,— а сам ты, брат, и лапы обжегши, не очень бы догадался, как управиться: чай, стоял бы, вытулив очи, да поглядывал бы на диво дивное, что красноносый гусь на татарскую грамоту!

Княжна показала царственным родителям своим ненаглядное колечко да испросила позволение любить его и не сымать с пальчика своего ни день, ни ночь. Как только осталась она одна, то и начала играть колечком: надела его на тонкий шитый платочек свой и, забавляясь, покачивала да перепускала по платочку от конца до конца. Вдруг колечко как-то упало, покатилось, рассыпалось — и казак, молодецкая душа, Кузя бесталанный, стоял перед княжною. Он убрался на этот раз в малиновый бархат да в тонкое синее сукно. Никто в палатах царских не слыхал разговоров его; княжна, однако же, вышла к браному столу и грустна и радостна, и опять-таки с заветным колечком на руке. Она сказала только батюшке, что сего дня-де, наверное, опять явится тот страшный купец, кашемирская борода, и будет просить выдачи колечка, и умоляла отца не отбирать у нее этого сокровища. Когда же и на самом деле по вечеру явился купец, у которого все еще не прошла икотка после вчерашней щекотки да хохотни, когда пришел, говорю, кашемирец за потерянным будто бы на берегу реки колечком, то царь-отец позвал дочь свою и приказывал отдать купцу кольцо: «Нам чужое добро таить, дескать, не идет». Княжна отвечала, что не смеет ослушаться дорогого родителя своего, но и не может передать мужчине колечко из рук в руки, а поэтому и кинула его на пол, пусть-де не прогневается да сам подымет. Но колечко рассыпалось мелким жемчугом; купец живо встряхнулся, перекинулся черным петухом и начал проворно подбирать жемчужинки; а подобравши все, взлетел он на окно, захлопал крыльями и закричал петухом: «Кузя, где ты?» — да за словом и выпорхнул в окно. Но княжна, которую наш Кузя, видно, наперед уже поучил да настроил, кинув колечко, уронила в то же время, будто невзначай, платок свой да им и прикрыла одну самую крупную жемчужинку. Она-то вдруг выкатилась теперь из-под платка, отвечала на спрос петуха, словно петухом же: «А я здеся!» — и ринулась соколом из окна; грянул сокол с налету — только шикнул крыльями по воздуху,— грянул клубом в черного петуха, подпорол ему заборным ногтем

левый бок да черканул по левому крылу, помял и поломал все перья прави́льные; упал камнем петух замертво в крутоберегий поток, и понесло его волною вниз по реке, по зеленой воде. Почернела и побагровела вода от пенистой крови; а подрезанное левое крыло вскинуло и подняло ветром, оно и запарусило туда ж по пути, вниз по реке, поколе не завертело петуха встречным теченьем в заводи,— там, сказывают, сомина, чертова образина, им было подавился, да нет, справился, проглотил; не подавится он, чай, и самим сатаной, не токма конем его подседельным.

Сокол взмыл над теремом царским, впорхнул в широкое окно, сел на руку княжны своей и поглядывал на нее ясными, разумными очами. В это самое время черный петух испустил дыхание свое, а ясный сокол спорхнул на пол и предстал в том же виде, как колечко давеча перед княжною: перекинулся молодцом молодецким. Со смертию Будунтая Кузя лишился, правда, силы и уменья перекидываться и принимать иной образ, да и не тужил уж об этом; живучи в довольстве и в богатстве с супругою своею, бывшею княжною Миloликою, вскоре наследовал он престол царский, жил да княжил, правил да рядил, солоно ел, да кисло пил, стариков своих, гусляров, поил да кормил, а Терешке косолапому велел братчиной да складчиной насыпать песку за голенища! Держите его, дурака, ребята, держи его!

1836





СКАЗКА О ГЕОРГИИ ХРАБРОМ И О ВОЛКЕ[1]



Сказка[1] наша гласит о дивном и древнем побыте времен первородных: о том, что деялось и творилось, когда скот и зверь, рыба и птица, как переселенцы, первородцы и новозданцы, как новички мира нашего, не знали и не ведали еще толку, ни складу, ни ладу в быту своем; не обжились еще ни с людьми, ни с местом, ни с житьем-бытьем, ни сами промеж собой, не знали порядка и начальства, говорили кто по-татарски, кто по-калмыцки и не добились еще толку, кому и кого глодать и кому с кем в миру и в ладах односумом жить; кому с кем знаться или не знаться, кому кого душить и кого бояться; кому ходить со шкурой, а кому без шкуры, кому быть сытым, а кому голодным.

Серый волк, по-тогдашнему бирюк, обмогавшись натощак голодухою никак сутки трои, в чаянии фирмана, разрешающего и ему, грешному, скоромный стол, побрел наконец на мирскую сходку, где, как прослышал он мельком от бежавшей оттуда мимо логва его с цыпленком в зубах лисы, Георгий Храбрый правил суд и ряд и чинил расправу на малого и на великого.

Пришел серый на вече; стал поодаль, поглядел, присел на задние лапы по-собачьи и опять поглядел, прислушался маленько, вздохнул, покачал головой, облизался и поворотил оглобли назад: «Тут не добьешься и толку,— подумал он про себя,— крику и шуму довольно; а что дальше — не знаю. Чем затесываться среди белого дня в эту толпу, отару, ватагу, табун,

---

[1] Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, местопребывание Пугача во время осады Оренбурга. *(Прим. авт.)*

гурт, стаю, стадо — в это шумливое и крикливое стоголосное скопище, где от давки пар валит, от крику пыль стоит, чем туда лезть среди белого дня, так лучше брести восвояси. Я не дурак; хоть и знаю, что и мне, наряду со всеми, сказано: век живи, век учись, а умри дураком; так по крайности до поры до времени, поколе господь терпит грехам моим, поколе смерть сама на меня не нашатнулась, быть дураком не хочу. Нашему брату в сумерки можно залезть промеж других людей, а кабы в темь полуночную, так и подавно; а среди белого дня — *бармоймин,* не пойду». Итак, он пришел домой, залез в трущобу глухую, повалился на бок и стал, щелкая зубами, искать по шубе своей. Настала ночь, и серый смекнул и догадался, что эдак сыт не будешь. «Совсем *курсак* пропал,— ворчал он про себя,— животы хоть уздечки вяжи, а *поашать* нечего!» Что станешь делать: вылез из терновника, ожил и освежился маленько, когда резкий северяк пахнул по тулупу его, взбивая мохнатую шерсть,— очи у него загорелись в теми ночной, словно свечи; подняв морду на ветер, пустился он волчьей скачкою по широкому раздолью и вскоре почуял живность. Но, как это была только первая попытка серого промыслить самоучкою кус на свой пай, то он и не разнюхал, на какую поживу, по милости шайтана, наткнулся, а только облизывался, крадучись да приседая, поддернув брови кверху и приподняв уши зубрильцем, и прошептал: «Что-то больно сладкое!»

Он заполз на первый раз в стадо сайгаков; а как и самоучкою удаются ину пору мастера не хуже ученых, а сайгаки сердечные о ту пору были посмирней нынешних овец, то серый наш без хлопот пары две отборных зарезал наповал, словно век в мясниках жил, да еще другим бедняжкам кому колено, кому бедро, а кому и шею выломил. Сайгаки всполошились, прыснули по полю вправо и влево да подняли тревогу; кто живой да с ногами был, все сбежались, звери и птицы налицо, а рыбы, по неподручности сухопутного перехода, послали от себя послов трех черепах с черепашками, которые, однако же, уморившись насмерть, к сроку запоздали, а потому дело на сходке обошлось и без них. И с той-то поры, сказывают, рыбы лишены за это навсегда голоса. Видите, что уже и о ту пору был порядок и расправа и вина без наказания не проходила: всякая вина виновата.

Итак, звери сбежались, день проглянул, и серого нашего захватили врасплох уже над последнею четвертью третьего сайгака. Он, знать, себе на уме; думает: запас хорошо, а два лучше, а потому серый наш о ту пору, как и ныне, шутить не любил. Но ему не ладно отозвалась эта первая попытка: дело новое, дело непривычное; ныне шкуру снять с сайгака не диковинка; а тогда еще было не то. Звери и птицы все ахнули, на такую беду небывалую глядючи; один только молодой лошак, вче-

рашнего помету, стоял и глядел на изуродованных собратов своих, что гусь на вечернюю зарницу. Но мир присудил по-своему: костоправ-медведь осмотрел раненых, повытянул им изломанные шейки да ножки, повыправил измятые суставчики и ворчал про себя, покачивая головой и утираясь во все кулаки: «Неладно эдак-то делать; эдак что же пути будет? Руки-ноги выломил, а которому и вовсе карачун задал — это дело неладно!» Между тем бабы сошлись и стали голосить по покойникам: «Ах ты мой такой-сякой, сизой орел, ясный сокол! На кого ж ты нас, сирот круглых, покинул? А кто ж нам, сердечным, кто нам будет воду возить, кто станет дрова рубить? Кто будет нас любить и жаловать, кто холить да миловать, кто хлебом кормить да вином поить?» Наконец принялись люди и за серого: «Кто он, греховодник? Подайте-ка его сюда!» Он бы за тем не очень погнался, что ему на первый раз поиграли в два смычка на кожаном гудке, причем мишка с отборным товарищем исправляли должность ката и, присев на корточки, надев рукавицы и засучив рукава, отсчитали серому честно и добросовестно сто один по приговору, так что на сером тулуп гора-горой вздулся,— а на нем шкура, правда, и не черного соболя, да своя,— ну, это бы, говорю, все ничего, да ему то обидно было, что и вперед не велели таскать сайгаков, а на спрос: «Чем ему кормиться?» — не дали ни ответу, ни привету; кричали только все в голос, чтобы серый не смел ни под каким видом резать да губить живую скотину, чтобы не порывался лучше на кровь да на мясо, а выкинул думку эту из головы. Живи-де смирно, тихо, честно, не обижай никого, так будет лучше. Серый наш, встряхнувшись да оправив на себе сермягу свою, плакал навзрыд, подергивая только плечами, и спрашивал: «Что же прикажете есть, чем быть мне сытым? Я не прошу ведь на каждый день ужина да обеда, да хоть в неделю раз накормите: неужто круглый год скоромного куска в рот не брать?» Но никто на это ему не отвечал, и сходка по окончании *секуции* на том и кончилась; каждый побрел восвояси, разговаривая с дружкой и вслух подсмеиваясь над серым, приятелем нашим, который сидел подгорюнившись, как богатырь недотыка, поджав хвост и повесив голову, и глядел на недоглоданные копытца, рожки и косточки.

По этой мирской сходке видим мы, что Георгий Храбрый, набольший всем зверям, скотине, птице, рыбе и всякому животному, успел уже постановить кой-какой распорядок, указал расправу, расписал и порядил заплечных мастеров, волостных голов, писарей, сотских и десятских — словом, сделал все, как быть следно и должно.

«Эдак неладно,— сказал серый, покачивая головой на повислой шее,— совсем *яман булыр,* будет плохо. Да на что же меня, грешного, с этими зубами на свет посадили?» Сам вздохнул, от-

ряхнулся и пошел спросить об этом Георгия Храброго: «Пусть-де сам положит какое ни есть решение, ему должно быть известно об этом; пусть укажет мне, чье мясо, чьи кости глодать, а травы я себе по зубам не подберу».

«Георгий! — сказал он, присев перед витязем и наклонив униженно неповоротливую, да покорную шею свою.— Георгий, пришла мая твая просить, дело наша вот какой: мая ашать нада, *курсак* совсем пропал, а никто не дает; на что же,— продолжал он, — дал ты мне зубы, да когти, да пасть широкую, на что их дал мне, и еще вдобавок большой мясной *курсак,* укладистое брюхо? Ему порожний жить не можно; прикажи ты меня, Георгий, накормить да напоить; не то возьми да девай куда знаешь; мне, признаться, что впредь будет, а поколе житье не находка. Я вчера наелся, Георгий, и теперь до четверга потерпеть можно; а там, воля твоя, прикажи меня кормить!»

Георгий Храбрый был о ту пору занят делами по управлению новорожденного разношерстного народа своего и войска, и Георгию было не до волка. Большак поморщился и отправил его к сотнику: «Ступай, братец, к туру гнедому, он тебя накормит». — «Ну вот эдак бы давно,— сказал серый, вскочил и побежал весело в ту сторону, где паслось большое стадо рогатого скота.— Я бы вчера и не подумал таскать сайгаков самоуправством, коли б кто посулил мне говядинки: *куй-иты, сухыр-иты,* баранина ль, говядина ль, по мне все равно, был бы только, как калмыки говорят, *махан,* мясное».

Он подошел к быку туриному и просил, по словесному приказанию Георгия Храброго, сделать какой там следовать будет распорядок, как говорится в приказной строке, об утолении законного голода его. «Стань вот здесь,— сказал бык,— да повернись ко мне боком». Серый стал. Бык, задрав хвост и выкатив бельмы, разогнался, подхватил его рогами и махнул через себя. «Сыт, что ли?» — спросил он, когда серый наш, перевернувшись на лету раза три через хвост и голову, грянулся об землю навзничь крестцом. У серого отнялся язык; он вскочил и поплелся без оглядки, приседая всем задом, как разбитая старуха на костылях. У быка на каждом рогу осталось по клоку шерсти, не меньше литовского колтуна.

Серый добрел кой-как до логва своего, прилег и лежал, обмогался да облизывался трои сутки, и то насилу отдохнул. Обругав мошенником и быка и Георгия, пошел он, однако же, опять искать суда и расправы.

«Ну, дядя Георгий,— сказал он, заставши этого опять за делом,— спасибо тебе! Я после закуски твоей насилу выходился!» — «А что,— спросил Георгий,— нешто бык не дает хлеба?» — «Какого хлеба? — отозвался серый.— Бойся бога, дядя; у нас, когда вставлял ты мне эту скулу да эти зубы, у нас был, кажись, уговор не на хлеб, а на мясное!» — «Ну а что ж, бык не

дает?» — «Да, не дает!» — «Ну, — продолжал Георгий, — ступай же ты к *тарпану,* к лошади, она даст». Сам ушел в свои покои и покинул бедняка.

Серый оглянулся; косячок пасется за ним недалечко. Он подошел, да не успел и заикнуться, не только скоромное слово вымолвить, как жеребец, наострив уши, заржал, наскакал на него и, не выждав от серого ни «здравствуй», ни «прощай», махнул по нем, здорово живешь, задними ногами; да так, слышь, что кабы тот не успел присесть да увернуться, так, может быть, не стал бы больше докучать Георгию своими зубами; еще, спасибо, не кован был жеребец о ту пору, а то беда бы. Серый мой взвыл навзрыд, закричал благим матом, подбежал тут же к Георгию Храброму и бил челом неотступно, чтобы сам поглядел, как народ с ним, с серым, обходится, да сам бы уж и приказал туру или гнедому, тарпану ли его накормить. «Видишь, — говорил он, — видишь, что сделал со мной жеребец этот при тебе, в глазах твоих и при ясном лице твоем; благо, что сам ты видел, а то бы, чай, опять не поверил!» Георгий осерчал на серого, что больно докучает, не дает покою.

«Все люди как люди, — говорил он, — один ты шайтан; пристает, что с ножом к горлу, подай да подай; поди, говорят тебе, да попроси из чести, смирно, чинно; да не ходи эдаким сорванцом, забиякою; погляди-ка на себя, на кого ты похож? Чего косишься исподлобья да свинкой в землю глядишь? Вишь, тулуп взбит, колтуны с него висят, рыло подбито, сущий разбойник; не мудрено, что тебя и честят по заслугам. Нешто люди эдак ходят? Поди к архару, к дикому барану, да попроси честью, так он накормит тебя, да и отвяжись от меня, не приставай, что больной к подлекарю».

Серый пошел, прежде всего скупался, постянул зубами с шубы своей сухари да колышки, встряхнулся, прибрался, умылся, расчесался и отправился, облизываясь уже наперед, к архару, к барану. Этот, поглядев на нашего щеголя и наслушавшись сладких речей его, попросил стать над крутым оврагом, задом в чистое поле. Волк стал, повесил хвост и голову, наострил ухо и распустил губы; баран разогнался позадь его, ударил по нем костяным лбом, что тараном в стену; волк наш полетел под гору в овраг и упал замертво, на дно глубокой пропасти. У него в глазах засемерило, позеленело, заиграли мурашки, голова пошла кругом, что жернов на поставе, в ушах зазвенело и на сердце что-то налегло горой каменной: тяжело и душно. Он лежал тут до ночи, очнувшись просидел да прокашлял до рассвета, а заутре во весь день еще шатался по оврагу, словно не на своих ногах либо угорелый. Как он тужил, как он охал, как бранился и плакал, и клял божий свет, и жалобно завывал, и глаза утирал, как наконец вылез, отдохнул и опять-таки поплелся к отцу-командиру, к Храброму Геор-

гию,— всего этого пересказывать не для чего, довольно того, что Георгий послал его к кабану, да и тот добром не дался, а испортил серому шубу и распорол клыком бок. Серый, как истый мученик первобытных и первородных времен, когда не было еще ни настоящего устройства, ни порядка, хоть были уже разные чиновники, сотские, тысяцкие и волостные,— серый со смирением и кротостью коренных и первоначальных веков зализал кой-как рану свою и пошел опять к Георгию, с тем однако же, чтобы съесть его и самого, коли-де и теперь не учинит суда и расправы и не разрешит скоромного стола. «Еще и грамоты не знают,— подумал серый про себя,— и переписка не завелась, а какие крючки да проволочки по словесной расправе выкидывают! Ну, а что бы еще было, кабы далося им это письмо?»

Серый пошел и попал в добрый час; Георгий Храбрый был и весел, и в духе, и на безделье; он посмеялся, пошутил, потрепал старого по тулупу и приказал ему идти к человеку. «Поди,— говорил он,— поди в соседний пригород и попроси там у добрых людей насущного ломтя; проси честно, да кланяйся и не скаль зубов, не щетинь шерсти по хребту, да не гляди таким зверем».— «Ох, дядя,— отвечал волк,— мне ли щетиниться! Опаршивел я, чай, с голоду, так и шерсть на мне встала; бог тебе судья, коли еще обманешь!» — «Поди же, поди,— молвил опять Георгий,— люди народ добрый, сердобольный и смышленый, они не только накормят тебя и напоят, а научат еще, как и где и чего промышлять вперед».

Серый на чужом пиру с похмелья, веселого послушав, да не весел стал. Ему что-то уж плохо верилось; боялся он, чтобы краснобай Георгий опять его не надул, да уж делать было нечего: голод морит, по свету гонит; хлеб за брюхом не ходит: видно, брюху идти за хлебом.

Добежав до пригорода, серый увидел много народу и большие белокаменные палаты. Голодай наш махнул, не думав, не гадав, через первый встречный забор, вбежал в первые двери и, застав там в большой избе много рабочего народу, сробел и струсил было сначала, да уж потом, как деваться было ему некуда, а голод знай поет свое да свое, серый пустился на авось: он доложил служивым вежливо и учтиво, в чем дело и зачем он пришел; сказал, что он ныне по такому-то делу стал на свете без вины виноват; что и рад бы не грешить, да *курсак* донимает; что Георгий Храбрый водил его о сю пору в дураках, да наконец смиловался, видно, над ним и велел идти к людям, смышленому, сердобольному и многоискусному роду, и просить помощи, науки, ума и подмоги. Он все это говорил по-своему, по-татарски, а случившийся тут рядовой из казанских татар переводил товарищам своим слова нежданного гостя. Волк попал не на псарню и не в овчарню; он просто зате-

сался в казармы, на полковой двор, и, перескочив через забор, забежал прямо в швальню. Служивые художники его обступили; хохот, смех, шум и крик оглушили бедняка нашего до того, что он, оробевши, поджал хвост и почтительно присел среди обступившей толпы. Сам закройщик, кинув работу, подошел слушать краснобая нового разбора и помирал со смеху, на него глядя. Наконец все ребята присудили одного из своих, кривого Тараса, который состоял при полку для ради шутовской рожи своей, с чином зауряд-дурачка, присудили его волку на снедь, на потраву, и начали с хохотом уськать да улюлюкать, притравливая волка на Тараску. Но серый наш не любил, да и не умел шутить: он зверем лютым кинулся на кривого зауряд-чиновника, который только что успел прикрыться от него локтем, и ухватил его за ворот. Ребята с перепугу вскочили на столы да на прилавки, а закройщик, как помолодцеватее прочих, на печь; и бедный Тараска за шутку ледащих товарищей своих чуть не поплатился малоумною головушкой своей. Он взмолился, однако же, серому из-под него и просил пощады. «Много ли тебе прибудет,— говорил он,— коли ты меня теперь съешь? Не говоря уже о том, что во мне, кроме костей да сухожилья, ничего нет, да долго ли ты мною сыт будешь? Сутки, а много-много что двое; да коли и с казенной амуницией совсем проглотишь, так будет не подавишься, и то не боле как на три дня тебе станет; пусти-ка ты лучше меня, так я тебя научу, как подобру-поздорову изо дня в день поживляться можно; я сделаю из тебя такого молодца, что любо да два, что всякая живность и скоромь сама тебе на *курсак* пойдет, только рот разевай пошире!»

«За этим дело не станет,— подумал волк,— только бы ты правду говорил. Пожалуй; господь с тобой, я за этим и пришел, чтобы вас честно просить принять меня по этой части в науку; закройщиком быть не хочу, да я знаю, что вы не в одни постные дни сыты и святы бываете, а обижать я и сам не хочу никого».

Тараска кривой отмотал иглу на лацкане, побежал да принес собачью шкуру и зашил в нее бедного волка. Вот каким похождением на волке проявилась шкура собачья; каков же он до этого случая был собою — не знаем, а сказывают, что был страшный.

«Вот тебе и вся недолга,— сказал Тараска, закрепив и откусивши нитку,— вот тебе совсем Максим и шапка с ним! Теперь ты не чучело и не пугало, а молодец хоть куда; теперь никто тебя не станет бояться, малый и великий будут с тобой запанибрата жить, а выйдешь в лес да разинешь пасть свою пошире, так не токма глухарь — баран целиком и живьем полезет!» — «Не тесно ли будет?» — спросил серый, пожимаясь в новом кафтане своем. «Нет, брат, ныне, вишь, пошла мода на та-

кой фасон,— отвечал Тараска косой,— шьют в обтяжку и с перехватом, только бы полки врознь не расходились, а на тебя я потрафил, кажись, как раз рихтиг; угадал молодецки и пригнал на щипок, оглянись хоть сам!» Серый наш уж хотел было сказать: «Спасибо»,— да оглянулся, ан господа портные соскочили с печи да с прилавок, сперва смех да хохот, а там уж говорят: «Да чего ж мы стоим, ребята? Валяй его!» И, ухвативши кому что попало, кинулись все и давай душить серого в чужом нагольном тулупе; а этому, сердечному, ни управиться, ни повернуться, ни расходиться: сзади стянут, спереди стянут, посередке перехвачен; пустился бедняга без оглядки в степь и рад-рад, что кой-как уплелся да ушел, хоть и с помятыми боками, да по крайности с головой; а что попал из рядна в рогожу, догадаться он догадался, да уж поздно. Он стал теперь ни зверем, ни собакой; спеси да храбрости с него посбили, а ремесла не дали; кто посильнее его, кто только сможет, тот его бьет и душит где и чем попало; а ему в чужих шароварах плохая расправа; не догонит часом и барана, а сайгак и *куйрука* понюхать не даст; а что хуже всего — от собак житья нет. Они слышат от него волчий дух и свой; да так злы на самозванца, что рыщут за ним по горам и по долам, чуют, где бы ни засел, гонят с бела света долой и ходу не дают, грызут да рвут с него тулуп свой, и бедному голодаю нашему, серому, нет ни житья, ни бытья, а пробивается да поколачивается он кой-как, по миру слоняясь; то тут, то там урвет скоромный кус либо клок — и жив, поколе шкуры где-нибудь не сымут; да уж зато и сам он теперь к Георгию Храброму ни ногой. «Полно, говорит, пой песни свои про честь да про совесть кому знаешь; водил ты меня, да уж больше не проведешь». Серый никого над собою знать не хочет; всякую веру потерял в начальственную расправу, а живет записным вором, мошенником и думает про себя: «Проклинал я вас, кляните ж и вы меня; а на расправу вы меня до дня Страшного суда не притянете; там что будет — не знаю, да и знать не хочу; знаю только, что до того времени с голоду не околею».

С этой-то поры, с этого случаю у нашего серого, сказывают, и шея стала кол колом: не гнется и не ворочается, оттого что затянута в чужой воротник.

1836





Владимир Федорович Одоевский

(1803—1869)

Единственный сын князя Ф. С. Одоевского, рано осиротел, воспитывался дядей, П. И. Одоевским, известным благотворителем.
Тринадцати лет помещен в Московский благородный пансион, окончил его с золотой медалью в 1822 году. Был участником кружка С. Е. Раича, организовал с Д. Н. Веневитиновым и И. В. Киреевским «Общество любомудрия».
В 1826 г. Одоевский переехал в Петербург, где вскоре женился на О. С. Ланской. Служил в ведомстве министерства иностранных вероисповеданий, редактировал «Журнал министерства внутренних дел», а с 1846 г. занимал должность помощника директора Императорской публичной библиотеки и директора Румянцевского музея.
Литературная деятельность Одоевского началась еще в Москве участием в журналах «Вестник Европы», «Мнемозина» (который он издавал вместе с В. К. Кюхельбекером). В 1833 г. в Петербурге вышла первая его книга — «Пестрые сказки с красным словцом...».
Одоевский был сторонником реформ 1850—1860 годов; ему принадлежал почин в организации Общества посещения бедных, в устройстве больниц — Елизаветинской детской и Максимилиановской и детских приютов. Вместе с А. П. Заблоцким-Десятовским издавал серию сборников «Сельское чтение» для просвещения народа (1843—1848), писал «Грамотки дедушки Иринея», посвященные практическим нуждам крестьян.
Увлекшись педагогикой, Одоевский подготовил сочинение «Наука до науки», но опубликовал лишь часть его под заглавием «Опыт о педагогических способах при первоначальном образовании детей» («Отечественные записки», 1845).
Был превосходный музыкант, изучал старинную и современную музыку, изобрел музыкальный инструмент «Себастианон» и подарил его Петербургской консерватории (одним из организаторов которой был). Писал сочинения по истории и теории музыки, в том числе «Опыт о музыкальном языке» (1833) и «Музыкальную грамоту или основание музыки для немузыкантов» (1868).
В 1861 г. писатель переехал в Москву в связи с переводом туда Румянцевского музея. Здесь он был в числе организаторов Московской консерватории, учредителем Императорского географического и Археологического обществ. Похоронен Одоевский в Донском монастыре.





СКАЗКА О ТОМ, ПО КАКОМУ СЛУЧАЮ КОЛЛЕЖСКОМУ СОВЕТНИКУ ИВАНУ БОГДАНОВИЧУ ОТНОШЕНЬЮ НЕ УДАЛОСЬ В СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ НАЧАЛЬНИКОВ С ПРАЗДНИКОМ

Во светлой мрачности
блистающих ночей
Явился темный свет
из солнечных лучей.

Кн. Шаховской





Коллежский советник Иван Богданович Отношенье,— в течение сорокалетнего служения своего в звании председателя какой-то временной комиссии, — провождал жизнь тихую и безмятежную. Каждое утро, за исключением праздников, он вставал в восемь часов; в девять отправлялся в комиссию, где хладнокровно,— не трогаясь ни сердцем ни с места, не сердясь и не ломая головы понапрасну,— очищал нумера, подписывал отношения, помечал входящие. В сем занятии проходило утро. Подчиненные подражали во всем своему начальнику: спокойно, бесстрастно писали, переписывали бумаги и составляли им реестры и алфавиты, не обращая внимания ни на дела, ни на просителей. Войдя в комиссию Ивана Богдановича, можно было подумать, что вы вошли в трапезу молчальников,— таково было ее безмолвие. Какая-то тень жизни появлялась в ней к концу года, пред составлением годовых отчетов; тогда заметно было во всех чиновниках особенного рода движение, а на лице Ивана Богдановича даже беспокойство; но когда по составлении отчета Иван

Богданович подводил итог, тогда его лицо прояснялось и он,— ударив по столу рукою и сильно вздохнув, как после тяжкой работы,— восклицал: «Ну, слава богу! в нынешнем году у нас бумаг вдвое более против прошлогоднего!» — и радость разливалась по целой комиссии, и назавтра с тем же спокойствием чиновники принимались за обыкновенную свою работу; подобная же аккуратность замечалась и во всех действиях Ивана Богдановича: никто ранее его не являлся поздравлять начальников с праздником, днем именин или рождения; в Новый год ничье имя выше его не стояло на визитных реестрах; мудрено ли, что за все это он пользовался репутацией основательного, делового человека и аккуратного чиновника. Но Иван Богданович позволял себе и маленькие наслаждения: в будни едва било три часа, как Иван Богданович вскакивал с своего места,— хотя бы ему оставалось поставить одну точку в недоконченной бумаге,— брал шляпу, кланялся своим подчиненным и, проходя мимо их, говорил любимым чиновникам — двум начальникам отделений и одному столоначальнику: «Ну... сегодня... знаешь?» Любимые чиновники понимали значение этих таинственных слов и после обеда являлись в дом Ивана Богдановича на партию бостона; и аккуратным поведением начальника было произведено столь благодетельное влияние на его подчиненных, что для них поутру явиться в канцелярию, а вечером играть в бостон казалось необходимою принадлежностию службы. В праздники они не ходили в комиссию и не играли в бостон, потому что в праздничный день Иван Богданович имел обыкновение после обеда,— хорошенько расправив свой Аннинский крест,— выходить один или с дамами на Невский проспект; или заходить в кабинет восковых фигур или в зверинец, а иногда и в театр, когда давали веселую пьесу и плясали по-цыгански. В сем безмятежном счастии протекло, как сказал я, более сорока лет, и во все это время ни образ жизни, ни даже черты лица Ивана Богдановича нимало не изменились; только он стал против прежнего немного поплотнее.

Однажды случись в комиссии какое-то экстренное дело, и, вообразите себе, в самую страстную субботу; с раннего утра собрались в канцелярию все чиновники, и Иван Богданович с ними; писали, писали, трудились, трудились и только к четырем часам успели окончить экстренное дело. Устал Иван Богданович после девятичасовой работы; почти обеспамятел от радости, что сбыл ее с рук, и, проходя мимо своих любимых чиновников, не утерпел, проговорил: «Ну... сегодня... знаешь?» Чиновники нимало не удивились сему приглашению и сочли его естественным следствием их утреннего занятия, так твердо был внушен им канцелярский порядок; они явились в урочное

время, разложились карточные столы, поставились свечи, и комнаты огласились веселыми словами: шесть в сюрах, один на червях, мизер уверт и проч. т. п.

Но эти слова достигли до почтенной матушки Ивана Богдановича, очень набожной старушки, которая имела обыкновение по целым дням не говорить ни слова, не вставать с места и прилежно заниматься вывязыванием на длинных спицах фуфаек, колпаков и других произведений изящного искусства. На этот раз отворились запекшиеся уста ее, и она прерывающимся от непривычки голосом произнесла:

— Иван Богданович! А! Иван Богданович! что ты... это?.. ведь это... это... это... не водится... в такой день... в карты... Иван Богданович!.. а!.. Иван Богданович! что ты... что ты... в эдакой день... скоро заутреня... что ты...

Я и забыл сказать, что Иван Богданович, тихий и смиренный в продолжении целого дня, делался львом за картами; зеленый стол производил на него какое-то очарование, как Сивиллин треножник; духовное начало деятельности, разлитое природою по всем своим произведениям; потребность раздражения; то таинственное чувство, которое заставляет иных совершать преступления, других изнурять свою душу мучительною любовию, третьих прибегать к опиуму,— в организме Ивана Богдановича образовалась под видом страсти к бостону; минуты за бостоном были *сильными минутами* в жизни Ивана Богдановича; в эти минуты сосредоточивалась вся его душевная деятельность, быстрее бился пульс, кровь скорее обращалась в жилах, глаза горели, и весь он был в каком-то самозабвении.

После этого не мудрено, если Иван Богданович почти не слыхал или не хотел слушать слов старушки: к тому же в эту минуту у него на руках были десять в сюрах,— неслыханное дело в четверном бостоне!

Закрыв десятую взятку, Иван Богданович отдохнул от сильного напряжения и проговорил:

— Не беспокойтесь, матушка, еще до заутрени далеко; мы люди деловые, нам нельзя разбирать времени, нам и бог простит — мы же тотчас и кончим.

Между тем на зеленом столе ремиз цепляется за ремизом; пулька растет горою; приходят игры небывалые, такие игры, о которых долго сохраняется память в изустных преданиях бостонной летописи; игра была во всем пылу, во всей красе, во всем интересе, когда раздался первый выстрел из пушки; игроки не слыхали его; они не видали и нового появления матушки Ивана Богдановича, которая, истощив все свое красноречие, молча покачала головою и наконец ушла из дому, чтобы приискать себе в церкви место попокойнее.

Вот другой выстрел — а они все играют: ремиз цепляется за ремизом, пулька растет и приходят игры небывалые.

Вот и третий, игроки вздрогнули, хотят приподняться — но не тут-то было: они приросли к стульям; их руки сами собою берут карты, тасуют, раздают; их язык сам собою произносит заветные слова бостона; двери комнаты сами собою прихлопнулись.

Вот на улице звон колокольный, все в движении, говорят прохожие, стучат экипажи, а игроки все играют и ремиз цепляется за ремизом.

«Пора б кончить!» — хотел было сказать один из гостей, но язык его не послушался, как-то странно перевернулся и, сбитый с толку, произнес:

— Ах! что может сравниться с удовольствием играть в бостон в страстную субботу.

«Конечно! — хотел отвечать ему другой, — да что подумают о нас домашние?» — но и его язык также не послушался, а произнес:

— Пусть домашние говорят что хотят, нам здесь гораздо веселее.

С удивлением слушают они друг друга, хотят противоречить, но голова их сама нагибается в знак согласия.

Вот отошла заутреня, отошла и обедня; добрые люди, а с ними матушка Ивана Богдановича, — в веселых мечтах сладко разговеться залегли в постелю; другие примеривают мундир, справляются с адрес-календарем, выправляют визитные реестры. Вот уже рассвело, на улицах чокаются, из карет выглядывает золотое шитье, треугольные шляпы торчат на фризовых и камлотных шинелях, курьеры навеселе шатаются от дверей к дверям, суют карточки в руки швейцаров и половину сеют на улице, мальчики играют в биток и катают яйца.

Но в комнате игроков все еще ночь; все еще горят свечи; игроков мучит и совесть, и голод, и сон, и усталость, и жажда; судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, но тщетно: усталые руки тасуют карты, язык выговаривает шесть и восемь, ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, приходят игры небывалые.

Наконец догадался один из игроков и, собрав силы, задул свечки; в одно мгновение они загорелись черным пламенем; во все стороны разлились темные лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу; карты выскочили у них из рук: дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали, — и составилась целая масть Иванов Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть столоначальников, и началась игра, игра адская, которая никогда не

приходила в голову сочинителя «Открытых таинств картежной игры».

Между тем короли уселись на креслах, тузы на диванах, валеты снимали со свечей, десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали по комнате, двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам.

Не знаю, долго ли дамы хлопали об стол несчастных Иванов Богдановичей, загибали на них углы, гнули их в пароль, в досаде кусали зубами и бросали на пол...

Когда матушка Ивана Богдановича, тщетно ожидавшая его к обеду, узнала, что он никуда не выезжал, и вошла к нему в комнату, он и его товарищи, усталые, измученные, спали мертвым сном: кто на столе, кто под столом, кто на стуле...

И по канцеляриям долго дивились: отчего Ивану Богдановичу не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником?

1833





СКАЗКА О ТОМ, КАК ОПАСНО ДЕВУШКАМ ХОДИТЬ ТОЛПОЮ ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ[1]

«Как, сударыня! вы уже хотите оставить нас? С позволения вашего попровожу вас».— «Нет, не хочу, чтоб такой учтивый господин потрудился для меня».— «Изволите шутить, сударыня».
Manuel pour la conversation par madame de Genlis, p. 375.[2]

Русское отделение

Однажды в Петербурге было солнце; по Невскому проспекту шла целая толпа девушек; их было одиннадцать, ни больше ни меньше, и одна другой лучше; да три маменьки, про которых, к несчастью, нельзя было сказать того же. Хорошенькие головки вертелись, ножки топали о гладкий гранит, но им всем было очень скучно: они уж друг друга пересмотрели, давно друг с другом обо всем переговорили, давно друг друга пересмеяли и смертельно друг другу надоели; но все-таки держались рука за руку и, не отставая друг от дружки, шли монастырь монастырем; таков уж у нас обычай: девушка умрет со скуки, а не даст своей руки мужчине, если он не имеет счастия быть ей братом, дядюшкой или еще более завидного счастия — восьмидесяти лет от рода; ибо «что скажут маменьки?» Уж эти мне маменьки![1] когда-нибудь доберусь я до них![2] я выведу на свежую

[1] Мыслящие люди не обвинят автора в *квасном* патриотизме за эту шутку. Кто понимает цену западного просвещения, тому понятны и его злоупотребления. *(Прим. В. Ф. Одоевского.)*
[2] Руководство для разговора, составленное мадам Жанлис. с. 375 *(фр.)*.

воду их старинные проказы! я разберу их устав благочиния, я докажу им, что он не природой написан, не умом скреплен! Мешаются не в свое дело, а наши девушки скучают-скучают, вянут-вянут, пока не сделаются сами похожи на маменек, а маменькам-то и по сердцу! Погодите! я вас!

Как бы то ни было, а наша толпа летела по проспекту и часто набегала на прохожих, которые останавливались, чтобы посмотреть на красавиц; но подходить к ним никто не подходил — да и как подойти? Спереди маменька, сзади маменька, в середине маменька — страшно!

Вот на Невском проспекте новоприезжий искусник выставил блестящую вывеску! сквозь окошки светятся парообразные дымки, сыплются радужные цветы, золотистый атлас льется водопадом по бархату, и хорошенькие куколки, в пух разряженные, под хрустальными колпаками кивают головками. Вдруг наша первая пара остановилась, поворотилась и прыг на чугунные ступеньки; за ней другая, потом третья, и, наконец, вся лавка наполнилась красавицами. Долго они разбирали, любовались — да и было чем: хозяин такой быстрый, с синими очками, в модном фраке, с большими бакенбардами, затянут, перетянут, чуть не ломается; он и говорит, и продает, хвалит и бранит, и деньги берет, и отмеривает; беспрестанно он расстилает и расставляет перед моими красавицами: то газ из паутины с насыпью бабочкиных крылышек; то часы, которые укладывались на булавочной головке; то лорнет из мушиных глаз, в который в одно мгновение можно было видеть все, что кругом делается; то блонду, которая таяла от прикосновения; то башмаки, сделанные из стрекозиной лапки; то перья, сплетенные из пчелиной шерстки; то, увы! румяна, которые от духу налетали на щечку. Наши красавицы целый бы век остались в этой лавке, если бы не маменьки! Маменьки догадались, махнули чепчиками, поворотили налево кругом и, вышедши на ступеньки, благоразумно принялись считать, чтобы увериться, все ли красавицы выйдут из лавки; но, по несчастию (говорят, ворона умеет считать только до четырех), наши маменьки умели считать только до десяти: не мудрено же, что они обочлись и отправились домой с десятью девушками, наблюдая прежний порядок и благочиние, а одиннадцатую позабыли в магазине.

Едва толпа удалилась, как заморский басурманин тотчас дверь на запор и к красавице; все с нее долой: и шляпку,

и башмаки, и чулочки, оставил только, окаянный, юбку да кофточку; схватил несчастную за косу, поставил на полку и покрыл хрустальным колпаком.

Сам же за перочинный ножичек, шляпку в руки и с чрезвычайным проворством ну с нее срезывать пыль, налетевшую с мостовой; резал, резал, и у него в руках очутились две шляпки, из которых одна чуть было не взлетела на воздух, когда он надел ее на столбик; потом он так же осторожно срезал тисненые цветы на материи, из которой была сделана шляпка, и у него сделалась еще шляпка; потом еще раз — и вышла четвертая шляпка, на которой был только оттиск от цветов; потом еще — и вышла пятая шляпка простенькая; потом еще, еще — и всего набралось у него двенадцать шляпок; то же, окаянный сделал и с платьицем, и с шалью, и с башмачками, и с чулочками, и вышло у него каждой вещи по дюжине, которые он бережно уклал в картон с иностранными клеймами... и все это, уверяю вас, он сделал в несколько минут.

— Не плачь, красавица,— приговаривал он изломанным русским языком,— не плачь! тебе же годится на приданое!

Когда он окончил свою работу, тогда прибавил:

— Теперь и твоя очередь, красавица!

С сими словами он махнул рукою, топнул; на всех часах пробило тринадцать часов, все колокольчики зазвенели, все органы заиграли, все куклы запрыгали, и из банки с пудрой выскочила безмозглая французская голова; из банки с табаком чуткий немецкий нос с ослиными ушами; а из бутылки с содовою водою туго набитый английский живот. Все эти почтенные господа уселись в кружок и выпучили глаза на волшебника.

— Горе! — вскричал чародей.

— Да, горе! — отвечала безмозглая французская голова,— пудра вышла из моды!

— Не в том дело,— проворчал английский живот,— меня, словно пустой мешок, за порог выкидывают.

— Еще хуже,— просопел немецкий нос,— на меня верхом садятся, да еще пришпоривают.

— Все не то! — возразил чародей,— все не то! еще хуже; русские девушки не хотят больше быть заморскими куклами! вот настоящее горе! продолжись оно — и русские подумают, что они в самом деле такие же люди.

— Горе! горе! — закричали в один голос все басурмане.

— Надобно для них выдумать новую шляпку,— говорила голова.

— Внушить им правила нашей нравственности,— толковал живот.

— Выдать их замуж за нашего брата,— твердил чуткий нос.

— Все это хорошо! — отвечал чародей,— да мало! Теперь уже не то, что было! На новое горе новое лекарство; надобно подняться на хитрости!

Думал, долго думал чародей, наконец махнул еще рукою, и перед собранием явился треножник, мариина баня и реторта, и злодеи принялись за работу.

В реторту втиснули они множество романов мадам Жанлис, Честерфильдовы письма, несколько заплесневелых сенсаций, канву, итальянские рулады, дюжину новых контрадансов, несколько выкладок из английской нравственной арифметики и выгнали из всего этого какую-то бесцветную и бездушную жидкость. Потом чародей отворил окошко, повел рукою по воздуху Невского проспекта и захватил полную горсть городских сплетен, слухов и рассказов; наконец из ящика вытащил огромный пук бумаг и с дикою радостию показал его своим товарищам; то были обрезки от дипломатических писем и отрывки из письмовника, в коих содержались уверения в глубочайшем почтении и истинной преданности; все это злодеи, прыгая и хохоча, ну мешать с своим бесовским составом: французская голова раздувала огонь, немецкий нос размешивал, а английский живот, словно пест, утаптывал.

Когда жидкость простыла, чародей к красавице: вынул, бедную, трепещущую, из-под стеклянного колпака и принялся из нее, злодей, вырезывать сердце! О! как страдала, как билась бедная красавица! как крепко держалась она за свое невинное, свое горячее сердце! с каким славянским мужеством противилась она басурманам. Уже они были в отчаянии, готовы отказаться от своего предприятия, но на беду чародей догадался, схватил какой-то маменькин чепчик, бросил на уголья — чепчик закурился, и от этого курева красавица одурела.

Злодеи воспользовались этим мгновением, вынули из нее сердце и опустили его в свой бесовский состав. Долго, долго они распаривали бедное сердце русской красавицы, вытягивали, выдували, и когда они вклеили его в свое место, то красавица позволила им делать с собою все, что было им угодно. Окаянный басурманин схватил ее пухленькие щечки, маленькие

ножки, ручки и ну перочинным ножом соскребать с них свежий славянский румянец и тщательно собирать его в баночку с надписью roug végetal[1]; и красавица сделалась беленькая-беленькая, как кобчик; насмешливый злодей не удовольствовался этим: маленькой губкой он стер с нее белизну и выжал в сткляночку с надписью: lait de concombre[2], и красавица сделалась желтая, коричневая; потом к наливной шейке он приставил пневматическую машинку, повернул — и шейка опустилась и повисла на косточках; потом маленькими щипчиками разинул ей ротик, схватил язычок и повернул его так, чтобы он не мог порядочно выговорить ни одного русского слова; наконец, затянул ее в узкий корсет, накинул на нее какую-то уродливую дымку и выставил красавицу на мороз к окошку. Засим басурмане успокоились; безмозглая французская голова с хохотом прыгнула в банку с пудрой; немецкий нос зачихал от удовольствия и убрался в бочку с табаком; английский живот молчал, но только хлопал по полу от радости и также уплелся в бутылку с содовою водою; и все в магазине пришло в прежний порядок, и только стало в нем одною куклою больше!

Между тем время бежит да бежит; в лавку приходят покупщики, покупают паутинный газ и мушиные глазки, любуются на куколок. Вот один молодой человек посмотрел на нашу красавицу, задумался, и, как ни смеялись над ним товарищи, купил ее и принес к себе в дом. Он был человек одинокий, нрава тихого, не любил ни шума, ни крика; он поставил куклу на видном месте, одел, обул ее, целовал ее ножки и любовался ею, как ребенок. Но кукла скоро почуяла русский дух: ей понравилось его гостеприимство и добродушие. Однажды, когда молодой человек задумался, ей показалось, что он забыл о ней, она зашевелилась, залепетала; удивленный, он подошел к ней, снял хрустальный колпак, посмотрел: его красавица кукла куклою. Он приписал это действию воображения и снова задумался, замечтался; кукла рассердилась: ну опять шевелиться, прыгать, кричать, стучать об колпак, ну так и рвется из-под него.

— Неужели ты в самом деле живешь? — говорил ей молодой человек,— если ты в самом деле живая, я тебя буду любить больше души моей; ну, докажи, что ты живешь, вымолви хоть словечко!

— Пожалуй! — сказала кукла,— я живу, право живу.

---

[1] растительные румяна *(фр.)*
[2] огуречный сок *(фр.)*

— Как! ты можешь и говорить? — воскликнул молодой человек,— о, какое счастье! Не обман ли это? Дай мне еще раз увериться, говори мне о чем-нибудь!

— Да об чем мы будем говорить?

— Как о чем? на свете есть добро, есть искусство!..

— Какая мне нужда до них! — отвечала кукла,— это все очень скучно!

— Что это значит? Как скучно? Разве до тебя еще никогда не доходило, что есть на свете мысли, чувства?..

— А, чувства! чувства? знаю,— скоро проговорила кукла,— чувства почтения и преданности, с которыми честь имею быть, милостивый государь, вам покорная ко услугам...

— Ты ошибаешься, моя красавица; ты смешиваешь условные фразы, которые каждый день переменяются, с тем, что составляет вечное незыблемое украшение человека.

— Знаешь ли, что говорят? — прервала его красавица,— одна девушка вышла замуж, но за ней волочится другой, и она хочет развестись. Как это стыдно!

— Что тебе нужды до этого, моя милая? подумай лучше о том, как многого ты на свете не знаешь; ты даже не знаешь того чувства, которое должно составлять жизнь женщины; это святое чувство, которое называют любовью; которое проникает все существо человека; им живет душа его, оно порождает рай и ад на земле.

— Когда на бале много танцуют, то бывает весело, когда мало, так скучно,— отвечала кукла.

— Ах, лучше бы ты не говорила! — вскричал молодой человек,— ты не понимаешь меня, моя красавица!

И тщетно он хотел ее образумить: приносил ли он ей книги — книги оставались неразрезанными; говорил ли ей о музыке души — она отвечала ему итальянскою руладою; показывал ли картину славного мастера — красавица показывала ему канву.

И молодой человек решился каждое утро и вечер подходить к хрустальному колпаку и говорить кукле: «Есть на свете добро, есть любовь; читай, учись, мечтай, исчезай в музыке; не в светских фразах, но в душе чувства и мысли».

Кукла молчала.

Однажды кукла задумалась и думала долго. Молодой человек был в восхищении, как вдруг она сказала ему:

— Ну, теперь знаю, знаю; есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь, не в светских фразах, но в душе чувства и мысли. Примите, милостивый государь, уверения в чувствах моей истинной добродетели и пламенной любви, с которыми честь имею быть...

— О! перестань, бога ради,— вскричал молодой человек,— если ты не знаешь ни добродетели, ни любви,— то по крайней мере не унижай их, соединяя с поддельными, глупыми фразами...

— Как не знаю! — вскричала с гневом кукла,— на тебя никак не угодишь, неблагодарный! Нет,— я знаю, очень знаю: *есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь,* как равно и почтение, с коим честь имею быть...

Молодой человек был в отчаянии. Между тем кукла была очень рада своему новому приобретению; не проходило часа, чтоб она не кричала: *есть добродетель, есть любовь, есть искусство,* — и не примешивала к своим словам уверений в глубочайшем почтении; идет ли снег — кукла твердит: *есть добродетель!* — принесут ли обедать — она кричит: *есть любовь!* — и вскоре дошло до того, что это слово опротивело молодому человеку. Что он ни делал: говорил ли с восторгом и умилением, доказывал ли хладнокровно, бесился ли, насмехался ли над красавицею — все она никак не могла постигнуть, какое различие между затверженными ею словами и обыкновенными светскими фразами; никак не могла постигнуть, что любовь и добродетель годятся на что-нибудь другое, кроме письменного окончания.

И часто восклицал молодой человек: «Ах, лучше бы ты не говорила!»

Наконец он сказал ей:

— Я вижу, что мне не вразумить тебя, что ты не можешь к заветным святым словам добра, любви и искусства присоединить другого смысла, кроме почтения и преданности... Как быть! Горько мне, но я не виню тебя в этом. Слушай же, всякий на сем свете должен что-нибудь делать; не можешь ты ни мыслить, ни чувствовать; не перелить мне своей души в тебя; так занимайся хозяйством по старинному русскому обычаю,— смотри за столом, своди счеты, будь мне во всем покорна; когда меня избавишь от механических занятий жизни, я — правда, не столько тебя буду любить, сколько любил бы тогда, когда бы души наши сливались,— но все любить тебя буду.

— Что я за ключница? — закричала кукла, рассердилась и заплакала,— разве ты затем купил меня? Купил — так лелей, одевай, утешай. Что мне за дело до твоей души и до твоего хозяйства! Видишь, я верна тебе, я не бегу от тебя,— так будь же за то благодарен, мои ручки и ножки слабы; я хочу и люблю ничего не делать, не думать, не чувствовать, не хозяйничать,— а твое дело забавлять меня.

И в самом деле, так было. Когда молодой человек занимался своею куклою, когда одевал, раздевал ее, когда целовал ее ножки — кукла была и смирна и добра, хоть и ничего не говорила; но если он забудет переменить ее шляпку, если задумается, если отведет от нее глаза, кукла так начнет стучать о свой хрустальный колпак, что хоть вон беги. Наконец не стало ему терпения: возьмет ли он книгу, сядет ли обедать, ляжет ли на диван отдохнуть,— кукла стучит и кричит, как живая, и не дает ему покоя ни днем, ни ночью; и стала его жизнь — не жизнь, но ад. Вот молодой человек рассердился; несчастный не знал страдания, которые вынесла бедная красавица; не знал, как крепко она держалась за врожденное ей природою сердце, с какою болью отдала его своим мучителям, или учителям,— и однажды спросонья он выкинул куклу за окошко; за что все проходящие его осуждали, однако же куклу никто не поднял.

А кто всему виною? сперва басурмане, которые портят наших красавиц, а потом маменьки, которые не умеют считать дальше десяти. Вот вам и нравоучение.

1833





ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ



Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка»,— сказал он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пестренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый,— и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые, а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.

— Что это за городок? — спросил Миша.

— Это городок Динь-Динь,— отвечал папенька и тронул пружинку...

И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям — не из другой ли комнаты? и к часам — не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол... Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее; окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только не надолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.

— Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!

— Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.

— Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается...

— Право, мой друг, там и без тебя тесно.

— Да кто же там живет?

— Кто там живет? Там живут колокольчики.

С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса... Миша удивился. «Зачем эти колокольчики? зачем молоточки? зачем валик с крючками?» — спрашивал Миша у папеньки.

А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе все изломается».

Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?

Между тем музыка играет да играет; вот все тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

«Да отчего же, — подумал Миша, — папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нем живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».

— Извольте, с величайшею радостью!

С сими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почёл долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.

— Позвольте узнать, — сказал Миша, — с кем я имею честь говорить?

— Динь-динь-динь, — отвечал незнакомец, — я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.

Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, еще меньше; четвертый, еще меньше, и так все другие сво-

ды — чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.

— Я вам очень благодарен за ваше приглашение,— сказал ему Миша,— но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды,— там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.

— Динь-динь-динь! — отвечал мальчик.— Пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мной.

Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен.

— Отчего это? — спросил он своего проводника.

— Динь-динь-динь! — отвечал проводник смеясь,— издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали все кажется маленьким, а подойдешь — большое.

— Да, это правда,— отвечал Миша,— я до сих пор не подумал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удавалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»

Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:

— Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову все говорите «динь-динь-динь»?

— Уж у нас поговорка такая,— отвечал мальчик-колокольчик.

— Поговорка? — заметил Миша.— А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.

Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова.

Вот перед ними еще дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пестренькое, черепаховое, по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдет, вкруг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много, и все мал мала меньше.

— Нет, теперь уж меня не обманут,— сказал Миша.— Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.

— Ан вот и неправда,— отвечал провожатый,— колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.

Миша, в свою очередь, закусил язычок.

Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.

— Весело вы живете,— сказал им Миша,— век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день.

— Динь-динь-динь! — закричали колокольчики.— Уж нашел у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться, целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и все это очень нам надоело; из городка мы — ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.

— Да,— отвечал Миша,— вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день все играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься — все не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.

— Да сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.

— Какие же дядьки? — спросил Миша.

— Дядьки-молоточки,— отвечали колокольчики,— уж какие злые! то и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем еще реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достается.

В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «тук-тук-тук! тук-тук-тук! поднимай! задавай! тук-тук-тук!» И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:

— Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Все ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! тук-тук-тук!

— Какой это у вас надзиратель? — спросил Миша у колокольчиков.

— А это господин Валик,— зазвенели они,— предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.

Миша — к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо; только что попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.

Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал:

— Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры! кто прочь не идет? кто мне спать не дает? Шуры-муры! шуры-муры!

— Это я,— храбро отвечал Миша,— я — Миша...

— А что тебе надобно? — спросил надзиратель.

— Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают...

— А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, все на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры...

— Ну, многому же я научился в этом городке! — сказал про себя Миша.— Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой! — думаю я,— ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.

Между тем Миша пошел далее — и остановился. Смотрит, золотой шатер с жемчужною бахромою: наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:

— Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?

— Зиц-зиц-зиц,— отвечала царевна.— Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На все смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.

Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком — и что же?

В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались... Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки, испугался и... проснулся.

— Что во сне видел, Миша? — спросил папенька.

Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.

— Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? — спрашивал Миша.— Так это был сон?

— Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам, по крайней мере, что тебе приснилось!

— Да видите, папенька,— сказал Миша, протирая глазки,— мне все хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерке растворилась...— Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.

— Ну, теперь вижу,— сказал папенька,— что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике.

1834





РАЗБИТЫЙ КУВШИН

Ямайская сказка



Жили[1] были на сем свете две сестрицы, обе вдовы, и у каждой было по дочери. Одна из сестер умерла и дочь свою оставила сестре на попечение; но эта сестра была нехорошая женщина: с дочерью своей она была добра, а с племянницей зла. Бедная Маша! — так называли племянницу — горькое было ее житье: доставалось ей и от тетушки, и от сестрицы; словно раба она была у них в доме. Вот однажды, на беду, Маша разбила кувшин. как узнает об этом тетка — вон из дому, да и только, пока не сыщет другого кувшина! А где сыскать? Вот Маша идет да плачет; вот дошла она до хлопчатого дерева[2], а под деревом сидит старуха, да еще какая! — без головы! Без головы, не шутка сказать! Я думаю, Маша порядочно удивилась, а особливо, когда старуха ей сказала:

— Ну, что ж ты видишь, девочка?

[1] Сказку эту рассказывали негры острова Ямайки в то время, когда они состояли в рабстве; теперь рабство негров уничтожено. Ямайка, один из Антил ских островов, открытых Колумбом в 1494 году, принадлежит англичанам. *(Здесь и далее прим. автора.)*

[2] Хлопчатник — дерево или кустарник, доставляющий хлопок. Плод хлопчатника имеет вид небольшого шарика, обтянутого шелухой; в нем лежат семена, обвитые белым мягким пухом, который называется хлопком. При созревании плода шелуха, покрывающая его, лопается, и хлопок обнаруживается. Его собирают, сушат на солнце, очищают от шелухи и семян и укладывают в тюки. Из него выделывают вату или хлопчатую бумагу и разные материи, известные под названием бумажных: ситец, коленкор, кисею, плис и пр. Хлопок — самый выгодный из всех продуктов, употребляемых для тканей, поэтому и выделываемые из него материи отличаются дешевизною, доступною для всех классов народа.

— Да я, матушка,— отвечала Маша,— ничего не вижу.

— Вот добрая девушка,— сказала старуха,— ступай своей дорогой.

И вот опять Маша идет путем-дорогою; вот дошла она до кокосового дерева[1], а под деревом сидит также старуха и также без головы; то же спросила она у Маши, то же отвечала ей Маша, и того же старуха ей пожелала.

И опять идет Маша да плачет; долго идет она, и уж голод ее мучит. Вот дошла она до красного дерева[2], и под деревом сидит третья старуха, но уже с головой на плечах. Маша остановилась, поклонилась и сказала:

— По добру ли, по здорову, матушка, поживаешь?

— Здорово, дитятко,— отвечала старуха,— да что с тобой? Ты будто не по себе.

— Матушка, есть хочется.

— Войди, дитятко, в избушку, там есть пшено в горшке, поешь его, дитятко, да смотри, черного кота не забудь.

Маша послушалась, взошла в избушку, взялась за горшок с пшеном; смотрит, а черный кот шасть к ней навстречу. Маша с ним честно поделилась пшеном, кот покушал и пошел своей дорогой. Не успела Маша оглянуться, как перед ней очутилась хозяйка дома в красной юбке.

— Хорошо, дитятко,— сказала она,— я тобою довольна; поди же ты в курятник и возьми там три яичка, но тех, которые говорят человечьим голосом, тех отнюдь не бери.

Пошла Маша в курятник. Не успела она войти в него, как поднялся шум и крик. Изо всех лукошек яйца закричали:

— Возьми меня, возьми меня! — Но Маша не забыла приказания старухи, и хоть яйца-болтуны были и больше и лучше других, она их не взяла; искала, искала и наконец нашла три яичка, маленькие, черненькие, но которые зато ни слова не говорили.

Вот старуха с Машей распрощалась:

— Ступай же, дитятко,— сказала она,— ничего не бойся, только не забудь под каждым деревом разбить по яичку.

Маша послушалась. Пришла к первому дереву, разбила яичко, и из яичка выскочил кувшин, ни дать ни взять такой, какой она поутру разбила. Она разбила второе яичко, а из яичка выскочил прекрасный дом с светлыми окошками и большое, большое поле, все усеянное сахарным тростником. Разбила

[1] Дерево, на котором растут кокосовые орехи.
[2] Дерево, досками которого обклеивают мебель.

третье яичко, и из яичка выскочила блестящая коляска. Маша села в коляску, приехала к тетке, рассказала ей, каким образом старуха в красной юбке сделала ее большой госпожой, рассказала и возвратилась в свой прекрасный дом с светлыми окошками и к своим сахарным тростникам.

Когда тетка узнала все это, зависть ее взяла, и она, не мешкая ни минуты, отправила свою дочку по той же дороге, по которой Маша ходила. Дочка также дошла до хлопчатого дерева и также увидела под ним старуху без головы, которая то же спросила у нее, что и у Маши: что она видит?

— Вот еще! что я вижу! — отвечала тетушкина дочка, — я вижу безголовую старуху.

Надобно заметить, что в этом ответе была двойная обида: во-первых, было невежливо напоминать женщине о ее телесном недостатке, а во-вторых, неблагоразумно: ибо могли бы это услыхать белые люди и принять женщину без головы за колдунью.

— Злая ты девочка, — сказала старуха, — злая ты девочка, и дорога тебе клином сойдется.

Не лучше случилось и под кокосовым деревом, и под красным. Увидевши старуху в красной юбке, тетушкина дочка мимоходом сказала ей:

— Здравствуй! — и даже не прибавила: бабушка[1].

Несмотря на то, старуха ее также пригласила покушать пшена в избушке и также заметила ей не забыть черного кота. Но тетушкина дочка забыла накормить его; а когда старуха вошла, то не посовестилась уверять ее, что она накормила кота досыта. Старуха в красной юбке показала вид, будто далась в обман, и так же послала маленькую лгунью в курятник за яйцами. Хоть старуха и два раза ей повторяла не брать яиц, которые говорят человечьим голосом, но упрямица не послушалась и выбрала из лукошек именно те яйца, которые болтали больше других; она думала, что они-то самые драгоценные. Она взяла их и, чтобы скрыть их от старухи, не пошла больше в хижину, а воротилась прямо домой. Не успела она дойти до красного дерева, как любопытство ее взяло; не утерпела она и разбила яичко.

Что же? смотрит, ан яичко пусто. Хорошо, если б этим и кончилось! Едва она разбила другое яичко, как из него выско-

[1] Между неграми считается за большое бесчестье, говоря с кем-нибудь, не называть его родственным именем, как например: бабушка, тетушка, братец и проч.

чила большая змея, встала на хвост и зашипела так страшно, что бедная девочка пустилась бежать опрометью, запнулась на дороге о бамбуковое дерево[1], упала и разбила третье яичко; а из него показалась старуха без головы и сердито проговорила:

— Если б ты была со мною вежлива, не обманула бы меня, то я бы тебе дала то же, что и твоей сестрице; но ты девочка непочтительная, да и притом обманщица, а потому будет с тебя и яичных скорлупок.

С сими словами старуха села на змея, быстро помчалась, и с тех пор на том острове больше не видали ни старухи, ни ее красной юбки.

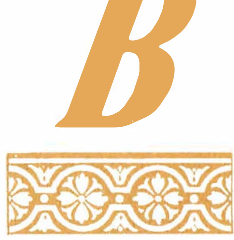
<?>



[1] Бамбук — род толстого тростника, который растет в виде дерева иногда столь высоко, как тополь, и ветви которого поднимаются прямо вверх. В коленцах бамбука находят белую и чистую материю, которую индейцы называют бамбуковый сахар и которая считается весьма целительною.



ИНДИЙСКАЯ СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ ГЛУХИХ



Возьмите карту Азии, отсчитайте параллельные линии от экватора к Северному или Арктическому полюсу (т. е. в широту), начиная с 8-го градуса по 35-й, и от Парижского меридиана по экватору (или в долготу), начиная с 65-го градуса по 90-й. Между линиями, проведенными на карте по этим градусам, вы найдете в знойном поясе, под тропиком Рака, остроконечную полосу земли, выдавшуюся в Индейское море. Эта земля называется Индиею или Индостаном, а также называют ее Восточной или Большой Индией, чтобы не смешать с тою землею, которая находится на противоположной стороне полушария и называется Западной или Малой Индией. К Восточной Индии принадлежит также остров Цейлон, на котором, как вы верно знаете, много жемчужных раковин. В этой земле живут индейцы, которые разделяются на разные племена, точно так же, как мы, русские, имеем племена великороссов, малороссиян, поляков и проч. Из этой земли привозят в Европу разные вещи, которые каждый день вами употребляются: хлопчатую бумагу; из нее делают вату, которой подбивают ваши теплые капоты; заметьте, что хлопчатая бумага растет на дереве; черные шарики, которые иногда попадаются в вате, суть не иное что как семена этого растения; сарачинское пшено, из которого варят кашу и которым для вас настаивают воду, когда вы нездоровы; сахар, с которым вы кушаете чай; селитру, от которой загорается трут, когда высекают огонь из кремня стальною дощечкою; пе-

рец, эти кругленькие шарики, которые толкут в порошок, очень горькие и которых маменька вам не дает, потому что перец нездоров для детей; сандальное дерево, которым красят разные материи в красную краску; индиго, которым красят в синюю краску; корицу, которая так хорошо пахнет: это корка с дерева; шелк, из которого делают тафту, атлас, блонды; насекомых, называющихся кашенилью, из которых делают превосходную пурпуровую краску; драгоценные камни, которые вы видите в серьгах у вашей маменьки; тигровую кожу, которая лежит у вас вместо ковра в гостиной. Все эти вещи привозятся из Индии. Эта страна, как видите, очень богата; только в ней очень жарко. Большею частию Индии владеют английские купцы или, так называемая, Ост-Индская Компания. Она торгует всеми этими предметами, о которых мы выше сказали, потому что сами жители очень ленивы. Большая часть из них верует в божество, которое известно под названием Тримурти и разделяется на трех богов: Браму, Вишну и Шива. Брама — самый главный из богов, а потому и жрецы носят название браминов. Для этих божеств у них построены храмы, очень странной, но красивой архитектуры, которые называются пагодами и которые вы, верно, видали на картинках, а если не видали, то посмотрите. Индейцы очень любят сказки, повести и рассказы всякого рода. На их древнем языке, на санскритском (который, заметьте, похож на наш русский), написано много прекрасных стихотворных сочинений; но этот язык теперь для большей части индейцев непонятен: они говорят другими, новыми наречиями. Вот одна из новейших сказок этого народа; европейцы подслушали ее и перевели, а я расскажу ее вам, как умею; она очень смешна, и по ней вы получите некоторые понятие об индейских нравах и обычаях.

Невдалеке от деревни пастух пас стадо овец. Было уже за полдень, и бедный пастух очень проголодался; правда, он, выходя из дома, велел своей жене принесть себе в поле позавтракать, но жена, как будто нарочно, не приходила. Призадумался бедный пастух: идти домой нельзя — как оставить стадо? Того и гляди, что раскрадут; остаться на месте — еще хуже: голод замучит. Вот он посмотрел туда, сюда, видит — тальяри[1] косит сено для своей коровы. Пастух подошел к нему и сказал:

— Одолжи, любезный друг, посмотри, чтобы мое стадо не разбрелось; я только схожу домой позавтракать, тотчас возвращусь и щедро награжу тебя за твою услугу.

[1] Род деревенского сторожа. *(Здесь и далее прим. автора.)*

Кажется, пастух поступил очень благоразумно; да и действительно он был малый умный и осторожный. Одно в нем было худо: он был глух, да так глух, что пушечный выстрел над ухом не заставил бы его оглянуться; а что всего хуже: он и говорил-то с глухими. Но тальяри был так же глух, и потому не мудрено, что он из пастуховой речи ни слова не понял. Ему показалось напротив, что пастух хочет отнять у него траву, и тальяри закричал с сердцем:

— Да что тебе за дело до моей травы? Не ты ее косил, а я; ведь моей корове не умирать же с голоду для того, чтобы твое стадо было сыто? Не дам ни за что тебе этой травы; убирайся прочь!

С этими словами тальяри сделал рукою уверительный знак, а пастух подумал, что тальяри обещает защищать его стадо и, успокоенный, поспешил домой, намереваясь жене своей хорошенько вымыть голову, чтоб она впредь не забывала приносить ему завтрак.

Пастух подходит к своему дому — смотрит: жена его лежит на пороге, плачет и жалуется. Надобно вам сказать, что она вчера на ночь неосторожно покушала, да говорят еще, сырого горошку, а вы знаете: кто много кушает, у того часто в желудке бывают судороги. Наш добрый пастух постарался помочь своей жене, уложил ее в постель, дал ей прегорькое лекарство, от которого ей однако же стало лучше; между тем он не забыл и позавтракать. За этими хлопотами много ушло времени, и у бедного на уме только одно было: что-то делается со стадом? Долго ли до беды! Он поспешил возвратиться и, к чрезвычайному своему удовольствию, скоро увидел, что его стадо спокойно пасется на том же месте, где он его оставил. Однако же, как человек благоразумный, он пересчитал всех своих баранов и, найдя, что счет верен, сказал самому себе:

— Честный человек этот тальяри, надо наградить его.

В стаде у пастуха была молодая овца, правда, хромая, но на вид прекрасная. Он взвалил ее на плечи, подошел к тальяри и сказал ему:

— Спасибо тебе, господин тальяри, что поберег мое стадо, вот тебе целая овца за твои труды.

Тальяри, разумеется, ничего не понял, о чем говорил пастух, но, видя хромую овцу, вскричал с сердцем:

— А мне что за дело, что она хромает? Почему мне знать, кто ее изувечил? Я и не подходил к твоему стаду. Что мне за дело?

— Правда, она хромает,— продолжал пастух, не понимая тальяри,— но в прочем славная овца, и молода, и жирна; возьми ее, изжарь и скушай за мое здоровье с твоими приятелями.

— Отойдешь ли ты от меня! — вскричал тальяри, совершенно рассердившись.— Я тебе еще раз говорю, что я не ломал ног у твоей овцы и к стаду твоему не только не подходил, даже и не смотрел на него.

Но как пастух, не понимая его, все держал перед ним хромую овцу и все продолжал выставлять ее достоинства, то тальяри не вытерпел, замахнулся; пастух, в свою очередь, рассердившись, приготовился к горячей обороне, и они, верно, подрались бы, если б не остановил их человек, ехавший мимо верхом на лошади.

Надо вам сказать, что у индейцев существует обычай, когда они заспорят о чем-нибудь, просить первого встретившегося человека рассудить их.

Вот пастух с тальяри, каждый с своей стороны, ухватились за узду лошади, чтобы остановить верхового.

— Сделайте милость,— сказал ему пастух,— остановитесь на минуту и разрешите: кто из нас прав и кто виноват? Я вот этому человеку дарю мою овцу за его услуги, а он за это чуть не прибил меня.

— Сделайте милость,— говорил тальяри,— остановитесь на минуту и разрешите: кто из нас прав и кто виноват? Этот злой пастух обвиняет меня в том, что я изувечил его овцу, когда я и не подходил к его стаду.

К несчастью, выбранный ими судья был так же глух и даже, говорят, больше, нежели они оба вместе. Он сделал знак рукою, чтобы они замолчали, и сказал:

— Я вам должен признаться, что эта лошадь точно не моя; я нашел ее на дороге и, как я очень тороплюсь в одно место, то, чтобы скорее поспеть, я решился сесть на нее. Если она ваша, возьмите ее; если же нет, то отпустите меня поскорее: мне некогда здесь дольше оставаться.

Пастух и тальяри оба вообразили, что ездок решает дело не в его пользу, и еще громче стали кричать и браниться, обвиняя избранного ими посредника.

В это время старый брамин проходит по дороге; все три спорщика бросаются к нему и начинают все вместе рассказывать свое дело; но брамин был так же глух, как они.

— Понимаю! Понимаю! — отвечал он им.— Она послала вас упросить меня, чтоб я воротился домой (брамин говорил про

свою жену). Но это вам не удастся. Знаете ли вы, что нет в мире ничего подобного ее дурному нраву? С тех пор, как я на ней женился, она меня заставила наделать столько грехов, что мне не омыть их во ста поколениях[1]. Я наложил на себя обет омыться в священных водах реки Ганга, чтобы получить прощение в грехах, соделанных мною с тех пор, как я, по несчастью, женился на этой женщине; потом я буду питаться милостынею и проведу остальные дни мои в другой земле. Вы видите, что я решился твердо; и все ваши слова не заставят меня переменить моего намерения и снова согласиться жить в одном доме с такою злою женою.

Шум поднялся больше прежнего; все они вместе кричали изо всех сил, не понимая один другого.

Между тем тот, который украл лошадь, завидя издали бегущих людей, принял их за хозяев украденной лошади, проворно соскочил с нее и убежал.

Пастух, заметив, что уже становится поздно и что стадо его довольно далеко забрело от того места, где они спорили, поспешил собрать своих овечек, проклиная судьбу, своих посредников, горько жалуясь на то, что нет на земле справедливости и, наконец, приписывая все с ним случившееся змее, которая переползла через дорогу в то время, когда он выходил из дома: такова примета у индейцев.

Тальяри возвратился к своему накошенному сену и, найдя там хорошую овцу, невинную причину спора, взвалил ее на плеча и понес к себе, думая тем наказать пастуха за его несправедливость.

Брамин дошел до ближней деревни, где остановился ночевать. Голод и усталость несколько утишили гнев, а пришедшие на другой день его приятели и родственники уговорили бедного брамина воротиться домой, обещаясь употребить все возможные усилия, чтобы сделать жену его послушнее и смирнее.

Знаете ли, друзья, что может придти в голову, когда прочитаешь эту сказку? Кажется, вот что: на свете бывают люди, большие и малые, которые хотя и не глухи, а не лучше глухих: что говоришь им — не слушают, в чем уверяешь — не понимают; сойдутся вместе — заспорят, сами не зная об чем. От этого

[1] Брамины думают, что душа человека переходит после смерти в другое тело и в этой второй жизни претерпевает наказание за грехи, сделанные человеком в первой.

происходят для них разные неудовольствия, а они жалуются на людей, на судьбу или приписывают свое несчастье нелепым приметам, как-то: просыпанной соли, разбитому зеркалу. Так, например, один мой приятель никогда не слушал того, что ему учитель говорил в классе, и сидел на скамейке, словно глухой; что же вышло? Он вырос теперь дурак дураком: за что ни примется, ничто ему не удается; умные люди об нем жалеют, хитрые его обманывают, а он жалуется на судьбу, что, видите ли, будто бы он несчастливым родился.

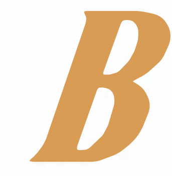
Сделайте милость, друзья, не будьте глухи; уши нам даны для того, чтобы слушать; один умный человек заметил, что у нас два уха и один язык и что, следственно, нам надобно больше слушать, нежели говорить.

<?>





МОРОЗ ИВАНОВИЧ



В одном доме жили две девочки — Рукодельница да Ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка: рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась, а вставши с постели, за дело принималась: печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила.

А Ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, с боку на бок переваливалась, уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья: «Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки», а потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать: сколько прилетело да сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться; ей бы в постельку — да спать не хочется; ей бы покушать — да есть не хочется; ей бы к окошку мух считать — да и то надоело. Сидит, горемычная, и плачет да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты.

Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет; да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее воды, а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная; а потом Рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет; и не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда: то за тем, то за другим делом, а тут, смотришь, и вечер — день прошел.

Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись; упало ведро в колодец. Как тут быть?

Расплакалась бедная Рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье; а нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, и говорит:

— Сама беду сделала, сама и поправляй; сама ведерко утопила, сама и доставай.

Нечего было делать: пошла бедная Рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит: перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет!

Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху. Идет она дальше. Перед ней сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят:

— Мы яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питалися, студеной росой обмывалися; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.

Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник.

Рукодельница идет дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнет головой — от волос иней сыплется, духом дохнет — валит густой пар.

— А! — сказал он. — Здоро́во, Рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла; давным-давно уж я ничего горяченького не ел.

Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили.

— Знаю я, зачем ты пришла, — говорит Мороз Иванович, — ты ведерко в мой студенец опустила; отдать тебе ведерко отдам, только ты мне за то три дня прослужи; будешь умна, тебе ж лучше; будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь, — прибавил Мороз Иванович, — мне, старику, и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель, да смотри взбей хорошенько перину.

Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда: и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками; солнышко на них сияло, и все в доме блестело, как брильянты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый; холодно, а делать было нечего.

Рукодельница принялась взбивать снег, чтоб старику было мягче спать, а меж тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут: и холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего — работают бедные люди.

— Ничего,— сказал Мороз Иванович,— только снегом пальцы потри, так и отойдут, не ознобишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки.

Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и Рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жаль бедной травки.

— Вот ты говоришь,— сказала она,— что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет божий не выпускаешь?

— Не выпускаю потому, что еще не время; еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла, и кабы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежною периной, да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло; а вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно крестьянин соберет да на мельницу отвезет; мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, Рукодельница, хлеб испечешь.

— Ну, а скажи мне, Мороз Иванович,— сказала Рукодельница,— зачем ты в колодце-то сидишь?

— А затем в колодце сижу, что весна подходит,— сказал Мороз Иванович,— мне жарко становится; а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, оттого и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета.

— А зачем ты, Мороз Иванович,— спросила Рукодельница,— зимою по улицам ходишь да в окошки стучишься?

— А я затем в окошки стучусь,— отвечал Мороз Иванович,— чтоб не забывали печей топить да трубы вовремя закрывать; а не то ведь, я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть не закроют, или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели, а оттого в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтоб никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимой холодно, у которых нет шубки, да и дров купить не на что; вот я за тем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали.

Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке да и лег почивать на свою снежную постель.

Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала.

Старичок проснулся; был всем очень доволен и поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил.

Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня.

На третий день Мороз Иванович сказал Рукодельнице:

— Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделие деньги получают, так вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков; да, сверх того, вот тебе на память брильянтик — косыночку закалывать.

Рукодельница поблагодарила, приколола брильянтик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет божий.

Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидев ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал:

Кукареку, кукареки́!
У Рукодельницы в ведерке пятаки!

Когда Рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом промолвила:

— Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье получают! Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай; в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай, так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати: у нас к празднику денег мало.

Ленивице очень не по вкусу было идти к старичку работать. Но пятачки ей получить хотелось и брильянтовую булавочку тоже.

Вот, по примеру Рукодельницы, Ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да и бух прямо ко дну. Смотрит — перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня возьмет, тот со мной и пойдет.

А Ленивица ему в ответ:

— Да, как бы не так! Мне себя утомлять — лопатку поднимать, да в печку тянуться; захочешь, сам выскочишь.

Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят да промеж себя говорят:

— Мы яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питалися, студеной росой обмывалися; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.

— Да, как бы не так! — отвечала Ленивица.— Мне себя утомлять — ручки подымать, за сучья тянуть... Успею набрать, как сами нападают!

И прошла Ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке да снежные комочки прикусывал.

— Что тебе надобно, девочка? — спросил он.

— Пришла я к тебе,— отвечала Ленивица,— послужить да за работу получить.

— Дельно ты сказала, девочка,— отвечал старик,— за работу деньга следует, только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Поди-ка взбей мою перину, а потом кушанье изготовь, да платье мое повычини, да белье повыштопай.

Пошла Ленивица, а дорогой думает:

«Стану я себя утомлять да пальцы знобить! Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснет».

Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лег в постель и заснул, а Ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей и в голову не приходило; да и лень ей было посмотреть. Вот она огляделась: лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас — все по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала да, чтоб большого труда себе не давать, как все было, мытое-немытое, так и положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус да еще кваску подлила, а сама думает:

«Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке все вместе будет».

Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатертцы не подостлала.

Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах.

— Хорошо ты готовишь,— заметил он, улыбаясь.— Посмотрим, какова твоя другая работа будет.

Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, а старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню.

После обеда старик опять лег отдохнуть да припомнил Ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано.

Ленивица понадулась, а делать было нечего: принялась платье и белье разбирать; да и тут беда: платье и белье Ленивица нáшивала, а как его шьют, о том и не спрашивала; взяла было иголку, да с непривычки укололась; так ее и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать Ленивицу позвал, да еще спать ее уложил.

А Ленивице то и любо; думает себе:

«Авось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать; старик добрый, он мне и так, задаром, пятачков подарит».

На третий день приходит Ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить да за работу наградить.

— Да какая же была твоя работа? — спросил старичок.— Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил.

— Да, как же! — отвечала Ленивица.— Я ведь у тебя целых три дня жила.

— Знаешь, голубушка,— отвечал старичок,— что я тебе скажу: жить и служить — разница, да и работа работе рознь; заметь это: вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу: и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.

С этими словами Мороз Иванович дал Ленивице пребольшой серебряный слиток, а в другую руку — пребольшой брильянт.

Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала.

Пришла домой и хвастается.

— Вот,— говорит,— что я заработала; не сестре чета, не горсточку пятачков да не маленький брильянтик, а целый слиток серебряный, вишь, какой тяжелый, да и брильянт-то чуть не с кулак... Уж на это можно к празднику обнову купить...

Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол; он был не что иное, как ртуть, которая застыла от сильного холода; в то же время начал таять и брильянт. А петух вскочил на забор и громко закричал:

Кукареку-кукарекýлька,
У Ленивицы в руках ледяная сосулька!

А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда; что сказано впрямь, что стороною; что шутки ради, что в наставленье.

1847



Петр Павлович Ершов

(1815—1869)

Родился в деревне близ города Ишима в семье небольшого чиновника. Учился в Тобольской гимназии, директором которой был И. П. Менделеев (отец будущего ученого), оказавший на Ершова большое влияние, а жил в купеческом доме, у родственников матери, где узнал многие русские сказки. В 1830—1835 годы учился в Петербургском университете на философско-юридическом отделении. Еще студентом Ершов написал лучшее свое произведение — сказку «Конек-Горбунок» (1834, полное издание 1856 г.). По окончании университета недолго жил в Петербурге, общался с литераторами, печатался в журналах «Библиотека для чтения», «Современник» и других. Написал в эти годы пьесу «Суворов и станционный смотритель» (1835), несколько рассказов и оперных либретто, одно из которых называлось «Страшный меч. Большая волшебно-героическая опера в 5-ти действиях» (тексты произведений для театра не сохранились). В 1836 году Ершов возвратился в Тобольск и начал преподавать в той же гимназии, где учился; сначала латынь, потом философию, словесность, кроме того, исполнял обязанности библиотекаря. В 1857 году стал директором гимназии и оставался на этой должности до конца жизни. На могиле писателя в Тобольске стоит мраморный памятник с надписью: «Петр Павлович Ершов, автор народной сказки «Конек-Горбунок».







КОНЕК-ГОРБУНОК



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Начинается сказка сказываться

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба — на земле
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села.
Там пшеницу продавали,
Деньги счетом принимали
И с набитою сумой
Возвращалися домой.

В долгом времени аль вскоре
Приключилося им горе:
Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить.
Мужички такой печали
Отродяся не видали;
Стали думать да гадать —
Как бы вора соглядать;
Наконец себе смекнули,
Чтоб стоять на карауле,
Хлеб ночами поберечь,
Злого вора подстеречь.

Вот, как стало лишь смеркаться,
Начал старший брат сбираться,
Вынул вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь ненастная настала;
На него боязнь напала,
И со страхов наш мужик
Закопался под сенник.
Ночь проходит, день приходит;
С сеннико́ дозорный сходит
И, облив себя водой,
Стал стучаться под избой:
«Эй вы, сонные тетери!
Отпирайте брату двери,
Под дождем я весь промок
С головы до самых ног».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И, прокашлявшись, сказал:
«Всю я ноченьку не спал;
На мое ж притом несчастье,
Было страшное ненастье:
Дождь вот так ливмя и лил,
Рубашонку всю смочил.
Уж куда как было скучно!..
Впрочем, все благополучно».
Похвалил его отец:
«Ты, Данило, молодец!
Ты вот, так сказать, примерно,

Сослужил мне службу верно,
То есть, будучи при всем,
Не ударил в грязь лицом».

Стало сызнова смеркаться,
Средний брат пошел сбираться;
Взял и вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь холодная настала,
Дрожь на малого напала,
Зубы начали плясать;
Он ударился бежать —
И всю ночь ходил дозором
У соседки под забором.
Жутко было молодцу!
Но вот утро. Он к крыльцу:
«Эй вы, сони! Что вы спите!
Брату двери отоприте;
Ночью страшный был мороз —
До животиков промерз».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И сквозь зубы отвечал:
«Всю я ноченьку не спал,
Да к моей судьбе несчастной
Ночью холод был ужасный,
До сердцов меня пробрал;
Всю я ночку проскакал;
Слишком было несподручно...
Впрочем, все благополучно».
И ему сказал отец:
«Ты, Гаврило, молодец!»

Стало в третий раз смеркаться,
Надо младшему сбираться;
Он и усом не ведет,
На печи в углу поет
Изо всей дурацкой мочи:
«Распрекрасные вы очи!»
Братья ну ему пенять,
Стали в поле погонять,

Но, сколь долго ни кричали,
Только голос потеряли:
Он ни с места. Наконец
Подошел к нему отец,
Говорит ему: «Послушай,
Побегай в дозор, Ванюша;
Я куплю тебе лубков,
Дам гороху и бобов».
Тут Иван с печи слезает
Малахай свой надевает,
Хлеб за пазуху кладет,
Караул держать идет.

Ночь настала; месяц всходит;
Поле все Иван обходит,
Озираючись кругом,
И садится под кустом;
Звезды на небе считает
Да краюшку уплетает.
Вдруг о полночь конь заржал...
Караульщик наш привстал,
Посмотрел под рукавицу
И увидел кобылицу.
Кобылица та была
Вся, как зимний снег, бела,
Грива в землю, золотая,
В мелки кольца завитая.
«Эхе-хе! так вот какой
Наш воришко!.. Но, постой,
Я шутить ведь не умею,
Разом сяду те на шею.
Вишь, какая саранча!»
И, минуту улуча,
К кобылице подбегает,
За волнистый хвост хватает
И прыгну́л к ней на хребет —
Только задом наперед.
Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась как стрела.
Вьется кругом над полями,
Виснет пластью надо рвами,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам,

Хочет силой аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном;
Но Иван и сам не прост —
Крепко держится за хвост.

Наконец она устала.
«Ну, Иван,— ему сказала,—
Коль умел ты усидеть,
Так тебе мной и владеть.
Дай мне место для покою
Да ухаживай за мною,
Сколько смыслишь. Да смотри:
По три утрени зари
Выпущай меня на волю
Погулять по чисту полю.
По исходе же трех дней
Двух рожу тебе коней —
Да таких, каких поныне
Не бывало и в помине;
Да еще рожу конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай
Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за черную, слышь, бабку.
На земле и под землей
Он товарищ будет твой:
Он зимой тебя согреет,
Летом холодом обвеет;
В голод хлебом угостит,
В жажду медом напоит.
Я же снова выйду в поле
Силы пробовать на воле».

«Ладно»,— думает Иван
И в пастуший балаган
Кобылицу загоняет,
Дверь рогожей закрывает,
И лишь только рассвело,
Отправляется в село,
Напевая громку песню
«Ходил мóлодец на Пресню».

Вот он всходит на крыльцо,
Вот хватает за кольцо,
Что есть силы в дверь стучится,
Чуть что кровля не валится,
И кричит на весь базар,
Словно сделался пожар.
Братья с лавок поскакали,
Заикаяся, вскричали:
«Кто стучится сильно так?» —
«Это я, Иван-дурак!»
Братья двери отворили,
Дурака в избу впустили
И давай его ругать, —
Как он смел их так пугать!
А Иван наш, не снимая
Ни лаптей, ни малахая,
Отправляется на печь
И ведет оттуда речь
Про ночное похожденье,
Всем ушам на удивленье:
«Всю я ноченьку не спал,
Звезды на небе считал;
Месяц, ровно, тоже свéтил, —
Я порядком не приметил.
Вдруг приходит дьявол сам,
С бородою и с усам;
Рожа словно как у кошки,
А глаза-то — что те плошки!
Вот и стал тот черт скакать
И зерно хвостом сбивать.
Я шутить ведь не умею —
И вскочи ему на шею.
Уж таскал же он, таскал,
Чуть башки мне не сломал.
Но и я ведь сам не промах,
Слышь, держал его, как в жóмах.
Бился, бился мой хитрец
И взмолился наконец:
«Не губи меня со света!
Целый год тебе за это
Обещаюсь смирно жить,
Православных не мутить».
Я, слышь, слов-то не померил,
Да чертенку и поверил».
Тут рассказчик замолчал,

Позевнул и задремал.
Братья, сколько ни серчали,
Не смогли — захохотали,
Ухватившись за бока,
Над рассказом дурака.
Сам старик не мог сдержаться,
Чтоб до слез не посмеяться,
Хоть смеяться — так оно
Старикам уж и грешно.

Много ль времени аль мало
С этой ночи пробежало,—
Я про это ничего
Не слыхал ни от кого.
Ну, да что нам в том за дело,
Год ли, два ли пролетело,—
Ведь за ними не бежать...
Станем сказку продолжать.
Ну-с, так вот что! Раз Данило
(В праздник, помнится, то было),
Натянувшись зельно пьян,
Затащился в балаган.
Что ж он видит? — Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку-конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
«Хм! теперь-то я узнал,
Для чего здесь дурень спал!»
Говорит себе Данило...
Чудо разом хмель посбило;
Вот Данило в дом бежит
И Гавриле говорит:
«Посмотри, каких красивых
Двух коней золотогривых
Наш дурак себе достал:
Ты и слыхом не слыхал».
И Данило да Гаврило,
Что в ногах их мочи было,
По крапиве прямиком
Так и дуют босиком.

Спотыкнувшися три раза,
Починивши оба глаза,
Потирая здесь и там,

Входят братья к двум коням.
Кони ржали и храпели,
Очи яхонтом горели;
В мелки кольца завитой,
Хвост струился золотой,
А алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты.
Любо-дорого смотреть!
Лишь царю б на них сидеть.
Братья так на них смотрели,
Что чуть-чуть не окривели.
«Где он это их достал? —
Старший среднему сказал,—
Но давно уж речь ведется,
Что лишь дурням клад дается,
Ты ж хоть лоб себе разбей,
Так не выбьешь двух рублей.
Ну, Гаврило, в ту седмицу
Отведем-ка их в столицу;
Там боярам продадим,
Деньги ровно поделим.
А с деньжонками, сам знаешь,
И попьешь и погуляешь,
Только хлопни по мешку.
А благому дураку
Не достанет ведь догадки,
Где гостят его лошадки;
Пусть их ищет там и сям.
Ну, приятель, по рукам!»
Братья разом согласились,
Обнялись, перекрестились
И вернулися домой,
Говоря промеж собой
Про коней, и про пирушку,
И про чу́дную зверушку.

Время катит чередом,
Час за часом, день за днем,—
И на первую седмицу
Братья едут в град-столицу,
Чтоб товар свой там продать
И на пристани узнать,
Не пришли ли с кораблями
Немцы в город за холстами

И нейдет ли царь Салтан
Басурманить христиан?
Вот иконам помолились,
У отца благословились,
Взяли двух коней тайком
И отправились тишком.

Вечер к ночи пробирался;
На ночлег Иван собрался;
Вдоль по улице идет,
Ест краюшку да поет.
Вот он поля достигает,
Руки в боки подпирает
И с прискочкой, словно пан,
Боком входит в балаган.
Все по-прежнему стояло,
Но коней как не бывало;
Лишь игрушка-горбунок
У его вертелся ног,
Хлопал с радости ушами
Да приплясывал ногами.
Как завоет тут Иван,
Опершись о балаган:
«Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!
Я ль вас, други, не ласкал.
Да какой вас черт украл?
Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке!
Чтоб ему на том светý
Провалиться на мосту!
Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!»

Тут конек ему заржал.
«Не тужи, Иван,— сказал,—
Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю,
Ты на черта не клепли:
Братья коников свели.
Ну, да что болтать пустое,
Будь, Иванушка, в покое.
На меня скорей садись,
Только знай себе держись;
Я хоть росту небольшого,

Да сменю коня другого:
Как пущусь да побегу,
Так и беса настигу».

Тут конек пред ним ложится;
На конька Иван садится,
Уши в за́греби берет,
Что есть мочушки ревет.
Горбунок-конек встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел;
Только пыльными клубами
Вихорь вился под ногами,
И в два мига, коль не в миг,
Наш Иван воров настиг.

Братья, то есть, испугались,
Зачесались и замялись.
А Иван им стал кричать:
«Стыдно, братья, воровать!
Хоть Ивана вы умнее,
Да Иван-то вас честнее:
Он у вас коней не крал».
Старший, корчась, тут сказал:
«Дорогой наш брат Иваша!
Что переться — дело наше!
Но возьми же ты в расчет
Некорыстный наш живот.
Сколь пшеницы мы ни сеем,
Чуть насущный хлеб имеем.
А коли́ неурожай,
Так хоть в петлю полезай!
Вот в такой большой печали
Мы с Гаврилой толковали
Всю намеднишнюю ночь —
Чем бы горюшку помочь?
Так и этак мы решили,
Наконец вот так вершили,
Чтоб продать твоих коньков
Хоть за тысячу рублев.
А в спасибо, молвить к слову,
Привезти тебе обнову —
Красну шапку с позвонком
Да сапожки с каблучком.
Да к тому ж старик неможет,

Работáть уже не может,
А ведь надо ж мыкать век,—
Сам ты умный человек!» —
«Ну, коль этак, так ступайте,—
Говорит Иван,— продайте
Златогривых два коня
Да возьмите ж и меня».
Братья больно покосились,
Да нельзя же! согласились.

Стало нá небе темнеть;
Воздух начал холодеть;
Вот, чтоб им не заблудиться,
Решено остановиться.
Под навесами ветвей
Привязали всех коней,
Принесли с естным лукошко,
Опохмелились немножко
И пошли, что боже даст,
Кто во что из них горазд.

Вот Данило вдруг приметил,
Что огонь вдали засвéтил.
На Гаврилу он взглянул,
Левым глазом подмигнул
И прикашлянул легонько,
Указав огонь тихонько;
Тут в затылке почесал,
«Эх, как темно! — он сказал.—
Хоть бы месяц этак в шутку
К нам проглянул на минутку,
Все бы легче. А теперь,
Право, хуже мы тетерь...
Да постой-ка... Мне сдается,
Что дымок там светлый вьется...
Видишь, эвон... Так и есть!..
Вот бы курево развесть!
Чудо было б!.. А послушай,
Побегáй-ка, брат Ванюша.
А, признаться, у меня
Ни огнива, ни кремня».
Сам же думает Данило:
«Чтоб тебя там задавило!»
А Гаврило говорит:
«Кто-петь знает, что горит!

Коль станичники пристали —
Поминай его, как звали!»

Все пустяк для дурака,
Он садится на конька,
Бьет в круты бока ногами,
Теребит его руками,
Изо всех горланит сил...
Конь взвился, и след простыл.
«Буди с нами крестна сила! —
Закричал тогда Гаврило,
Оградясь крестом святым.—
Что за бес такой под ним!»

Огонек горит светлее,
Горбунок бежит скорее.
Вот уж он перед огнем.
Светит поле словно днем;
Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится,
Диву дался тут Иван.
«Что,— сказал он,— за шайтан!
Шапок с пять найдется свету,
А тепла и дыму нету;
Эко чудо огонек!»

Говорит ему конек:
«Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы,
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою».
«Говори ты! как не так!»
Про себя ворчит дурак;
И, подняв перо Жар-птицы,
Завернул его в тряпицы,
Тряпки в шапку положил
И конька поворотил.
Вот он к братьям приезжает
И на спрос их отвечает:
«Как туда я доскакал,
Пень горелый увидал;
Уж над ним я бился, бился,
Так что чуть не надсадился;
Раздувал его я с час,

Нет ведь, черт возьми, угас!»
Братья целу ночь не спали,
Над Иваном хохотали;
А Иван под воз присел,
Вплоть до утра прохрапел.

Тут коней они впрягали
И в столицу приезжали,
Становились в конный ряд,
Супротив больших палат.

В той столице был обычай:
Коль не скажет городничий —
Ничего не покупать,
Ничего не продавать.
Вот обедня наступает;
Городничий выезжает
В туфлях, в шапке меховой,
С сотней стражи городской.
Рядом едет с ним глашатый,
Длинноусый, бородатый;
Он в злату трубу трубит,
Громким голосом кричит:
«Гости! Лавки отпирайте,
Покупайте, продавайте;
А надсмотрщикам сидеть
Подле лавок и смотреть,
Чтобы не было содому,
Ни давёжа, ни погрому,
И чтобы́ нико́й урод
Не обманывал народ!»
Гости лавки отпирают,
Люд крещеный закликают:
«Эй, честны́е господа,
К нам пожалуйте сюда!
Как у нас ли тары-бары,
Всяки разные товары!»
Покупальщики идут,
У гостей товар берут;
Гости денежки считают
Да надсмотрщикам мигают.

Между тем градской отряд
Приезжает в конный ряд;
Смотрят — давка от народу,
Нет ни выходу, ни входу;

Так кишма вот и кишат,
И смеются, и кричат.
Городничий удивился,
Что народ развеселился,
И приказ отряду дал,
Чтоб дорогу прочищал.
«Эй! вы, черти босоноги!
Прочь с дороги! Прочь с дороги!» —
Закричали усачи
И ударили в бичи.
Тут народ зашевелился,
Шапки снял и расступился.

Пред глазами конный ряд:
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой...
Наш старик, сколь ни был пылок,
Долго тер себе затылок.
«Чуден,— молвил,— божий свет,
Уж каких чудес в нем нет!»
Весь отряд тут поклонился,
Мудрой речи подивился.
Городничий между тем
Наказал престрого всем,
Чтоб коней не покупали,
Не зевали, не кричали;
Что он едет ко двору
Доложить о всем царю.
И, оставив часть отряда,
Он поехал для доклада.

Приезжает во дворец,
«Ты помилуй, царь-отец! —
Городничий восклицает
И всем телом упадает.—
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!»
Царь изволил молвить: «Ладно,
Говори, да только складно».—
«Как умею, расскажу:
Городничим я служу;
Верой-правдой исправляю
Эту должность...» — «Знаю, знаю!»

«Вот сегодня, взяв отряд,
Я поехал в конный ряд.
Приезжаю — тьма народу!
Ну, ни выходу, ни входу.
Что тут делать?.. Приказал
Гнать народ, чтоб не мешал,
Так и сталось, царь-надежа!
И поехал я,— и что же?..
Предо мною конный ряд:
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты».

Царь не мог тут усидеть.
«Надо ко́ней поглядеть,—
Говорит он,— да не худо
И завесть такое чудо.
Гей, повозку мне!» И вот
Уж повозка у ворот.
Царь умылся, нарядился
И на рынок покатился;
За царем стрельцов отряд.

Вот он въехал в конный ряд.
На колени все тут пали
И «ура!» царю кричали.
Царь раскланялся и вмиг
Молодцом с повозки прыг...
Глаз своих с коней не сводит,
Справа, слева к ним заходит,
Словом ласковым зовет,
По спине их тихо бьет,
Треплет шею их крутую,
Гладит гриву золотую,
И, довольно насмотрясь,
Он спросил, оборотясь
К окружавшим: «Эй, ребята!
Чьи такие жеребята?
Кто хозяин?» Тут Иван
Руки в боки, словно пан,
Из-за братьев выступает
И, надувшись, отвечает:

«Эта пара, царь, моя,
И хозяин — тоже я».—
«Ну, я пару покупаю;
Продаешь ты?» — «Нет, меняю».—
«Что в промен берешь добра?» —
«Два-пять шапок серебра». —
«То есть это будет десять».
Царь тотчас велел отвесить
И, по милости своей,
Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!

Повели коней в конюшни
Десять конюхов седых,
Все в нашивках золотых,
Все с цветными кушаками
И с сафьянными бичами.
Но доро́гой, как на смех,
Кони с ног их сбили всех,
Все уздечки разорвали
И к Ивану прибежали.

Царь отправился назад,
Говорит ему: «Ну, брат,
Пара нашим не дается;
Делать нечего, придется
Во дворце тебе служить;
Будешь в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Всю конюшенну мою
Я в приказ тебе даю,
Царско слово в том порука.
Что, согласен?» — «Эка штука!
Во дворце я буду жить,
Буду в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Весь конюшенный завод
Царь в приказ мне отдает;
То есть я из огорода
Стану царский воевода.
Чу́дно дело! Так и быть,
Стану, царь, тебе служить.
Только, чур, со мной не драться
И давать мне высыпаться,
А не то я был таков!»

Тут он кликнул скакунов
И пошел вдоль по столице,
Сам махая рукавицей,
И под песню дурака
Кони пляшут трепака;
А конек его — горбатко —
Так и ломится вприсядку,
К удивленью людям всем.

Два же брата между тем
Деньги царски получили,
В опояски их зашили,
Постучали ендовой
И отправились домой.
Дома дружно поделились,
Оба враз они женились,
Стали жить да поживать,
Да Ивана поминать.

Но теперь мы их оставим,
Снова сказкой позабавим
Православных христиан,
Что наделал наш Иван,
Находясь во службе царской
При конюшне государской;
Как в суседки он попал,
Как перо свое проспал,
Как хитро́ поймал Жар-птицу,
Как похитил Царь-девицу,
Как он ездил за кольцом,
Как был на́ небе послом,
Как он в Солнцевом селенье
Ки́ту выпросил прощенье;
Как, к числу других затей,
Спас он тридцать кораблей;
Как в котлах он не сварился,
Как красавцем учинился;
Словом: наша речь о том,
Как он сделался царем.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Скоро сказка сказывается,
а не скоро дело делается

Зачинается рассказ
От Ивановых проказ,
И от сивка, и от бурка,
И от вещего каурка.
Козы на море ушли;
Горы лесом поросли;
Конь с златой узды срывался,
Прямо к солнцу поднимался;
Лес стоячий под ногой,
Сбоку облак громовой;
Ходит облак и сверкает,
Гром по небу рассыпает.
Это присказка: пожди,
Сказка будет впереди.
Как на море-окияне
И на острове Буяне
Новый гроб в лесу стоит,
В гробе девица лежит;
Соловей над гробом свищет;
Черный зверь в дубраве рыщет.
Это присказка, а вот —
Сказка чередом пойдет.

Ну, так видите ль, миряне,
Православны христиане,
Наш удалый молодец
Затесался во дворец;
При конюшне царской служит
И нисколько не потужит
Он о братьях, об отце
В государевом дворце.
Да и что ему до братьев?
У Ивана красных платьев,
Красных шапок, сапогов
Чуть не десять коробов;
Ест он сладко, спит он столько,
Что раздолье, да и только!

Вот неделей через пять
Начал спальник примечать...
Надо молвить, этот спальник
До Ивана был начальник
Над конюшной надо всей,
Из боярских слыл детей;
Так не диво, что он злился
На Ивана и божился
Хоть пропасть, а пришлеца
Потурить вон из дворца.
Но, лукавство сокрывая,
Он для всякого случа́я
Притворился, плут, глухим,
Близоруким и немым;
Сам же думает: «Постой-ка,
Я те двину, неумойка!»
Так, неделей через пять,
Спальник начал примечать,
Что Иван коней не холит,
И не чистит, и не школит;
Но при всем том два коня
Словно лишь из-под гребня:
Чисто-начисто обмыты,
Гривы в косы перевиты,
Челки собраны в пучок,
Шерсть — ну, лоснится, как шелк;
В стойлах — свежая пшеница,
Словно тут же и родится,

И в чанах больших сыта́
Будто только налита.
«Что за притча тут такая? —
Спальник думает, вздыхая,—
Уж не ходит ли, постой,
К нам проказник домовой?
Дай-ка я подкараулю,
А нешто, так я и пулю,
Не смигнув, умею слить,—
Лишь бы дурня уходить.
Донесу я в думе царской,
Что конюший государской —
Басурманин, ворожей,
Чернокнижник и злодей;
Что он с бесом хлеб-соль водит,
В церковь божию не ходит,
Католицкий держит крест
И постами мясо ест».
В тот же вечер этот спальник,
Прежний ко́нюший начальник,
В стойлы спрятался тайком
И обсыпался овсом.

Вот и полночь наступила.
У него в груди заныло:
Он ни жив, ни мертв лежит,
Сам молитвы все творит,
Ждет суседки... Чу! в сам-деле,
Двери глухо заскрипели,
Кони топнули, и вот
Входит старый коновод.
Дверь задвижкой запирает,
Шапку бережно скидает,
На окно ее кладет
И из шапки той берет
В три завернутый тряпицы
Царский клад — перо Жар-птицы.
Свет такой тут заблистал,
Что чуть спальник не вскричал
И от страху так забился,
Что овес с него свалился.
Но суседке невдомек!
Он кладет перо в сусек,
Чистить ко́ней начинает,
Умывает, убирает,

Гривы длинные плетет,
Разны песенки поет.
А меж тем, свéрнувшись клубом,
Поколачивая зубом,
Смотрит спальник, чуть живой,
Что тут деет домовой.
Что за бес! Нешто нарочно
Прирядился плут полночный:
Нет рогов, ни бороды,
Ражий парень, хоть куды!
Волос гладкий, сбоку ленты,
На рубашке прозументы,
Сапоги как ал сафьян,—
Ну, точнехонько Иван.
Что за диво? Смотрит снова
Наш глазей на домового...
«Э! так вот что! — наконец
Проворчал себе хитрец.—
Ладно, завтра ж царь узнает,
Что твой глупый ум скрывает.
Подожди лишь только дня,
Будешь помнить ты меня!»
А Иван, совсем не зная,
Что ему беда такая
Угрожает, все плетет
Гривы в косы да поет;
А убрав их, в оба чана
Нацедил сыты медвяной
И насыпал дополна
Белоярова пшена.
Тут, зевнув, перо Жар-птицы
Завернул опять в тряпицы,
Шапку пóд ухо — и лег
У коней близ задних ног.

Только начало зориться,
Спальник начал шевелиться.
И, услыша, что Иван
Так храпит, как Еруслан,
Он тихонько вниз слезает
И к Ивану подползает,
Пальцы в шапку запустил,
Хвать перо — и след простыл.

Царь лишь только пробудился,
Спальник наш к нему явился,
Стукнул крепко об пол лбом
И запел царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить».—
«Говори, не прибавляя,—
Царь сказал ему, зевая,—
Если ж ты да будешь врать,
То кнута не миновать».
Спальник наш, собравшись с силой,
Говорит царю: «Помилуй!
Вот те истинный Христос,
Справедлив мой, царь, донос:
Наш Иван, то всякий знает,
От тебя, отец, скрывает,
Но не злато, не сребро —
Жароптицево перо...» —
«Жароптицево?.. Проклятый!
И он смел такой богатый...
Погоди же ты, злодей!
Не минуешь ты плетей!..» —
«Да и то ль еще он знает! —
Спальник тихо продолжает,
Изогнувшися.— Добро!
Пусть имел бы он перо;
Да и самую Жар-птицу
Во твою, отец, светлицу,
Коль приказ изволишь дать,
Похваляется достать».
И доносчик с этим словом,
Скрючась обручем таловым,
Ко кровати подошел,
Подал клад — и снова в пол.

Царь смотрел и дивовался,
Гладил бороду, смеялся
И скусил пера конец.
Тут, уклав его в ларец,
Закричал (от нетерпенья),
Подтвердив свое веленье
Быстрым взмахом кулака:
«Гей! Позвать мне дурака!»

И посыльные дворяна
Побежали по Ивана,
Но, столкнувшись все в углу,
Растянулись на полу.
Царь тем много любовался
И до ко́лотья смеялся.
А дворяна, усмотря,
Что смешно то для царя,
Меж собой перемигнулись
И вдруго́рядь растянулись.
Царь тем так доволен был,
Что их шапкой наградил.
Тут посыльные дворяна
Вновь пустились звать Ивана
И на этот уже раз
Обошлися без проказ.

Вот к конюшне прибегают,
Двери настежь отворяют
И ногами дурака
Ну толкать во все бока.
С полчаса над ним возились,
Но его не добудились,
Наконец уж рядовой
Разбудил его метлой.

«Что за челядь тут такая? —
Говорит Иван, вставая,—
Как хвачу я вас бичом,
Так не станете потом
Без пути будить Ивана!»
Говорят ему дворяна:
«Царь изволил приказать,
Нам тебя к нему позвать».
«Царь?.. Ну ладно! Вот сряжуся
И тотчас к нему явлюся»,—
Говорит послам Иван.
Тут надел он свой кафтан,
Опояской подвязался,
Приумылся, причесался,
Кнут свой сбоку прицепил,
Словно утица поплыл.

Вот Иван к царю явился,
Поклонился, подбодрился,

Крякнул дважды и спросил:
«А пошто меня будил?»
Царь, прищурясь глазом левым,
Закричал к нему со гневом,
Приподнявшися: «Молчать!
Ты мне должен отвечать:
В силу коего указа
Скрыл от нашего ты глаза
Наше царское добро —
Жароптицево перо?
Что я — царь али боярин?
Отвечай сейчас, татарин!»
Тут Иван, махнув рукой,
Говорит царю: «Постой!
Я те шапки, ровно, не дал,
Как же ты о том проведал?
Что ты — ажно ты пророк?
Ну, да что, сади в острог,
Прикажи сейчас хоть в палки,—
Нет пера, да и шабалки!..» —
«Отвечай же! Запорю!..» —
«Я те толком говорю:
Нет пера! Да, слышь, откуда
Мне достать такое чудо?»
Царь с кровати тут вскочил
И ларец с пером открыл.
«Что? Ты смел еще переться?
Да уж нет, не отвертеться!
Это что? А?» Тут Иван,
Задрожав, как лист в буран,
Шапку выронил с испуга.
«Что, приятель, видно туго? —
Молвил царь.— Постой-ка, брат!..» —
«Ох, помилуй, виноват!
Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж врать не стану!»
И, закутавшись в полу,
Растянулся на полу.
«Ну, для первого случáю
Я вину тебе прощаю,—
Царь Ивану говорит.—
Я, помилуй бог, сердит!
И с сердцов иной порою
Чуб сниму, и с головою.
Так вот, видишь, я каков!

Но, сказать без дальних слов,
Я узнал, что ты Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,
Если б вздумал приказать,
Похваляешься достать.
Ну, смотри ж, не отпирайся
И достать ее старайся».
Тут Иван волчком вскочил.
«Я того не говорил! —
Закричал он, утираясь.—
О пере не запираюсь,
Но о птице, как ты хошь,
Ты напраслину ведешь».
Царь, затрясши бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он.— Но смотри!
Если ты недели в три
Не достанешь мне Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой!
Ты поплатишься со мной:
На правеж — в решетку — нá кол!
Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

Горбунок, его почуя,
Дрягнул было плясовую;
Но, как слезы увидал,
Сам чуть-чуть не зарыдал.
«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорил ему конек,
У его вертяся ног.—
Не утайся предо мною,
Все скажи, что за душою;
Я помочь тебе готов.
Аль, мой милый, нездоров?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал.—
Царь велит достать Жар-птицу
В государскую светлицу.
Что мне делать, горбунок?»

Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня:
Помнишь, ехав в град-столицу,
Ты нашел перо Жар-птицы;
Я сказал тебе тогда:
«Не бери, Иван,— беда!
Много, много непокою
Принесет оно с собою».
Вот теперя ты узнал.
Правду ль я тебе сказал.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это — службишка, не служба,
Служба все, брат, впереди.
Ты к царю теперь поди
И скажи ему открыто:
«Надо, царь, мне два корыта
Белоярова пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход».

Тут Иван к царю идет,
Говорит ему открыто:
«Надо, царь, мне два корыта
Белоярова пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход».
Царь тотчас приказ дает,
Чтоб посыльные дворяна
Все сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано
Разбудил конек Ивана.
«Гей! Хозяин! Полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял корыта, и пшено,

И заморское вино;
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток —
Доставать тоё Жар-птицу.

Едут целую седмицу.
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой,
Тут сказал конек Ивану:
«Ты увидишь здесь поля́ну;
На поляне той гора,
Вся из чистого сребра;
Вот сюда-то до зарницы
Прилетают жа́ры-птицы
Из ручья воды испить;
Тут и будем их ловить».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает на поляну.
Что за поле! Зелень тут
Словно камень изумруд;
Ветерок над нею веет,
Так вот искорки и сеет;
А по зелени цветы
Несказа́нной красоты.
А на той ли на поляне,
Словно вал на окияне,
Возвышается гора
Вся из чистого сребра.
Солнце летними лучами
Красит всю ее зарями,
В сгибах золотом бежит,
На верхах свечой горит

Вот конек по косогору
Поднялся на эту гору,
Версту, дру́гу пробежал,
Устоялся и сказал:
«Скоро ночь, Иван, начнется,
И тебе стеречь придется.
Ну, в корыто лей вино
И с вином мешай пшено.
А чтоб быть тебе закрыту,
Ты под то подлезь корыто,

Втихомолку примечай,
Да смотри же, не зевай.
До восхода, слышь, зарницы
Прилетят сюда жар-птицы
И начнут пшено клевать
Да по-своему кричать.
Ты, которая поближе,
И схвати ее, смотри же!
А поймаешь птицу-жар —
И кричи на весь базар;
Я тотчас к тебе явлюся».
«Ну, а если обожгуся? —
Говорит коньку Иван,
Расстилая свой кафтан.—
Рукавички взять придется,
Чай, плутовка больно жгется».
Тут конек из глаз исчез,
А Иван, кряхтя, подлез
Под дубовое корыто
И лежит там как убитый.

Вот полночною порой
Свет разлился над горой,
Будто полдни наступают:
Жáры-птицы налетают;
Стали бегать и кричать
И пшено с вином клевать.
Наш Иван, от них закрытый,
Смотрит птиц из-под корыта
И толкует сам с собой,
Разводя вот так рукой:
«Тьфу ты, дьявольская сила!
Эк их, дряни, привалило!
Чай, их тут десятков с пять.
Кабы всех переимать —
То-то было бы поживы!
Неча молвить, страх красивы!
Ножки красные у всех;
А хвосты-то — сущий смех!
Чай, таких у куриц нету;
А уж сколько, парень, свету —
Словно батюшкина печь!»
И, скончав такую речь,
Сам с собою под лазейкой,
Наш Иван ужом да змейкой

Ко пшену с вином подполз —
Хвать одну из птиц за хвост.
«Ой! Конечек-горбуночек!
Прибегай скорей, дружочек!
Я ведь птицу-то поймал!» —
Так Иван-дурак кричал.
Горбунок тотчас явился.
«Ай, хозяин, отличился! —
Говорит ему конек.—
Ну, скорей ее в мешок!
Да завязывай тужее;
А мешок привесь на шею,
Надо нам в обратный путь».
«Нет, дай птиц-то мне пугнуть! —
Говорит Иван.— Смотри-ка,
Вишь, надселися от крика!»
И, схвативши свой мешок,
Хлещет вдоль и поперек.
Ярким пламенем сверкая,
Встрепенулася вся стая,
Кру́гом огненным свилась
И за тучи понеслась.
А Иван наш вслед за ними
Рукавицами своими
Так и машет и кричит,
Словно щелоком облит.
Птицы в тучах потерялись;
Наши путники собрались,
Уложили царский клад
И вернулися назад.

Вот приехали в столицу.
«Что достал ли ты Жар-птицу?» —
Царь Ивану говорит,
Сам на спальника глядит.
А уж тот, нешто от скуки,
Искусал себе все руки.
«Разумеется, достал»,—
Наш Иван царю сказал.
«Где ж она?» — «Постой немножко,
Прикажи сперва окошко
В почивальне затворить,
Знашь, чтоб темень сотворить».
Тут дворяна побежали
И окошко затворяли.

Вот Иван мешок на стол.
«Ну-ка, бабушка, пошел!»
Свет такой тут вдруг разлился,
Что весь люд рукой закрылся.
Царь кричит на весь базар:
«Ахти, батюшки, пожар!
Эй, решеточных сзывайте!
Заливайте! Заливайте!» —
«Это, слышь ты, не пожар,
Это свет от птицы-жар,—
Молвил ловчий, сам со смеху,
Надрываяся.— Потеху
Я привез те, осударь!»
Говорит Ивану царь:
«Вот люблю дружка Ванюшу!
Взвеселил мою ты душу,
И на радости такой —
Будь же царский стремянной!»

Это видя, хитрый спальник,
Прежний конюших начальник,
Говорит себе под нос:
«Нет, постой, молокосос!
Не всегда тебе случится
Так канальски отличиться,
Я те снова подведу,
Мой дружочек, под беду!»

Через три потом недели
Вечерком одним сидели
В царской кухне повара
И служители двора,
Попивали мед из жбана
Да читали Еруслана.
«Эх,— один слуга сказал,—
Как севодни я достал
От соседа чудо-книжку!
В ней страниц не так чтоб слишком,
Да и сказок только пять,
А уж сказки — вам сказать,
Так не можно надивиться;
Надо ж этак умудриться!»
Тут все в голос: «Удружи!
Расскажи, брат, расскажи!» —
«Ну, какую ж вы хотите?

Пять ведь сказок; вот смотрите:
Перва сказка *о бобре,*
А вторая *о царе,*
Третья... дай бог память... точно!
О боярыне восточной;
Вот в четвертой: *князь Бобыл;*
В пятой... в пятой... эх, забыл!
В пятой сказке говорится...
Так в уме вот и вертится...» —
«Ну, да брось ее!» — «Постой!..» —
«О красотке, что ль, какой?» —
«Точно! В пятой говорится
О прекрасной Царь-девице.
Ну, которую ж, друзья,
Расскажу сегодня я?» —
«Царь-девицу! — все кричали, —
О царях мы уж слыхали,
Нам красоток-то скорей!
Их и слушать веселей».
И слуга, усевшись важно,
Стал рассказывать протяжно:

«У далеких немских стран
Есть, ребята, окиян.
По тому ли окияну
Ездят только басурманы;
С православной же земли
Не бывали николи
Ни дворяне, ни миряне
На поганом окияне.
От гостей же слух идет,
Что девица там живет;
Но девица не простая,
Дочь, вишь, Месяцу родная,
Да и Солнышко ей брат.
Та девица, говорят,
Ездит в красном полушубке,
В золотой, ребята, шлюпке
И серебряным веслом
Самолично правит в нем;
Разны песни попевает
И на гусельках играет...»

Спальник тут с полатей скок —
И со всех обеих ног
Во дворец к царю пустился

И как раз к нему явился,
Стукнул крепко об пол лбом
И запел царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!» —
«Говори, да правду только
И не ври, смотри, нисколько!» —
Царь с кровати закричал.
Хитрый спальник отвечал:
«Мы сегодня в кухне были,
За твое здоровье пили,
А один из дворских слуг
Нас забавил сказкой вслух;
В этой сказке говорится
О прекрасной Царь-девице.
Вот твой царский стремянной
Поклялся твоей брадой,
Что он знает эту птицу —
Так он на́звал Царь-девицу, —
И ее, изволишь знать,
Похваляется достать».
Спальник стукнул об пол снова.
«Гей, позвать мне стремяннова!» —
Царь посыльным закричал.
Спальник тут за печку стал;
А посыльные дворяна
Побежали по Ивана;
В крепком сне его нашли
И в рубашке привели.

Царь так начал речь: «Послушай,
На тебя донос, Ванюша.
Говорят, что вот сейчас
Похвалялся ты для нас
Отыскать другую птицу,
Сиречь молвить, Царь-девицу...» —
«Что ты, что ты, бог с тобой! —
Начал царский стремянной. —
Чай, спросонков, я толкую,
Штуку выкинул такую.
Да хитри себе, как хошь,
А меня не проведешь».

Царь, затрясши бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он. — Но смотри,
Если ты недели в три
Не достанешь Царь-девицу
В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой,
Ты поплатишься со мной:
На правёж — в решетку — нá кол!
Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек.—
Аль, мой милый, занемог?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал.—
Царь велит в свою светлицу
Мне достать, слышь, Царь-девицу.
Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это — службишка, не служба;
Служба все, брат, впереди!
Ты к царю теперь поди
И скажи: «Ведь для поимки
Надо, царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья —
И сластей для прохлажденья».

Вот Иван к царю идет
И такую речь ведет:
«Для царевниной поимки
Надо, царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер

Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья —
И сластей для прохлажденья».—
«Вот давно бы так, чем нет».—
Царь с кровати дал ответ
И велел, чтобы дворяна
Все сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей! Хозяин! полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял ширинки и шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья —
И сластей для прохлажденья;
Все в мешок дорожный склал
И веревкой завязал,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток
По тоё ли Царь-девицу.

Едут целую седмицу;
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой.
Тут сказал конек Ивану:
«Вот дорога к окияну,
И на нем-то круглый год
Та красавица живет;
Два разá она лишь сходит
С окияна и приводит
Долгий день на землю к нам.
Вот увидишь завтра сам».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает к окияну,
На котором белый вал
Одинешенек гулял.
Тут Иван с конька слезает,

А конек ему вещает:
«Ну, раскидывай шатер,
На ширинку ставь прибор
Из заморского варенья
И сластей для прохлажденья.
Сам ложися за шатром
Да смекай себе умом.
Видишь, шлюпка вон мелькает...
То царевна подплывает.
Пусть в шатер она войдет,
Пусть покушает, попьет;
Вот, как в гусли заиграет —
Знай, уж время наступает.
Ты тотчас в шатер вбегай,
Ту царевну сохватай,
И держи ее сильнее,
Да зови меня скорее.
Я на первый твой приказ
Прибегу к тебе как раз,
И поедем... Да смотри же,
Ты гляди за ней поближе,
Если ж ты ее проспишь,
Так беды не избежишь».
Тут конек из глаз сокрылся,
За шатер Иван забился
И давай диру вертеть,
Чтоб царевну подсмотреть.

Ясный полдень наступает;
Царь-девица подплывает,
Входит с гуслями в шатер
И садится за прибор.
«Хм! Так вот та Царь-девица!
Как же в сказках говорится,—
Рассуждает стремянной,—
Что куда красна собой
Царь-девица, так что диво!
Эта вовсе не красива:
И бледна-то и тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
А ножонка-то, ножонка!
Тьфу ты! Словно у цыпленка!
Пусть полюбится кому,
Я и даром не возьму».
Тут царевна заиграла

И столь сладко припевала,
Что Иван, не зная как,
Прикорнулся на кулак;
И под голос тихий, стройный
Засыпает преспокойно.

Запад тихо догорал.
Вдруг конек над ним заржал
И, толкнув его копытом,
Крикнул голосом сердитым:
«Спи, любезный, до звезды!
Высыпай себе беды!
Не меня ведь вздернут на кол!»
Тут Иванушка заплакал
И, рыдаючи, просил,
Чтоб конек его простил.
«Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж спать не стану».
«Ну, уж бог тебя простит! —
Горбунок ему кричит, —
Все поправим, может статься,
Только, чур, не засыпаться;
Завтра, рано поутру,
К златошвейному шатру
Приплывет опять девица —
Меду сладкого напиться.
Если ж снова ты заснешь,
Головы уж не снесешь».
Тут конек опять сокрылся;
А Иван сбирать пустился
Острых камней и гвоздей
От разбитых кораблей
Для того, чтоб уколоться,
Если вновь ему вздремнется.

На другой день, поутру,
К златошвейному шатру
Царь-девица подплывает,
Шлюпку на берег бросает,
Входит с гуслями в шатер
И садится за прибор...
Вот царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иванушке опять

Захотелося поспать.
«Нет, постой же ты, дрянная! —
Говорит Иван, вставая.—
Ты вдругорядь не уйдешь
И меня не проведешь».
Тут в шатер Иван вбегает,
Косу длинную хватает...
«Ой, беги, конек, беги!
Горбунок мой, помоги!»
Вмиг конек к нему явился.
«Ай, хозяин, отличился!
Ну, садись же поскорей,
Да держи ее плотней!»

Вот столицы достигает.
Царь к царевне выбегает.
За белы руки берет,
Во дворец ее ведет
И садит за стол дубовый
И под занавес шелковый,
В глазки с нежностью глядит,
Сладки речи говорит:
«Бесподобная девица!
Согласися быть царица!
Я тебя едва узрел —
Сильной страстью воскипел.
Соколины твои очи
Не дадут мне спать средь ночи
И во время бела дня,
Ох! измучают меня.
Молви ласковое слово!
Все для свадьбы уж готово;
Завтра ж утром, светик мой,
Обвенчаемся с тобой
И начнем жить припевая».
А царевна молодая,
Ничего не говоря,
Отвернулась от царя.
Царь нисколько не сердился,
Но сильней еще влюбился;
На колен пред нею стал,
Ручки нежно пожимал
И балясы начал снова:
«Молви ласковое слово!
Чем тебя я огорчил?

Али тем, что полюбил?
О, судьба моя плачевна!»
Говорит ему царевна:
«Если хочешь взять меня,
То доставь ты мне в три дня
Перстень мой из окияна!»
«Гей! Позвать ко мне Ивана!»
Царь поспешно закричал
И чуть сам не побежал.

Вот Иван к царю явился,
Царь к нему оборотился
И сказал ему: «Иван!
Поезжай на окиян;
В окияне том хранится
Перстень, слышь ты, Царь-девицы.
Коль достанешь мне его,
Задарю тебя всего».—
«Я и с первой-то дороги
Волочу насилу ноги —
Ты опять на окиян!» —
Говорит царю Иван.
«Как же, плут, не торопиться:
Видишь, я хочу жениться! —
Царь со гневом закричал
И ногами застучал.—
У меня не отпирайся,
А скорее отправляйся!»
Тут Иван хотел идти.
«Эй, послушай! По пути,—
Говорит ему царица,—
Заезжай ты поклониться
В изумрудный терем мой
Да скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик свой ясный от меня?
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?
Не забудь же!» — «Помнить буду,
Если только не забуду;
Да ведь надо же узнать,

Кто те братец, кто те мать,
Чтоб в родне-то нам не сбиться».
Говорит ему царица:
«Месяц — мать мне, Солнце — брат».
«Да смотри в три дня назад!» —
Царь-жених к тому прибавил.
Тут Иван царя оставил
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил?» —
Говорит ему конек.
«Помоги мне, горбунок!
Видишь, вздумал царь жениться,
Знашь, на тоненькой царице,
Так и шлет на окиян,—
Говорит коньку Иван,—
Дал мне сроку три дня только;
Тут попробовать изволь-ка
Перстень дьявольский достать!
Да велела заезжать
Эта тонкая царица
Где-то в терем поклониться
Солнцу, Месяцу, притом
И спрошать кое об чем...»
Тут конек: «Сказать по дружбе,
Это — службишка, не служба;
Служба все, брат, впереди!
Ты теперя спать поди;
А назавтра, утром рано,
Мы поедем к окияну».

На другой день наш Иван,
Взяв три луковки в карман,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся
И поехал в дальний путь...
Дайте, братцы, отдохнуть!





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Доселева Макар огороды копал,
а нынече Макар в воеводы попал

Та-ра-ра-ли, та-ра-ра!
Вышли кони со двора;
Вот крестьяне их поймали
Да покрепче привязали.
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу;
Как во трубушку играет,
Православных потешает:
«Эй! Послушай, люд честной!
Жили-были муж с женой;
Муж-то примется за шутки,
А жена за прибаутки,
И пойдет у них тут пир,
Что на весь крещеный мир!»
Это присказка ведется,
Сказка пóслее начнется.
Как у наших у ворот
Муха песенку поет:
«Что дадите мне за вестку?
Бьет свекровь свою невестку:
Посадила на шесток,

Привязала за шнурок,
Ручки к ножкам притянула,
Ножку правую разула:
«Не ходи ты по зарям!
Не кажися молодцам!»
Это присказка велася,
Вот и сказка началася.

Ну-с, так едет наш Иван
За кольцом на окиян.
Горбунок летит, как ветер,
И в почин на первый вечер
Верст сто тысяч отмахал
И нигде не отдыхал.

Подъезжая к окияну,
Говорит конек Ивану:
«Ну, Иванушка, смотри,
Вот минутки через три
Мы приедем на поляну —
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо Рыба-кит;
Десять лет уж он страдает,
А доселева не знает,
Чем прощенье получить;
Он учнет тебя просить,
Чтоб ты в Солнцевом селенье
Попросил ему прощенье;
Ты исполнить обещай,
Да, смотри ж, не забывай!»
Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо Рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички на гу́бе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.

Вот конек бежит по киту,
По костям стучит копытом.
Чудо-юдо Рыба-кит
Так проезжим говорит,
Рот широкий отворяя,
Тяжко, горько воздыхая:
«Путь-дорога, господа!
Вы откуда и куда?»
«Мы послы от Царь-девицы,
Едем оба из столицы,—
Говорит киту конек,—
К Солнцу прямо на восток,
Во хоромы золотые».—
«Так нельзя ль, отцы родные,
Вам у Солнышка спросить:
Долго ль мне в опале быть,
И за кои прегрешенья
Я терплю беды-мученья?» —
«Ладно, ладно, Рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
«Будь отец мне милосердный!
Вишь, как мучуся я, бедный!
Десять лет уж тут лежу...
Я и сам те услужу!..» —
Кит Ивана умоляет,
Сам же горько воздыхает.
«Ладно, ладно, Рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
Тут конек под ним забился,
Прыг на берег и пустился;
Только видно, как песок
Вьется вихорем у ног.

Едут близко ли, далеко,
Едут низко ли, высоко
И увидели ль кого —
Я не знаю ничего.
Скоро сказка говорится,
Дело мешкотно творится.
Только, братцы, я узнал,
Что конек туда вбежал,
Где (я слышал стороною)
Небо сходится с землею,
Где крестьянки лен прядут,
Прялки на небо кладут.

Тут Иван с землей простился
И на небе очутился,
И поехал, будто князь,
Шапка набок, подбодрясь.
«Эко диво! Эко диво!
Наше царство хоть красиво,—
Говорит коньку Иван
Средь лазоревых полян,—
А как с небом-то сравнится,
Так под стельку не годится.
Что земля-то!.. Ведь она
И черна-то и грязна;
Здесь земля-то голубая,
А уж светлая какая!..
Посмотри-ка, горбунок,
Видишь, вон где, на восток,
Словно светится зарница...
Чай, небесная светлица...
Что-то больно высока!» —
Так спросил Иван конька.
«Это терем Царь-девицы,—
Нашей будущей царицы,—
Горбунок ему кричит,—
По ночам здесь Солнце спит,
А полуденной порою
Месяц входит для покою».

Подъезжают; у ворот
Из столбов хрустальный свод:
Все столбы те завитые
Хитро в змейки золотые;
На верхушках три звезды,
Вокруг терема сады;
На серебряных там ветках,
В раззолоченных во клетках
Птицы райские живут,
Песни царские поют.
А ведь терем с теремами
Будто город с деревнями;
А на тереме из звезд —
Православный русский крест.

Вот конек во двор въезжает;
Наш Иван с него слезает,
В терем к Месяцу идет
И такую речь ведет:

«Здравствуй, Месяц Месяцович!
Я — Иванушка Петрович,
Из далеких я сторон
И привез тебе поклон».—
«Сядь, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович.—
И поведай мне вину
В нашу светлую страну
Твоего с земли прихода;
Из какого ты народа,
Как попал ты в этот край,—
Все скажи мне, не утай».—
«Я с земли пришел Землянской,
Из страны ведь христианской,—
Говорит, садясь, Иван,—
Переехал окиян
С порученьем от царицы —
В светлый терем поклониться
И сказать вот так, постой!
«Ты скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик какой-то от меня;
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?»
Так, кажися? Мастерица
Говорить красно́ царица;
Не припомнишь все сполна,
Что сказала мне она».—
«А какая то царица?» —
«Это, знаешь, Царь-девица».—
«Царь-девица?.. Так она,
Что ль, тобой увезена?» —
Вскрикнул Месяц Месяцович.
А Иванушка Петрович
Говорит: «Известно, мной!
Вишь, я царский стремянной;
Ну, так царь меня отправил,
Чтобы я ее доставил
В три недели во дворец;
А не то меня отец
Посадить грозился на́ кол».

Месяц с радости заплакал,
Ну Ивана обнимать,
Целовать и миловать.
«Ах, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович.—
Ты принес такую весть,
Что не знаю, чем и счесть!
А уж мы как горевали,
Что царевну потеряли!..
Оттого-то, видишь, я
По три ночи, по три дня
В темном облаке ходила,
Все грустила да грустила,
Трое суток не спала,
Крошки хлеба не брала,
Оттого-то сын мой красный
Завернулся в мрак ненастный,
Луч свой жаркий погасил,
Миру божью не светил:
Все грустил, вишь, по сестрице,
Той ли красной Царь-девице.
Что, здорова ли она?
Не грустна ли, не больна?» —
«Всем бы, кажется, красотка,
Да у ней, кажись, сухотка:
Ну, как спичка, слышь, тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
Вот как замуж-то поспеет,
Так небось и потолстеет:
Царь, слышь, женится на ней».
Месяц вскрикнул: «Ах, злодей!
Вздумал в семьдесят жениться
На молоденькой девице!
Да стою я крепко в том —
Просидит он женихом!
Вишь, что старый хрен затеял:
Хочет жать там, где не сеял!
Полно, лаком больно стал!»
Тут Иван опять сказал:
«Есть еще к тебе прошенье,
То о китовом прощенье...
Есть, вишь, море; чудо-кит
Поперек его лежит:
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты...

Он, бедняк, меня прошал,
Чтобы я тебя спрошал:
Скоро ль кончится мученье?
Чем сыскать ему прощенье?
И на что он тут лежит?»
Месяц ясный говорит:
«Он за то несет мученье,
Что без божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
Снимет бог с него невзгоду.
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».

Тут Иванушка поднялся,
С светлым Месяцем прощался,
Крепко шею обнимал,
Трижды в щеки целовал.
«Ну, Иванушка Петрович!—
Молвил Месяц Месяцович.—
Благодарствую тебя
За сынка и за себя.
Отнеси благословенье
Нашей дочке в утешенье
И скажи моей родной:
«Мать твоя всегда с тобой;
Полно плакать и крушиться:
Скоро грусть твоя решится,—
И не старый, с бородой,
А красавец молодой
Поведет тебя к налою».
Ну, прощай же! Бог с тобою!»
Поклонившись, как умел,
На конька Иван тут сел,
Свистнул, будто витязь знатный,
И пустился в путь обратный.

На другой день наш Иван
Вновь пришел на окиян.
Вот конек бежит по ки́ту
По костям стучит копытом.
Чудо-юдо Рыба-кит
Так, вздохнувши, говорит:
«Что, отцы, мое прошенье?

Получу ль когда прощенье?» —
«Погоди ты, Рыба-кит!» —
Тут конек ему кричит.

Вот в село он прибегает,
Мужиков к себе сзывает,
Черной гривкою трясет
И такую речь ведет:
«Эй, послушайте, миряне,
Православны христиане!
Коль не хочет кто из вас
К водяному сесть в приказ,
Убирайтесь вмиг отсюда.
Здесь тотчас случится чудо:
Море сильно закипит,
Повернется Рыба-кит...»
Тут крестьяне и миряне,
Православны христиане,
Закричали: «Быть беда́м!»
И пустились по домам.
Все телеги собирали;
В них, не мешкая, поклали
Все, что было живота,
И оставили кита.
Утро с полднем повстречалось,
А в селе уж не осталось
Ни одной души живой,
Словно шел Мамай войной!

Тут конек на хвост вбегает,
К перьям близко прилегает
И что мочи есть кричит:
«Чудо-юдо Рыба-кит!
Оттого твои мученья,
Что без божия веленья
Проглотил ты средь морей
Три десятка кораблей.
Если дашь ты им свободу,
Снимет бог с тебя невзгоду,
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».
И, окончив речь такую,
Закусил узду стальную,
Понатужился — и вмиг
На далекий берег прыг.

Чудо-кит зашевелился,
Словно холм поворотился,
Начал море волновать
И из челюстей бросать
Корабли за кораблями
С парусами и гребцами.

Тут поднялся шум такой,
Что проснулся царь морской:
В пушки медные палили,
В трубы кованы трубили;
Белый парус поднялся,
Флаг на мачте развился;
Поп с причетом всем служебным
Пел на палубе молебны;
А гребцов веселый ряд
Грянул песню наподхват:
«Как по моречку по морю,
По широкому раздолью,
Что по самый край земли,
Выбегают корабли...»

Волны моря заклубились,
Корабли из глаз сокрылись.
Чудо-юдо Рыба-кит
Громким голосом кричит,
Рот широкий отворяя,
Плёсом волны разбивая:
«Чем вам, други, услужить?
Чем за службу наградить?
Надо ль раковин цветистых?
Надо ль рыбок золотистых?
Надо ль крупных жемчугов?
Все достать для вас готов!» —
«Нет, кит-рыба, нам в награду
Ничего того не надо,—
Говорит ему Иван.—
Лучше перстень нам достань,—
Перстень, знаешь, Царь-девицы,
Нашей будущей царицы».—
«Ладно, ладно! Для дружка
И сережку из ушка!
Отыщу я до зарницы
Перстень красной Царь-девицы»,—
Кит Ивану отвечал
И, как ключ, на дно упал.

Вот он плесом ударяет,
Громким голосом сзывает
Осетриный весь народ
И такую речь ведет:
«Вы достаньте до зарницы
Перстень красной Царь-девицы,
Скрытый в ящичке на дне.
Кто его доставит мне,
Награжу того я чином:
Будет думным дворянином.
Если ж умный мой приказ
Не исполните... я вас!..»
Осетры тут поклонились
И в порядке удалились.

Через несколько часов
Двое белых осетров
К киту медленно подплыли
И смиренно говорили:
«Царь великий! Не гневись!
Мы все море уж, кажись,
Исходили и изрыли,
Но и знаку не открыли.
Только Ерш один из нас
Совершил бы твой приказ:
Он по всем морям гуляет,
Так уж, верно, перстень знает;
Но его, как бы назло,
Уж куда-то унесло».—
«Отыскать его в минуту
И послать в мою каюту!» —
Кит сердито закричал
И усами закачал.

Осетры тут поклонились,
В земский суд бежать пустились
И велели в тот же час
От кита писать указ,
Чтоб гонцов скорей послали
И Ерша того поймали.
Лещ, услыша сей приказ,
Именной писал указ;
Сом (советником он звался)
Под указом подписался;

Черный рак указ сложил
И печати приложил.
Двух дельфинов тут призвали
И, отдав приказ, сказали,
Чтоб, от имени царя,
Обежали все моря
И того Ерша-гуляку,
Крикуна и забияку,
Где бы ни было, нашли,
К государю привели.
Тут дельфины поклонились
И Ерша искать пустились.

Ищут час они в морях,
Ищут час они в реках,
Все озера исходили,
Все проливы переплыли,
Не могли Ерша сыскать
И вернулися назад,
Чуть не плача от печали...

Вдруг дельфины услыхали,
Где-то в маленьком пруде
Крик неслыханный в воде.
В пруд дельфины завернули
И на дно его нырнули,—
Глядь: в пруде, под камышом,
Ерш дерется с Карасем.
«Смирно! Черти б вас побрали!
Вишь, содом какой подняли,
Словно важные бойцы!» —
Закричали им гонцы.
«Ну, а вам какое дело? —
Ерш кричит дельфинам смело. —
Я шутить ведь не люблю,
Разом всех переколю!» —
«Ох ты, вечная гуляка,
И крикун, и забияка!
Все бы, дрянь, тебе гулять,
Все бы драться да кричать.
Дома — нет ведь, не сидится!..
Ну, да что с тобой рядиться,—
Вот тебе царев указ,
Чтоб ты плыл к нему тотчас».

Тут проказника дельфины
Подхватили за щетины
И отправились назад.
Ерш ну рваться и кричать:
«Будьте милостивы, братцы!
Дайте чуточку подраться.
Распроклятый тот Карась
Поносил меня вчерась
При честно́м при всем собранье
Неподобной разной бранью...»
Долго Ерш еще кричал,
Наконец и замолчал;
А проказника дельфины
Все тащили за щетины,
Ничего не говоря,
И явились пред царя.

«Что ты долго не являлся?
Где ты, вражий сын, шатался?» —
Кит со гневом закричал.
На колени Ерш упал,
И, признавшись в преступленье,
Он молился о прощенье.
«Ну, уж бог тебя простит! —
Кит державный говорит,—
Но за то твое прощенье
Ты исполни повеленье».—
«Рад стараться, Чудо-кит!» —
На коленях Ерш пищит.
«Ты по всем морям гуляешь,
Так уж, верно, перстень знаешь
Царь-девицы?» — «Как не знать!
Можем разом отыскать».—
«Так ступай же поскорее
Да сыщи его живее!»

Тут, отдав царю поклон,
Ерш пошел, согнувшись, вон.
С царской дворней побранился,
За плотвой поволочился
И салакушкам шести
Нос разбил он по пути.
Совершив такое дело,
В омут кинулся он смело
И в подводной глубине

Вырыл ящичек на дне —
Пуд по крайней мере во сто.
«О, здесь дело-то не просто!»
И давай из всех морей
Ерш скликать к себе сельдей.

Сельди духом собралися,
Сундучок тащить взялися,
Только слышно и всего —
«У-у-у» да «О-о-о!»
Но сколь сильно ни кричали,
Животы лишь надорвали,
А проклятый сундучок
Не дался и на вершок.
«Настоящие селедки!
Вам кнута бы вместо водки!» —
Крикнул Ерш со всех сердцов
И нырнул по осетров.

Осетры тут приплывают
И без крика подымают
Крепко ввязнувший в песок
С перстнем красный сундучок.
«Ну, ребятушки, смотрите,
Вы к царю теперь плывите,
Я ж пойду теперь ко дну
Да немножко отдохну:
Что-то сон одолевает,
Так глаза вот и смыкает...»
Осетры к царю плывут,
Ерш-гуляка прямо в пруд
(Из которого дельфины
Утащили за щетины).
Чай, додраться с Карасем,—
Я не ведаю о том.
Но теперь мы с ним простимся
И к Ивану возвратимся.

Тихо море-окиян.
На песке сидит Иван,
Ждет кита из синя моря
И мурлыкает от горя;
Повалившись на песок,
Дремлет верный горбунок.
Время к вечеру клонилось;

Вот уж солнышко спустилось;
Тихим пламенем горя,
Развернулася заря.
А кита не тут-то было.
«Чтоб те, вора, задавило!
Вишь, какой морской шайтан! —
Говорит себе Иван.—
Обещался до зарницы
Вынесть перстень Царь-девицы,
А доселе не сыскал,
Окаянный зубоскал!
А уж солнышко-то село,
И...» Тут море закипело:
Появился Чудо-кит
И к Ивану говорит:
«За твое благодеянье
Я исполнил обещанье».
С этим словом сундучок
Брякнул плотно на песок,
Только берег закачался.
«Ну, теперь я расквитался.
Если ж вновь принужусь я,
Позови опять меня;
Твоего благодеянья
Не забыть мне... До свиданья!»
Тут Кит-чудо замолчал
И, всплеснув, на дно упал.

Горбунок-конек проснулся,
Встал на лапки, отряхнулся,
На Иванушку взглянул
И четырежды прыгну́л.
«Ай да Кит Китович! Славно!
Долг свой выплатил исправно!
Ну, спасибо, Рыба-кит! —
Горбунок-конек кричит.—
Что ж, хозяин, одевайся,
В путь-дорожку отправляйся;
Три денька ведь уж прошло:
Завтра срочное число.
Чай, старик уж умирает».
Тут Ванюша отвечает:
«Рад бы радостью поднять;
Да ведь силы не занять!
Сундучишко больно плотен,

Чай, чертей в него пять сотен
Кит проклятый насажал.
Я уж трижды подымал:
Тяжесть страшная такая!»
Тут конек, не отвечая,
Поднял ящичек ногой,
Будто камышек какой,
И взмахнул к себе на шею.
«Ну, Иван, садись скорее!
Помни, завтра минет срок,
А обратный путь далек».

Стал четвертый день зориться,
Наш Иван уже в столице.
Царь с крыльца к нему бежит,—
«Что кольцо мое?» — кричит.
Тут Иван с конька слезает
И преважно отвечает:
«Вот тебе и сундучок!
Да вели-ка скликать полк:
Сундучишко мал хоть нá вид,
Да и дьявола задавит».
Царь тотчас стрельцов позвал
И не медля приказал
Сундучок отнесть в светлицу.
Сам пошел по Царь-девицу.
«Перстень твой, душа, найден,—
Сладкогласно молвил он,—
И теперь, промолвить снова,
Нет препятства никакого
Завтра утром, светик мой,
Обвенчаться мне с тобой.
Но не хочешь ли, дружочек,
Свой увидеть перстенечек?
Он в дворце моем лежит».
Царь-девица говорит:
«Знаю, знаю! Но, признаться,
Нам нельзя еще венчаться».—
«Отчего же, светик мой?
Я люблю тебя душой,
Мне, прости ты мою смелость,
Страх жениться захотелось.
Если ж ты... то я умру
Завтра ж с горя поутру.
Сжалься, матушка царица!»

Говорит ему девица:
«Но взгляни-ка, ты ведь сед;
Мне пятнадцать только лет:
Как же можно нам венчаться?
Все цари начнут смеяться,
Дед-то, скажут, внуку взял!»
Царь со гневом закричал:
«Пусть-ка только засмеются —
У меня как раз свернутся:
Все их царства полоню!
Весь их род искореню!» —
«Пусть не станут и смеяться,
Все не можно нам венчаться,—
Не растут зимой цветы:
Я красавица, а ты?..
Чем ты можешь похвалиться?» —
Говорит ему девица.
«Я хоть стар, да я удал! —
Царь царице отвечал.—
Как немножко приберуся,
Хоть кому так покажуся
Разудалым молодцом.
Ну, да что нам нужды в том?
Лишь бы только нам жениться».
Говорит ему девица:
«А такая в том нужда,
Что не выйду никогда
За дурного, за седого,
За беззубого такого!»
Царь в затылке почесал
И, нахмуряся, сказал:
«Что ж мне делать-то, царица?
Страх как хочется жениться;
Ты же, ровно на беду:
Не пойду да не пойду!» —
«Не пойду я за седого,—
Царь-девица молвит снова.—
Стань, как прежде, молодец,—
Я тотчас же под венец».—
«Вспомни, матушка царица,
Ведь нельзя переродиться;
Чудо бог один творит».
Царь-девица говорит:
«Коль себя не пожалеешь,
Ты опять помолодеешь.

Слушай: завтра на заре
На широком на дворе
Должен челядь ты заставить
Три котла больших поставить
И костры под них сложить.
Первый надобно налить
До краев водой студеной,
А второй — водой вареной,
А последний — молоком,
Вскипятя его ключом.
Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться —
Ты, без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде вареной,
А потом еще в студеной.
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!»

Царь не вымолвил ни слова,
Кликнул тотчас стремяннова.
«Что, опять на окиян? —
Говорит царю Иван.—
Нет, уж дудки, ваша милость!
Уж и то во мне все сбилось.
Не поеду ни за что!» —
«Нет, Иванушка, не то,
Завтра я хочу заставить
На дворе котлы поставить
И костры под них сложить.
Первый думаю налить
До краев водой студеной,
А второй — водой вареной,
А последний — молоком,
Вскипятя его ключом.
Ты же должен постараться,
Пробы ради, искупаться
В этих трех больших котлах,
В молоке и двух водах».—
«Вишь, откуда подъезжает! —
Речь Иван тут начинает.—
Шпарят только поросят,
Да индюшек, да цыплят;
Я ведь, глянь, не поросенок,
Не индюшка, не цыпленок.

Вот в холодной, так оно
Искупаться бы можно́,
А подваривать как станешь,
Так меня и не заманишь.
Полно, царь, хитрить-мудрить
Да Ивана проводить!»
Царь, затрясши бородою:
«Что? Ря́диться мне с тобою? —
Закричал он.— Но смотри!
Если ты в рассвет зари
Не исполнишь повеленье,—
Я отдам тебя в мученье,
Прикажу тебя пытать,
По кусочкам разрывать.
Вон отсюда, бо́лесть злая!»
Тут Иванушка, рыдая,
Поплелся на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек.—
Чай, наш старый женишок
Снова выкинул затею?»
Пал Иван коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал.—
Царь вконец меня сбывает;
Сам подумай, заставляет
Искупаться мне в котлах,
В молоке и двух водах:
Как в одной воде студеной,
А в другой воде вареной,
Молоко, слышь, кипяток».
Говорит ему конек:
«Вот уж служба, так уж служба!
Тут нужна моя вся дружба.
Как же к слову не сказать:
Лучше б нам пера не брать;
От него-то, от злодея,
Столько бед тебе на шею...
Ну, не плачь же, бог с тобой!
Сладим как-нибудь с бедой.
И скорее сам я сгину,
Чем тебя, Иван, покину.

Слушай: завтра на заре
В те поры, как на дворе
Ты разденешься, как должно,
Ты скажи царю: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать,
Чтоб впоследни с ним проститься».
Царь на это согласится.
Вот как я хвостом махну,
В те котлы мордóй макну,
На тебя два раза прысну,
Громким посвистом присвистну,
Ты, смотри же, не зевай:
В молоко сперва ныряй,
Тут в котел с водой вареной,
А оттудова в студеной.
А теперича молись
Да спокойно спать ложись».

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Эй, хозяин, полно спать!
Время службу исполнять».
Тут Ванюша почесался,
Потянулся и поднялся,
Помолился на забор
И пошел к царю во двор.

Там котлы уже кипели;
Подле них рядком сидели
Кучера и повара
И служители двора;
Дров усердно прибавляли,
Об Иване толковали
Втихомолку меж собой
И смеялися порой.

Вот и двери растворились,
Царь с царицей появились
И готовились с крыльца
Посмотреть на удальца.
«Ну, Ванюша, раздевайся
И в котлах, брат, искупайся!» —
Царь Ивану закричал.
Тут Иван одежду снял,
Ничего не отвечая.

А царица молодая,
Чтоб не видеть наготу,
Завернулася в фату.
Вот Иван к котлам поднялся,
Глянул в них — и зачесался.
«Что же ты, Ванюша, встал? —
Царь опять ему вскричал. —
Исполняй-ка, брат, что должно!»
Говорит Иван: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать?
Я впоследни б с ним простился».
Царь, подумав, согласился
И изволил приказать
Горбунка к нему послать.
Тут слуга конька приводит
И к сторонке сам отходит.

Вот конек хвостом махнул,
В те котлы мордо́й макнул,
На Ивана дважды прыснул,
Громким посвистом присвистнул,
На конька Иван взглянул
И в котел тотчас нырнул,
Тут в другой, там в третий тоже,
И такой он стал пригожий,
Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать!
Вот он в платье нарядился,
Царь-девице поклонился,
Осмотрелся, подбодрясь,
С важным видом, будто князь

«Эко диво! — все кричали. —
Мы и слыхом не слыхали,
Чтобы льзя похорошеть!»

Царь велел себя раздеть,
Два раза́ перекрестился, —
Бух в котел — и там сварился!

Царь-девица тут встает,
Знак к молчанью подает,
Покрывало поднимает
И к прислужникам вещает:

«Царь велел вам долго жить!
Я хочу царицей быть.
Люба ль я вам?
Отвечайте!
Если люба, то признайте
Володетелем всего —
И супруга моего!»
Тут царица замолчала,
На Ивана показала.

«Люба, люба! — все кричат, —
За тебя хоть в самый ад!
Твоего ради талана
Признаем царя Ивана!»

Царь царицу тут берет,
В церковь божию ведет,
И с невестой молодою
Он обходит вкруг налою.

Пушки с крепости палят;
В трубы кованы трубят;
Все подвалы отворяют,
Бочки с фряжским выставляют,
И, напившися, народ
Что есть мочушки дерет:
«Здравствуй, царь наш со царицей!
С распрекрасной Царь-девицей!»

Во дворце же пир горой:
Вина льются там рекой;
За дубовыми столами
Пьют бояре со князьями,
Сердцу любо! Я там был,
Мед, вино и пиво пил;
По усам хоть и бежало,
В рот ни капли не попало.

1834





Николай Михайлович Языков

(1803—1846)

Родился в Симбирской губернии,
первоначальное образование получил дома.
В 1814 году поступил в Горный кадетский корпус, не окончив
его, перешел в Институт корпуса инженеров путей сообщения.
В 1822 году поступил в Дерптский университет,
провел там семь лет, но курса не окончил.
Университетские годы были временем начала литературной
деятельности и установления связей с писателями: Жуковским,
Воейковым, Пушкиным, Соболевским, Булгариным и др.
Языков сотрудничал почти во всех альманахах,
во многих журналах и газетах —
«Московский телеграф», «Московский вестник»,
«Литературные прибавления к Русскому инвалиду» и т. д.
С 1829 г. начинается московская жизнь поэта, его дружба
с семьей Елагиных-Киреевских. Он входит в круг московских
литераторов, становится заметным деятелем
славянофильского движения. Вместе с П. В. Киреевским
занимается собиранием русских народных песен.
В 1833 году выходит книга стихотворений, в которой заключен
итог его поэтической деятельности 1820-х годов.
Продуктивность художественной работы в 1830-е годы слабая,
начинает развиваться тяжелая болезнь. Пять лет поэт провел
за границей (1837—1843), там сблизился с Гоголем. По
возвращении в Россию безвыездно жил в Москве.
Одно время были знамениты его «литературные вторники»,
на которые собирались московские литераторы. Языков посещал
лекции Грановского, общался с Герценом, но в процессе борьбы
и споров между западниками и славянофилами он оказался
среди самых реакционных и непримиримых.
В 1844 году написал ряд полемических посланий против
западников — Чаадаева, Грановского, Герцена.
В 1845 году Языков издал книгу «Новые стихотворения»,
а незадолго до смерти патриотические
«Стихи на объявление памятника Карамзину».







СКАЗКА О ПАСТУХЕ И ДИКОМ ВЕПРЕ

Дм. Ник. Свербееву



Дай, напишу я сказку! Нынче мода
На этот род поэзии у нас.
И грех ли взять у своего народа
Полузабытый, небольшой рассказ?
Нельзя ль его немного поисправить
И сделать ловким, милым; как-нибудь
Обстричь, переодеть, переобуть
И на Парнас торжественно поставить?
Грех не велик, да не велик и труд!
Но ведь поэт быть должен человеком
Несвоенравным, чтоб не рознить с веком:
Он так же пой, как прочие поют!
Не то его накажут справедливо:
Подобно сфинксу, век пожрет его;
Зачем, дескать, беспутник горделивый,
Не разгадал он духа моего! —
И вечное, тяжелое забвенье...
Уф! не хочу! Скорее соглашусь
Не пить вина, в котором вдохновенье,
И не влюбляться.— Я хочу, чтоб Русь,
Святая Русь, мои стихи читала

И сберегла на много, много лет;
Чтобы сама история сказала,
Что я презнаменитейший поэт.

Какую ж сказку? Выберу смиренно
Не из таких, где грозная вражда
Царей и царств, и гром, и крик военный,
И рушатся престолы, города;
Возьму попроще, где б я беззаботно
Предаться мог фантазии моей
И было б нам спокойно и вольготно,
Как соловью в тени густых ветвей.
Ну, милая! гуляй же, будь как дома,
Свободна будь, не бойся никого;
От критики не будет нам погрома;
Народность ей приятнее всего!
Когда-то мы недурно воспевали
Прелестниц, дружбу, молодость; давно
Те дни прошли; но в этом нет печали,
И это нас тревожить не должно!
Где жизнь, там и поэзия! Не так ли?
Таков закон природы. Мы найдем
Что петь нам: силы наши не иссякли,
И, право, мы едва ли упадем,
Какую бы ни выбрали дорогу;
Робеть не надо — главное же в том,
Чтоб знать себя — и бодро понемногу
Вперед, вперед! — Теперь же и начнем.

Жил-был король; предание забыло
Об имени и прозвище его;
Имел он дочь. Владение же было
Лесистое у короля того.
Король был человек миролюбивый,
И долго жил в своей глуши лесной
И весело, и тихо, и счастливо,
И был доволен этакой судьбой;
Но вот беда: неведомо откуда
Вдруг появился дикий вепрь и стал
Шалить в лесах и много делал худа;
Проезжих и прохожих пожирал,
Безлюдели торговые дороги,
Все вздорожало; противу него
Король тогда же принял меры строги;
Но не было в них пользы ничего:
Вотще в лесах зык рога раздавался,
И лаял пес, и бухало ружье;
Свирепый зверь, казалось, посмевался
Придворным ловчим, продолжал свое,
И наконец встревожил он ужасно

Все королевство; даже в городах,
На площадях, на улицах опасно;
Повсюду плач, уныние и страх.
Вот, чтоб окончить вепревы проказы
И чтоб людей осмелить на него,
Король послал окружные указы
Во все места владенья своего
И объявил: что, кто вепря́ погубит,
Тому счастливцу даст он дочь свою
В замужество — королевну Илию,
Кто б ни был он, а зятя сам полюбит,
Как сына. Королевна же была,
Как говорят поэты, диво мира:
Кровь с молоком, румяна и бела,
У ней глаза — два светлые сапфира,
Улыбка слаще меда и вина,
Чело как радость, груди молодые
И полные, и кудри золотые,
И, сверх того, красавица умна.
В нее влюблялись юноши душевно;
Ее прозвали кто своей звездой,
Кто идеалом, девой неземной,
Все вообще прекрасной королевной.
Отец ее лелеял и хранил,
И жениха ей выжидал такого
Царевича, красавца молодого,
Чтоб он ее вполне достоин был.
Но королевству гибелью грозил
Ужасный вепрь, и мы уже читали
Указ, каким в своей большой печали
Король судьбу дочернину решил.

Указ его усердно принят был:
Со всех сторон стрелки и собачеи
Пустилися на дикого вепря:
Яснеет ли, темнеет ли заря,
И днем и ночью хлопают фузеи,
Собаки лают и рога ревут;
Ловцы кричат, и свищут, и храбрятся,
Крутят усы, атукают, бранятся,
И хвастают, и ерофеич пьют;
А нет им счастья.— Месяц гарцевали
В отъезжем поле, здесь и тут и там,
Лугов и нив довольно потоптали
И разошлись угрюмо по домам —
Опохмеляться. Вепрь не унимался.
Но вот судьба: шел по лесу пастух,
И невзначай с тем зверем повстречался;
Сначала он весьма перепугался

И побежал от зверя во весь дух;
«Но ведь мой бег не то, что бег звериный!» —
Подумал он и поскорее взлез
На дерево, которое вершиной
Кудрявою касалося небес,
И виноград пурпурными кистями
Зелены ветви пышно обвивал.
Озлился вепрь — и дерево клыками
Ну подрывать, и крепкий ствол дрожал.
Пастух смутился: «Ежели подроет
Он дерево, что делать мне тогда?»
И пастуха мысль эта беспокоит:
С ним лишь топор, а с топором куда
Против вепря́! Постой же. Ухитрился
Пастух и начал спелы ветви рвать,
И с дерева на зверя их бросать,
И ждал, что будет? Что же? Соблазнился
Свирепый зверь — стал кушать виноград.
И столько он покушал винограду,
Что с ног свалился, пьяный до упаду,
Да и заснул. — Пастух сердечно рад,
И мигом он оправился от страха
И с дерева на землю соскочил,
Занес топор и с одного размаха
Он шеищу вепрю́ перерубил.
И в тот же день он во дворец явился
И притащил убитого вепря́
С собой. Король победе удивился
И пастуха ласкал, благодаря
За подвиг. С ним разделался правдиво,
Не отперся от слова своего,
И дочь свою он выдал за него;
И молодые зажили счастливо.
Старик был нежен к зятю своему
И королевство отказал ему.

Готова сказка! Весел я, спокоен.
Иди же в свет, любезная моя!
Я чувствую, что я теперь достоин
Его похвал и что бессмертен я.
Я совершил не шуточное дело,
Покуда и довольно. Я могу
Поотдохнуть и полениться смело,
И на Парнасе долго ни гу-гу!

1835





Михаил Юрьевич Лермонтов

(1814—1841)

**Родился в Москве, детские годы провел в имении бабушки Е. А. Арсеньевой «Тарханы» Пензенской губернии. Учился в Московском благородном пансионе (1828—1830), затем на нравственно-политическом отделении Московского университета (1830—1832).
В 1832 г. переехал в Петербург, поступил в школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров, откуда в 1834 г. был выпущен корнетом в лейб-гвардии гусарский полк.
Писать начал еще в отроческие годы, находился под сильным воздействием пушкинского романтизма. В 1835—1836 годы написал поэмы «Боярин Орша», «Тамбовская казначейша», драмы «Маскарад» и «Два брата», работал над романами «Вадим» и «Княгиня Лиговская». Началом литературной известности Лермонтова стало стихотворение «На смерть поэта» (1837), за которое он был сослан на Кавказ в действующую армию.
Возвратившись в Петербург в 1838 г., поэт вошел в пушкинский круг литераторов, начал публиковать свои произведения в «Современнике» («Тамбовская казначейша», «Песня про купца Калашникова...») и «Отечественных записках».
В 1840 году вышли из печати его книги: «Стихотворения» — первый сборник, объединивший стихотворения и поэмы, написанные после 1837 г., и роман «Герой нашего времени», печатавшийся прежде отдельными главами.
В апреле 1840 г. вновь был отправлен в ссылку на Кавказ за дуэль с сыном французского посланника де Баранта. Участвовал в боевых операциях, проявляя «отчаянную храбрость», необыкновенно много писал...
Погиб в Пятигорске на дуэли с Мартыновым.**









АШИК-КЕРИБ

Турецкая сказка



Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери; хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; на одной свадьбе он увидел Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку — и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградниками и, наконец, заснул; в это время шла мимо Магуль-Мегери со своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником,— запела она,— вставай, безумный, твоя газель идет мимо»; он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала ее песню и стала ее бранить. «Если б ты знала,— отвечала та,— кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб».— «Веди меня к нему»,— сказала Магуль-Мегери; и они пошли. Увидав его печальное лицо, Ма-

гуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить,— отвечал Ашик-Кериб,— я тебя люблю,— и ты никогда не будешь моею».— «Проси мою руку у отца моего,— говорила она,— и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет».— «Хорошо,— отвечал он,— положим, Аяк-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан; нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уж за нее сватается.

Пришел Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох страннический и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник,— он смотрит— это Куршуд-бек. «Добрый путь,— кричал ему бек,— куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперед,— сказал Куршуд-бек,— я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад — и о горе! о всемогущий аллах! Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несет бек платье Ашик-Кериба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке,— говорит он,— вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул,— сказала она ей,— Куршуд-бек привез его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это все выдумки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем»,— она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом, переходил он из деревни в деревню, из города в город, и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, на-

конец, в Халаф; по обыкновению, взошел в кофейный дом, спросил сааз и начал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников; многих к нему приводили — ни один ему не понравился; его чауши измучились, бегая по городу: вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос: они туда. «Иди с нами к великому паше,— закричали они,— или ты отвечаешь нам головою».— «Я человек вольный, странник из города Тифлиза,— говорит Ашик-Кериб,— хочу пойду, хочу нет; пою когда придется, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой»,— сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться; в это время отправляется один купец с караваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восемьюдесятью невольниками; призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо,— говорит она,— и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай — и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца. «Это мое»,— сказал он, схватив его рукою. «Точно твое,— сказал купец,— я узнал тебя, Ашик-Кериб; ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дни до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собой суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня; наконец, измученный бегун упал бездыханный на Арзиган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оста-

валось только два дни. «Аллах всемогущий,— воскликнул он,— если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать»,— и хочет он броситься с высокого утеса; вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглан, что ты хочешь делать?» — «Хочу умереть»,— отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною»,— сказал грозно всадник. «Как я могу за тобой следовать,— отвечал Ашик,— твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою».— «Правда; повесь же суму свою на седло мое и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаешь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь летит быстрее мысли, а я уже измучен».— «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать».— «Хоть бы в Арзерум поспеть нонче»,— отвечал Ашик.— «Закрой же глаза»; он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага,— сказал Ашик,— я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс».— «То-то же,— отвечал всадник,— я предупреждал тебя, чтобы ты говорил мне сущую правду; закрой же опять глаза,— теперь открой». Ашик себе не верит — то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по-настоящему надо в Тифлиз».— «Экой ты, неверный,— сказал сердито всадник,— но, нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой»,— прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство».— «Наклонись,— сказал тот, улыбнувшись,— и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уже в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой; стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость, я холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных, есть теперь в городе свадьбы — ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии».— «Ана,— отвечал он,— я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына впусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери».— «Негодная,— отвечала старуха,— ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упрекам, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кериба: сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит он — на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучная сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость,— отвечала она,— будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом».— «Я уж сказал тебе,— возразил он,— что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?»— «Это сааз, сааз»,— отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» — «Сааз то значит, что на ней играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя,— отвечала старуха,— это сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет она висит на стене и ничья живая рука до нее не дотрагивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему; тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! всемогущий аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили, и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадерилиаз помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» — «Рашид» (храбрый),— отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид,— сказала она,— своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уже семь лет я ослепла

от слез: скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» — И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и все, что получу, принесу сюда и разделю с вами».— «Не позволю,— отвечала старуха,— с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходила из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны,— «а если хоть одна струна порвется,— продолжал Ашик,— то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатой чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм: вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню».— «Почему же нет,— сказал Куршуд-бек.— Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба: спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».

Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете)».— «Что это за имя,— воскликнул тот со смехом.— Я первый раз такое слышу!» — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь бог ей дал: им отвечали шинды-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя».— После этого он взял сааз и начал петь:

«В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день».

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув: «Ты лжешь; как можно из Халафа приехать сюда в три дни?»

«За что же ты меня хочишь убить,— сказал Ашик,— певцов обыкновенно со всех четырех сторон собирают в одно место; и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте».

«Пускай продолжает»,— сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:

«Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; перед захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери».

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву,— сказали ее подруги,— стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека».— «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос»,— отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, промолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

Придя в чувства, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.

«Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб,— сказал жених,— но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?» — «В доказательство истины,— отвечал Ашик,— сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска; но лучше всего приведите мне слепую, которая бы семь лет уж не видала свету божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери и услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка! — закричала она,— это точно брат и точно твой сын Ашик-Кериб»,— и, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, примолвя: «Знайте все люди, как могущ и велик Хадерилиаз»,— и мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: «Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми ее за себя — и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».

1837 <?>





Сергей Тимофеевич Аксаков

(1791—1859)

Родился в Уфе, учился в Казанской гимназии, в 1805 году стал студентом только что открывшегося Казанского университета. Курса Аксаков не кончил, переехал с семьей в Петербург и поступил на службу.

Литературные интересы проявились у него еще в гимназические годы. В Петербурге Аксаков стал посетителем салона Шишкова, Позднее — «Беседы» Державина, познакомился с актером Л. Е. Шушериным и через него с другими деятелями петербургского театра.

В 1811 г. переехал в Москву, здесь вскоре сложился круг его ближайших знакомых — Н. М. Шатров, Н. П. Николаев, Н. А. Ильин, Ф. Ф. Кокошкин, С. Н. Глинка, позднее — А. А. Шаховской, М. Н. Загоскин, А. И. Писарев.

В 1812 г. Аксаков уехал в Оренбургскую губернию, где прожил 15 лет, лишь изредка бывая в Москве.

В 1812 г. опубликовал первое стихотворение, переводил пьесы Софокла и Мольера, одну из сатир Буало. В 1820 г. печатался в «Вестнике Европы», поддерживал борьбу редакции против романтизма в литературе. Многие годы был театральным рецензентом в «Московском вестнике», популяризатором и поклонником «новой школы» сценического искусства — Щепкина и Мочалова. В конце 1820 — начале 1830-х годов служил в Московском цензурном комитете, уволен за журнал «Европеец» (1832) и книгу Проташинского «Двенадцать спящих будочников».

Очерк «Буран» (1834) стал началом деятельности Аксакова-писателя. В последующие годы создавалась трилогия: «Записки об ужении рыбы», «Записки ружейного охотника», «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах» (окончена в 1855 г.).

Последние десять лет жизни были посвящены работе над воспоминаниями. Обширный замысел осуществился в трех произведениях: «Семейная хроника» и «Воспоминание» (опубликованы в одной книге в 1856 г.), «Детские годы Багрова-внука» (1858).

После «Багрова-внука» написано было еще несколько воспоминаний (о Гоголе, Щепкине, Шушерине), рассказ «Наташа», «Собирание бабочек». За четыре месяца до смерти Аксаков продиктовал «Очерк зимнего дня».

Умер писатель в своем имении Абрамцево под Москвой.







АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК





В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, именитый человек.

Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны — по той причине, что он был вдовец и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее.

Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям:

«Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу — не ведаю, и наказываю я вам жить без меня честно и смирно, и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется».

Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги да и говорит ему первая:

«Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого, а привези ты мне золотой венец из камениев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого».

Честной купец призадумался и сказал потом:

«Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец; знаю я за морем такого человека, который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая: да для моей казны супротивного нет».

Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит:

«Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне тувалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялася».

Призадумался честной купец и, подумав мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова:

«Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой королевишны, красоты несказанной, неописанной и негаданной; и схоронен тот тувалет в терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, вышина той горы в триста сажень, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковой тувалет. Потяжеле твоя работа сестриной, да для моей казны супротивного нет».

Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово:

«Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне *аленький цветочек,* которого бы не было краше на белом свете».

Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь, любимую, и говорит таковы слова:

«Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных: коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи».

И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку.

Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным; продает он свои товары втридорога, покупает чужие втридешева, он меняет товар на товар и того сходней, со придачею серебра да золота; золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери: тувалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери — аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете.

Находил он во садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки не дает, что краше того цветка нет на белом свете; да и сам он того не думает. Вот едет он путем-дорогою со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим, и, откуда ни возьмись, налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие да индейские, и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в темные леса. «Пусть-де меня растерзают звери лютые, чем по-

пасться мне в руки разбойничьи, поганые и доживать свой век в плену во неволе».

Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному, непроходному, и что дальше идет, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смотрит назад — руки не просунуть, смотрит направо — пни да колоды, зайцу косому не проскочить, смотрит налево — а и хуже того. Дивуется честной купец, думает не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам все идет да идет: у него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера, не слышит он реву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: ровно около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь; кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он, почитай, до полуночи, и стал видеть впереди будто зарево, и подумал он: «Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть, неминучую?»

Поворотил он назад — нельзя идти, направо, налево — нельзя идти; сунулся вперед — дорога торная. «Дай постою на одном месте,— может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем».

Вот и стал он, дожидается; да не тут-то было: зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится; думал он, думал и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте и в каменьях самоцветных, весь горит и светит, а огня не видать; ровно солнышко красное, инда тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем му́зыка согласная, какой никогда он не слыхивал.

Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворенные; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном, со перилами позолоченными; вошел в горницу — нет никого; в другую, в третью — нет никого; в пятую, десятую — нет никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая.

Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет; не только хозяина, и прислуги нет; а музыка играет не смолкаючи; и подумал он в те поры про себя: «Все хорошо, да есть нечего» — и вырос перед ним стол, убранный-разубранный; в посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сумления; напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые; кушанье такое, что и сказать нельзя, — того и гляди, что язык проглотишь, а он, по лесам и пескам ходючи, крепко проголодался; встал он из-за стола, а поклониться некому и сказать спасибо за хлеб за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет не умолкаючи.

Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любуется, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть» — и видит, стоит перед ним кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными; пуховик на ней как гора лежит, пуху мягкого, лебяжьего.

Дивится купец такому чуду новому, новому и чу́дному; ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет будто издали, и подумал он: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидать!» — и заснул в ту же минуточку.

Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может: всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих, и видел он дочерей своих старших: старшую и середнюю, что они веселым-веселехоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая; что у старшей и середней дочери есть женихи богатые и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского; меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно и не радостно.

Встал он со кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную; он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется: чай и кофей на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись богу, он накушался,

и стал он опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоватися при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогулятися.

Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зелены сады. Гуляет он и любуется: на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, инда, глядя на них, слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные; птицы летают невиданные: словно по бархату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, инда глядеть на их вышину — голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным.

Ходит честной купец, дивуется; на все такие диковинки глаза у него разбежалися, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так много ли, мало ли времени — неведомо: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается; подходит он ко тому цветку; запах от цветка по всему саду ровно струя бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:

«Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая».

И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, блеснула молния и ударил гром, инда земля зашаталась под ногами, — и вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким:

«Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок? Я хранил его паче зеницы ока моего и всякий день утешался, на него глядючи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за мое добро? Знай же свою

участь горькую: умереть тебе за свою вину смертью безвременною!..»

И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило: «Умереть тебе смертью безвременною!»

У честного купца от страха зуб на зуб не приходил, он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли лезет к нему сила нечистая и несметная, все страшилища безобразные. Он упал на колени перед на́большим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным:

«Ох ты гой еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское: как взвеличать тебя — не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою продерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери красавицы, хорошие и пригожие; обещал я им по гостинцу привезть: старшей дочери — самоцветный венец, средней дочери — тувалет хрустальный, а меньшой дочери — аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог; увидел я такой гостинец у тебя в саду — аленький цветочек, какого краше нет на белом свете, и подумал я, что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне, неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь».

Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

«Не надо мне твоей золотой казны: мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное купецкое и запись своей руки, что пришлешь заместо себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих; я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища».

Так и пал купец на сыру землю, горючими слезами обливается; а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом: больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он голосом жалобным:

«Господин честной, зверь лесной, чудо морское! А и как мне быть, коли дочери мои, хорошие и пригожие, по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю».

Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

«Не хочу я невольницы: пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне — не твоя беда; дам я тебе перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи».

Думал, думал купец думу крепкую и придумал так: «Лучше мне с дочерьми повидатися, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому». Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что́ у него было на мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал; видя его правду, он и записи с него заручной не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу.

И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора; в ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялец своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки шелко́вые; почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатст-

ва великого; меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю:

«Мне богатства твои ненадобны; богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное».

И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим:

«Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое-вчетверо; а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселитися».

Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные; доставал он старшей дочери золотой венец, золота аравийского, на огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными; достает гостинец середней дочери, тувалет хрусталю восточного; достает гостинец меньшой дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулися, унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досыта потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи:

«Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет на белом свете».

Взяла дочь меньшая цветочек аленький ровно нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за пития медвяные; стали есть, пить, прохлаждатися, ласковыми речами утешатися.

Ввечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнехонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалася, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он, да и все тому дивовалися: и посуды золотой-серебряной, и кушаний диковинных, каких никогда в дому не видывали.

Заутра позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все что с ним приключилося, все от слова до́ слова, и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому? Старшая дочь наотрез отказалась и говорит:

«Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».

Позвал честной купец к себе другую дочь, середнюю, рассказал ей все, что с ним приключилося, все от слова до́ слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому? Середняя дочь наотрез отказалася и говорит:

«Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».

Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до́ слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:

«Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя».

Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь, любимую, и говорит ей таковые слова:

«Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великом; да где тот дворец — никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи? Расстаюсь я с тобою на веки вечные, ровно тебя живую в землю хороню».

И возговорит отцу дочь меньшая, любимая:

«Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый, житье мое будет богатое, привольное: зверя лесного, чуда морского, я не испугаюся, буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и сжалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую: может, бог даст, я и вернусь к тебе».

Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается.

Прибегают сестры старшие, большая и середняя, подняли плач по всему дому: вишь, больно им жалко меньшой сестры, любимой; а меньшая сестра и виду печального не кажет, не

плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. И берет с собою цветочек аленький во кувшине позолоченном.

Прошел третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою, любимою; он целует, милует ее, горючими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского, из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери — и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками.

Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой; ровно она и с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать да проснулася. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала.

Встала она со постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зеленых малахита медного, и что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чем посидеть-полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченая, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная, и подумала она: «Должно быть, это моя опочивальня».

Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любуючись; одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, сошла она в зеленые́ сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонилися; выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи родниковые; и нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченого и хотела посадить на место прежнее; но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего.

Подивилася она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному и пошла назад в палаты свои дворцовые; и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый», — как на белой мраморной стене появилися словеса огненные:

«Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет исполнять я буду с охотою».

Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумати, как видит она, перед нею бумага лежит, золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным:

«Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце у зверя лесного, чуда морского, как королевишна; самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными, и знает он все, что у меня на мысли, и в ту же минуту все исполняет, и не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей».

Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонька, хотя сроду не обедала одна-одинешенька; ела она, пила, прохлаждалася, музыкою забавлялася. После обеда, накушавшись, она опочивать легла; заиграла музыка потише и подальше — по той причине, чтоб ей спать не мешать.

После сна встала она веселешенька и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялися, а спелые плоды — груши, персики и наливные яблочки — сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие, и видит она: стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные.

После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словеса огненные:

«Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощеньем и прислугою?»

И возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная:

«Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете: то и как же мне довольною не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду, только боюсь я почивать одна, во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой».

Появилися на стене словеса огненные:

«Не бойся, моя госпожа прекрасная: не будешь ты почивать одна, дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая; и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и день и ночь: не дадим мы на тебя ветру венути, не дадим и пылинке сесть».

И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писаная, и видит: стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая, и стоит она чуть от страха жива; и обрадовалась она госпоже своей, и целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью; после того принялась сама рассказывать, что́ с нею в это время приключилося; так и не спали они до белой зари.

Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером написать, всякий день угощенья и веселья новые, отменные: катанье, гулянье с музыкою на колесницах без коней и упряжи по темным лесам; а те леса перед ней расступалися и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукодельями заниматися, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромы частым жемчугом; стала посылать подарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю, чуду морскому; а и стала она день о́то дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые

своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными.

Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, — стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная; ничему она уже не дивуется, ничего не пугается; служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостивого день óто дня, и видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей и что любит он ее пуще самого себя; и захотелось ей его голоса послушати, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных.

Стала она его о том молить и просить; да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается; упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными:

«Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: «Говори со мной, мой верный раб».

И мало спустя времечка побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, во сады зеленые, входила во беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью парчовую; и говорит она задыхаючись, бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит таковые слова:

«Не бойся ты, господин мой, добрый, ласковый, испугать меня своим голосом: после всех твоих милостей не убоюся я и рева звериного; говори со мной не опасаючись».

И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он еще вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испугалася, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно.

С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай, целый день — во зеленом саду на гуляньях, во темных лесах на катаньях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная:

«Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?»

Отвечает лесной зверь, чудо морское:

«Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг».

И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, что конца им нет.

Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, — захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается, да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не только люди, звери дикие его завсегда устрашалися и в свои берлоги разбегалися. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова:

«Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты; мы живем с тобой в дружбе, согласии друг с другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски».

Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова:

«Если ты стар человек — будь мне дедушка, если середович — будь мне дядюшка, если же молод ты — будь мне названый брат, и поколь я жива — будь мне сердечный друг».

Долго, долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей таково слово:

«Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя; исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастие и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: «Покажись мне, верный друг!» — и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставати-

ся, не хочу я твоей неволи и муки вечной: ты найдешь в опочивальне своей, у себя под подушкою, мой золот перстень. Надень его на правый мизинец — и очутишься ты у батюшки родимого и ничего обо мне николи не услышишь».

Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидатися часу урочного и, когда пришли сумерки серые, опустилося за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» — и показался ей издали зверь лесной, чудо морское: он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах; и невзвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные.

Полежавши долго ли, мало ли времени, опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючьми слезами обливается и говорит голосом жалостным:

«Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышати, и пришло мне умереть смертью безвременною».

И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и с своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым:

«Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись мне теперь же в своем виде давешнем; я только впервые испугалася».

Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшном, противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его; гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядя его, испугалася, а виду не показала, и скоро страх ее совсем

прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день-деньской, почитай, не разлучалися, за обедом и ужином яствами сахарными насыщалися, питьями медвяными прохлаждалися, гуляли по зеленым садам, без коней каталися по темным лесам.

И прошло тому немало времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка ее нездоров лежит; и напала на нее тоска неусыпная, и увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское, и сильно закручинился и стал спрашивать: отчего она во тоске, во слезах? Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И возговорит к ней зверь лесной, чудо морское:

«И зачем тебе мое позволенье? Золот перстень мой у тебя лежит, надень его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе: коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу».

Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до трех дней и трех ночей воротится во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных; набежала к ней прислуга и челядь дворовая, подняли шум и крик; прибежали сестрицы любезные и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому, королевскому; подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому; а батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен, день и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаючись; и не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому.

Долго они целовалися, миловалися, ласковыми речами утешалися. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшим, любезным, про свое житье-бытье у зверя лесного, чуда морского, все от слова до́ слова, никакой крохи не скрываючи. И возвеселился честной купец ее житью богатому,

царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского; сам он, об нем вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сестрам же старшим, слушая про богатства несметные меньшой сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, инда завистно стало.

День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть-де околеет, туда и дорога ему...» И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы слова:

«Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание».

И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое, дело хитрое и недоброе; взяли они да все часы в доме целым часом назад поставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга верная, челядь дворовая.

И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее, и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, — а все рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том, о сем расспрашивают, позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело; простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими, любезными, со прислугою верною, челядью дворовою, и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного, чуда морского, и, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом:

«Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного целым часом со минуточкой».

Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мертвая; в зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, почуяла она нешто недоброе, обежала она палаты высокие и сады зеленые, звала зычным голосом своего хозяина доброго — нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писаная,— он не слышит; принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую — и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит...

Помутилися ее очи ясные, подкосилися ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом:

«Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!..»

И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громова́ стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти — не ведаю; только, очнувшись, видит она себя во палате высокой, беломраморной, сидит она на золотом престоле со каменьями драгоценными, и обнимает ее принц молодой, красавец писаный, на голове со короною царскою, в одежде златокованой; перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писаный, на голове со короною царскою:

«Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь в образе человеческом, будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня, еще малолетнего, сатанинским колдовством своим, силой нечистою,

оборотила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари божией, пока найдется красная девица, какого бы роду и званья ни была она, и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною,— и тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, и залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красных, ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, королевою в царстве могучем».

Тогда все тому подивилися, свита до земли преклонилася. Честной купец дал свое благословение дочери меньшой, любимой, и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные, и нимало не медля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сама там была, пиво-мед пила, по усам текло, да в рот не попало.

1858





КОММЕНТАРИИ

В сборник вошли произведения, отразившие характерные черты процесса становления русской литературной сказки. Ядро их составляют сказки писателей 1820—1830-х годов, остальные являются либо существенной вехой в истории развития жанра (как сказки Дмитриева, Карамзина, Державина), либо значительным следствием (как сказка Аксакова).

Все произведения одного автора печатаются вместе, в хронологическом порядке, а общий порядок строится по хронологии первого произведения автора.

И. И. Дмитриев

ПРИЧУДНИЦА

Впервые напечатана в издании: Сочинения и переводы Ивана Дмитриева. Ч. 2. М., 1803, с. 33—44 (в разделе «Сказки»). В нем имелось авторское примечание к заглавию: «Предваряю читателей, что эта сказка родилась от Вольтеровой сказки «La biquele». Лучше признаться, пока не уличили».

С. 31. *Берлины* — старинная карета.

С. 32. *Брамербас* — персонаж комедии «Якоб фон Тибое» датского драматурга Л. Б. Хольберга (1684—1754).

С. 33. *Как ведьма некая в сарае, Оборотя тебя в драгунского коня...* — автор развивает мотив народной украинской сказки, позже на эту тему написано стихотворение А. С. Пушкина «Гусар» (1833).

Колёт вохряной — короткая одежда кавалериста, желтого цвета.

Пермесский бог — Аполлон, бог вдохновения и искусства, иносказательно назван по имени ручья, текущего с Геликона, горы, бывшей обиталищем муз.

С. 34. *Богданович* Иннокентий Федорович (1743—1803) — поэт, журналист, переводчик. Самым крупным и наиболее популярным его произведением была сказочная поэма «Душенька» (1775—1778) — вольный пересказ мифологических историй об Амуре и Психее. Этот сюжет разработан Апулеем и Лафонтеном.

С. 35. *Армидин сад* — сравнение с волшебными садами Армиды, героини поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим».

С. 36. *Диц* Фердинанд (1742—1798) — венгерский скрипач и композитор, в 1771 г. приехал в Петербург на гастроли и остался в России навсегда.

С. 37. *Амфион* (греч. миф) — сын Зевса, был наделен необычайным даром: мог передвигать камни силою своего песнопения и игрою на лире.

С. 39. *Хилков* А. Я. (ум. в 1718) — князь, русский посланник в Швеции, при дворе Карла XII; ему приписывалось сочинение для юношества «Ядро российской истории» (настоящим автором которой был А. И. Манкиев, секретарь Хилкова).

С. 40. *Ли́пец* — напиток из липового меда.

Н. М. Карамзин

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Впервые опубликована — журн. «Аглая», 1795, кн. 2.

Творческая декларация в начале поэмы представляет собой демонстративный отказ от эпической и одической поэзии. Она близка пропаганде «русской мифологии» и русской народной поэзии, которую вел в эти годы Н. А. Львов.

Поэма Карамзина́ вызвала положительную оценку современников. А. Х. Востоков писал: «Прекрасная сия пьеса... по справедливости обратила на себя общее внимание сколько заманчивостью слога, столько и новостью размера» («СПб. вестник», 1812, ч. 2, № 6, с. 285).

С. 43. *Не хочу с поэтом Греции... петь вражды Агамемноновой с храбрым правнуком Юпитера...* — речь идет об «Илиаде» Гомера. Во время осады Трои Агамемнон враждовал с Ахиллесом, сильнейшим из греческих героев.

...или, следуя Вергилию... — в «Энеиде» Вергилий рассказал о бегстве сына Афродиты Энея из горящей Трои, его странствиях и переселении в Италию, где он наследовал престол царя Латина.

С. 44. *...бог Сатурн мог любезного родителя превратить в урода жалкого...* — по древнегреческой легенде, бог Сатурн оскопил своего отца Урана.

...чтобы Леды были — курицы и несли весною яица... — по легенде, нимфа Леда вступила в союз с Зевсом, принявшим облик Лебедя, и снесла два яйца, из которых вылупились красавица Елена и герой Поллукс.

С. 45. *...с алхимистом открываешь нам...* — здесь проявляется скрытое ироническое отношение к мистицизму «мартинистов», т. е. масонов.

С. 47. *Геснер* Соломон (1730—1788) — швейцарский писатель, автор поэм «Идиллия», «Смерть Авеля», идеи и творчество его очень ценились в московском масонском кружке.

С. 54. *Продолжение впредь* — поэма не была окончена писателем.

Г. Р. Державин

ЦАРЬ-ДЕВИЦА

Впервые опубликована в издании: Сочинения Г. Р. Державина, ч. 5. СПб, 1816, с. 181. В рукописи подзаголовок — «Романс» и помета: «На Званке в 1809 г. 22 июля». Задумано, по-видимому, как пример жанра стихотворной волшебной сказки для статьи «Рассуждение о лирической поэме» (1811), над которой Державин работал и в 1812 году (статья не окончена и не опубликована).

С. 58. *Полкан* — получеловек-полуконь, действующее лицо сказки о Бове-королевиче.

Во осьми ее морях... — «Державин представляет себе Царь-девицу владетельницей всей России» — ср. «восемь морей» в 8-й строфе оды «Изображение Фелицы» (прим. Я. Грота к Соч. Державина, т. 3, СПб., 1866, с. 124). По предположению Я. Грота, многие подробности стихотворения подсказаны событиями царствования имп. Елизаветы Петровны, а ее красота и «роскошное бездействие» участвовали в создании образа героини. Гротом выявлены следующие исторические намеки в сказке: описание царскосельского дворца (10-й куплет), соколиная охота Елизаветы (13-й), малороссийские певчие (15-й), нега императрицы (17-й), ее наряды (21-й), богомолье (22 и 23-й), ода Ломоносова (25-й), множество женихов (26-й), посольство Надир-шаха (28-й), отношение к Фридриху II и Семилетняя война (34-й и след.) (Грот Я., там же, с. 745).

С. 59. *Тазáла* — журила.

Инший — иной, другой, чужой.

С. 60. *Эдемский индей* (райский индюк) — павлин.

Кóлпица (колпик) — белая птица вроде аиста.

С. 61. *Маркобрýн* — имя короля заимствовано из сказки о Бове-королевиче.

Насáд — плоскодонное судно.

Сбойствó — хитрость.

А. П. Зонтаг

ДЕВИЦА-БЕРЕЗНИЦА

Впервые напечатана отдельной книжкой — Одесса, 1830. Впоследствии вошла в сборник писательницы: Повести и сказки для детей, в 3-х частях. СПб., изд. Смирдина, 1832—1834.

Зонтаг начала писать для детей, когда стала подрастать ее единственная дочь. В. А. Жуковский поддерживал в ней желание к литературной работе и направлял интересы именно к детской литературе: «У Вас много в душе богатства, в уме ясности и опытности, вы имеете решительный дар писать и овладели русским языком... Как умная мать, которая знает свое ремесло, ибо выучена ему любящим сердцем, здравым умом и опытом, пишите о том, что знаете сами в науке воспитания» (Жуковский В. А. Письма к Зонтаг.— Уткинский сборник I. Письма В. А. Жуковского М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. М., 1904, с. 109).

Сказка о Девице-Березнице представляет собой вольный пересказ немецкой сказки, которая по-русски напечатана в сборнике «Волшебные сказки Музеуса» (СПб., 1883, с предисловием В. Крестовского) под названием «Фея ручья».

Сюжеты сказок совпадают, но в деталях очень много разночтений. У Зонтаг героиня — дочь бедных людей, родилась в семье угольщика (в немецкой сказке — дочь рыцаря), девочкам покровительствуют феи, олицетворяющие разные стихии — фея ручья и условно лесная дева, поэтому весь их антураж различается. В том и другом случае девушки поступают в услужение, а потом становятся женами (командора и герцога в разных случаях).

О. М. Сомов

КИКИМОРА

Впервые в альманахе «Северные цветы на 1830 год». СПб., 1829, с. 182—215. Подпись: О. Сомов.

С. 85. *Кикимора* — в народных поверьях род домового. Днем она сидит за печкой невидимкою, а ночью прядет, проказничает в доме.

Богатель — имущество, домашний скарб.

С. 88. *Звали его ...Вот-он Иванович...* — искаженное Оттон Иванович.

С. 89. *Павлинка* — берестяная табакерка.

Беленькая — двадцатипятирублевая ассигнация.

С. 92. *Иверни* — осколки, обломки.

СКАЗКА О МЕДВЕДЕ КОСТОЛОМЕ И ОБ ИВАНЕ, КУПЕЦКОМ СЫНЕ

Впервые напечатана в альманахе «Царское Село на 1830 год». СПб., 1829, с. 148—156. Подпись: О. Сомов. Датировано 17 сентября 1829 г., днем рождения жены А. А. Дельвига Софьи Михайловны, которой и посвящена сказка.

С. 95. *Истрощи́т* — расщепит, мелко искрошит.

С. 96. *...к Макарьеву на ярманку.* — Знаменитые ярмарки у Макарьева монастыря на левом берегу Волги; происходили с середины XVI в. до 1816 г., когда после огромного пожара ярмарка была перенесена в Нижний Новгород.

...красной александрийской своей рубашки... — сшитой из александрийской материи (красной бумажной с прониткою другого цвета).

До поло́гу — до упаду.

Антоний Погорельский

(А. А. Перовский)

ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ

Волшебная повесть для детей. Впервые отдельным изданием — СПб., 1829.

Повесть была встречена одобрительными рецензиями («Северная пчела», 1829, январь; «Новая детская литература», 1829, кн. I), но все они носили достаточно поверхностный характер. Газета «Бабочка» отмечала: «В этой прекрасно рассказанной повести виден автор „Двойника“», а достоинства ее видела в том, что писателю «весело говорить, а другим весело слушать» его («Бабочка», 1829, № 10, январь). Только рецензент «Московского вестника» попытался проанализировать сказку. Отметив прекрасный слог и «заманчивый рассказ», верные психологические акценты и убедительность нравоучительной линии, он, однако, не нашел в волшебной повести достаточной «достоверности», а сюжетное сходство с повестью Л. Тика «Эльфы» заставило его сделать такой вывод: «...сказку должно бы назвать подражанием, а не сочинением» («Московский вестник», 1829, № 6, с. 153—154).

Сказка была популярным чтением у детей на протяжении десятилетий. По свидетельству Л. Н. Толстого, «Черная курица» имела на него в детстве «большое влияние» (Толстой Л. Н. Биография. Сост. П. Бирюков, Т. I, изд. 2, М., «Посредник», 1911, с. 116). Упоминание о «Черной курице» есть в рассказе Толстого «Молитва».

С. 101. *Васильевский остров* — район в Петербурге.

Линия — название каждой стороны улицы на Васильевском острове произносится всегда с номером.

С. 102. *Вака́нтное время, или вака́ция* — каникулы.

С. 103. *Бу́кли, тупе́й и длинная коса* — атрибуты мужской прически в XVIII веке.

Салоп — женское верхнее платье.

С. 105. *Империа́л* — золотая монета.

С. 106. Бергамо́ты — сорт груш.

С. 108. *Шанда́л* — подсвечник.

Мура́ва — глазурь, которой покрывали изразцы и глиняную посуду.

А. С. Пушкин

СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ

Написана в Болдине 13 сентября 1830 года. При жизни поэта не печаталась по цензурным условиям. Впервые опубликована В. А. Жуковским в 1840 г. («Сын отечества», 1840, т. II, кн. I, с. 5—10) в переделанном виде и под заголовком: «Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде» (в тексте «поп» тоже был заменен «купцом»). Подлинный текст сказки был напечатан П. А. Ефремовым в Собрании сочинений Пушкина (СПб., 1882).

Основой послужила запись народной сказки, сделанная Пушкиным в Михайловском, но поэт использовал только два сюжета из трех, составлявших устный вариант сказки.

Летом 1831 г. Пушкин читал эту сказку и «Царя Салтана...» Гоголю в Царском Селе. Гоголь писал Данилевскому (в письме от 2 ноября 1831 г.), что это «сказки русские народные — не то, что «Руслан и Людмила», но совершенно русские» и особо о «Сказке о попе...»: «Одна сказка даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая».

СКАЗКА О МЕДВЕДИХЕ

Датируется предположительно 1830 г., в рукописи названия не имела. Создана на основе русской народной традиции. Не была завершена Пушкиным.

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ...

Написана летом 1831 г. в Царском Селе. Напечатана в книге: Стихотворения Александра Пушкина. Третья часть. СПб., 1832, с. 130—181.

В распоряжении Пушкина были три записи этой сказки, сделанные в разное время, в том числе сказка, рассказанная Ариной Родионовной. По мнению Азадовского, именно она послужила основой авторского варианта, хотя многие ее детали отброшены и заменены другими. Кроме того, сюжет сказки мог быть известен поэту из сборника «Принцесса Прекрасная Звезда» д'Онуа и «Сказок Тысячи и одной ночи», переведенных на французский язык Галланом (оба сборника были в библиотеке поэта). В числе дополнительных источников нужно назвать сборник Кирши Данилова «Древние российские стихотворения» (оттуда пришли образ царевны Лебеди и имя Бабариха), лубочную повесть о Бове-королевиче (имя Гвидон); западноевропейская авантюрная повесть тоже оставила в сказке свои черты.

Стихом, избранным для этой сказки, Пушкин написал еще «Сказку о мертвой царевне» и «Сказку о золотом петушке».

С. 143. *Удел* — княжество, владение.

С. 154. *Неуказанный* — запрещенный.

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

Написана осенью 1833 года в Болдине. Опубликована в «Библиотеке для чтения», 1835, т. X., отд. I, с. 5—11; в том же году в издании «Стихотворения Александра Пушкина». Часть четвертая. СПб., 1835.

«Сказка о рыбаке и рыбке» написана тем же стихом, что и «Песни западных славян», в этот цикл поэт поначалу хотел включить сказку.

СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ...

Написана осенью 1833 года в Болдине. Опубликована в «Библиотеке для чтения», 1834, т. II, отд. I, с. 1—16.

Основным источником послужила сказка о Белоснежке из упоминавшегося выше сборника бр. Гримм, из нее — все главные сюжетные узлы. Вторым источником была запись народной сказки, сделанная в Михайловском («Царевна заблудилась в лесу...»), из нее поэт воспользовался отдельными деталями (богатыри, живущие в лесу, цепи, на которые повесили хрустальный гроб); жених, королевич Елисей, придуман Пушкиным.

С. 170. *Сарочи́н* — сарацин, чужестранец с Востока, как правило, наездник.

Спе́шить — сбить с коня.

С. 172. *Рогатка* — деревянный ошейник с четырьмя длинными концами («рогами») мешал наказанному спать.

Черни́ца — монахиня, странница в черной одежде.

СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ

Написана в 1834 году в Болдине. Напечатана в журнале «Библиотека для чтения», 1835, т. IX, кн. 16, с. 111—117. В печати сделаны цензурные сокращения, о них Пушкин пишет в Дневнике (февраль, 1835 г.).

Источник сказки долго оставался неустановленным, только в 1933 г. А. А. Ахматова выяснила, что им была сказочная новелла В. Ирвинга «Легенда об арабском звездочете» из книги «The Alhambra», вышедшей в Лондоне в 1832 г. В том же году книга была переведена на французский язык, перевод имелся в библиотеке Пушкина. Черновой набросок стихотворения «Царь увидел пред собою столик с шахматной доскою...», относящийся к 1833 г., позволяет предположить, что замысел сказки возник во время работы над сказками о рыбаке и рыбке и мертвой царевне.

Пушкинская сказка в основном сохраняет сюжетную схему легенды Ирвинга, хотя сделан ряд отступлений в деталях: изменена развязка, готская принцесса заменена на восточную царицу, придуман эпизод с сыновьями, и, главное, «золотой талисман» источника заменен «золотым петушком», происхождение которого неизвестно (возможно, поэт воспользовался типично фольклорным эпитетом «золотой», кстати, любимым эпитетом Арины Родионовны).

В. А. Жуковский

СКАЗКА О ЦАРЕ БЕРЕНДЕЕ, О СЫНЕ ЕГО ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ, О ХИТРОСТЯХ КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО И О ПРЕМУДРОСТИ МАРЬИ-ЦАРЕВНЫ, КОЩЕЕВОЙ ДОЧЕРИ

Написана 2 августа — 1 сентября 1831 г. в Царском Селе. Впервые напечатана в сборнике «Новоселье». СПб., 1833, с. 37—68.

В основе сказки Жуковского лежит запись, сделанная Пушкиным в Михайловском в 1824 г. со слов няни Арины Родионовны, кроме того, поэт использовал еще отдельные эпизоды из бывальщины «Садков корабль стал на море» из сборника Кирши Данилова и сказки «Милый Роланд и девица Ясный цвет» из сборника братьев Гримм.

СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА

Написана 26 августа — 12 сентября 1831 г. Впервые напечатана в журнале «Европеец», 1832, № 1, с. 24—37.

Основана на двух литературных источниках: немецком — сказке «Шиповник» из сборника братьев Гримм и «Красавица, спящая

в лесу» французского писателя Ш. Перро. Жуковский придал сказке русский колорит, использовал стих, близкий стихам пушкинских сказок.

ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК

Сказка написана 24 августа — 22 сентября 1831 г. в Царском Селе. Впервые напечатана в журнале «Европеец» (1832, № 2, январь, с. 143—164) с подзаголовком: «Отрывок из неоконченной повести».

Источником для сказки послужила древнегреческая сатирическая поэма «Батрахомиомахия» — «Война мышей и лягушек», автором которой в древности считали Гомера, а современная филология наиболее вероятным автором ее признает Пигрета Карийского (конец VI — начало V в. до н. э.). Поэма сатирически пародирует греческий героический эпос, в том числе и гомеровский, но этот смысл поэмы почти не сохранен в сказке Жуковского.

Более близким источником для нее считают поэму немецкого писателя XVI в. Ролленхагена «Froschmäusler» («Лягушкомышатник») и ее позднейшие переделки; некоторые эпизоды взяты Жуковским из басен Крылова и Дмитриева. Антифеодальная сатира немецкого оригинала сильно ослаблена, а в комических ситуациях, рассказанных в «арзамасском» стиле, угадывается пародия на современную автору литературную ситуацию. Кот — Федот Мурлыка — в черновом автографе носил имя Фаддея Мурлыки, что было явным указанием на Фаддея Булгарина, и Жуковский при публикации просил изменить имя, чтобы избежать прямых намеков. Возрождение в творчестве писателя литературной сатиры связано, видимо, с ситуацией, сложившейся вокруг газеты Дельвига и Пушкина. В 1831 г., после смерти Дельвига и прекращения «Литературной газеты», борьба с Булгариным не кончилась, но приняла другие формы. Летом в Царском Селе Пушкин работал над своими памфлетами, направленными против Булгарина, второй — «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» — писался одновременно со сказкой Жуковского, в сентябре 1831 г.

Таким образом, если кот — сатира на Булгарина, то мыши изображают группу литераторов, близких к Пушкину и «Литературной газете», премудрая Крыса Онуфрий — это сам Жуковский, Поэт мышиного царства Клим, по прозванию Бешеный Хвост, видимо, Пушкин, а Мышонок Петр Долгохвост — племянник Жуковского И. В. Киреевский, издатель журнала «Европеец». При печатании сказки намеки были ослаблены, и сатирический смысл ее стал почти незаметен.

КОТ В САПОГАХ

Сказка написана 22—23 марта 1845 г. Впервые напечатана в «Современнике» (1846, т. XLIV, с. 5—12) с подзаголовком: «Сказка» и с пометой «1845, в марте».

Представляет собой стихотворное переложение сказки Ш. Перро из сборника «Волшебных сказок» — «Le Maître Chat, ou le chat botté» («Дядюшка Кот, или Кот в сапогах»), которая, в свою очередь, является переработкой народной сказки.

Создавалась с целью познакомить русских детей со сказками других народов. Жуковский точно следовал оригиналу, но иногда развивал сжатый текст Перро, вносил в него юмористические черты.

ТЮЛЬПАННОЕ ДЕРЕВО

Написана 27 марта 1845 г. Впервые напечатана в «Современнике» (1846, т. XLIII, с. 5—16) с подзаголовком «Сказка» и с пометой: «1845, Франкфурт-на-Майне». В переработанном виде вошла в 5-е изд. «Стихотворений В. Жуковского» (1849).

Является стихотворным переложением сказки «О миндальном дереве» («Von dem Machandeboom») из сборника «Детские и домашние сказки» Я. и В. Гриммов. Первоначально сказка носила название «Миндальное дерево», о чем свидетельствует сохранившаяся рукопись (в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Как и «Кот в сапогах», сказка создавалась с целью познакомить русских детей со сказочной поэзией других народов. Жуковский не раз возвращался к работе над текстом этой сказки, постепенно ослабляя в ней чисто сказочные черты и усиливая дидактическое звучание.

СКАЗКА О ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ И СЕРОМ ВОЛКЕ

Написана в 1845 г. между 27 марта и 6 апреля. Впервые напечатана в «Современнике» (1845, т. XXXIX, с. 225—263), с пометой: «1-го июля 1845 г. Франкфурт-на-Майне» (дата относится, по-видимому, к завершению работы над сказкой).

В основе два распространенных сюжета — добывание жар-птицы (поэт опирался на «Сказку об Иване-царевиче, Жар-птице и Сером волке» из сборника «Дедушкины прогулки, или Продолжение настоящих русских сказок», СПб., 1791, 1805, 1815, 1819 и др.) и сюжет о Кощее Бессмертном, сюда вставлены мотивы из разных сказок: добывание волшебного коня («Любим-царевич»), встреча с Бабой-Ягой, тайна Кощеевой смерти, убийство героем Кощея («Сказка о гуслях-самогудах»).

В сказочное повествование внесено и немало литературных мотивов: например, рассказ о приезде Серого Волка ко двору царя Демьяна Даниловича и о дальнейшей жизни Волка напоминает описания королевской жизни в сказках Ш. Перро.

Литературный характер сказки подчеркивается тем, что в ней применен повествовательный белый лирический стих, излюбленный Жуковским в 1840 годах, которому придана простота синтаксиса, граничащая с прозой.

С. 254. Бирю́ч (стар. татарск.) — глашатай, объявлявший по улицам и площадям городов указы правителей.

С. 256. *...По швам басоны* — особая шерстяная тесьма для отделки форменной одежды и обивки езжалой и седельной утвари.

В. И. Даль

(Казак Луганский)

СКАЗКА О ИВАНЕ МОЛОДОМ СЕРЖАНТЕ, УДАЛОЙ ГОЛОВЕ, БЕЗ РОДУ, БЕЗ ПЛЕМЕНИ, СПРОСТА БЕЗ ПРОЗВИЩА

Напечатана впервые в сборнике «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток первый». СПб., 1832, с. 9—51.

Сборник начинался предисловием, написанным тем же балагурным языком, что и сами сказки, в котором писатель утверждает русскую самобытность и хочет оградить ее от «вычур заморских», получивших такое распространение в российской жизни; позднее оно было перепечатано в Собрании сочинений В. И. Даля (т. VIII, 1861).

Книга почти сразу же по выходе в свет была конфискована, автор посажен под арест, но вскоре выпущен благодаря заступничеству В. А. Жуковского. Современники не увидели в сказках Даля никакой «крамолы» и сетовали на действие правительства с удивлением и иронией. А. В. Никитенко записал в дневнике от 26 октября 1832 года: «Новое гонение на литературу. Нашли в сказках Луганского (В. И. Даля) какой-то страшный умысел против верховной власти и т. д. Я читал их, это не что иное, как просто милая русская болтовня о том о сем. Главное достоинство их в народности рассказа. Но люди, близкие ко двору, видят тут какой-то политический умысел» (Никитенко А. В. Дневник. М., 1955, с. 121—122).

Однако ближайший помощник А. Х. Бенкендорфа, А. И. Мордвинов, сообщая шефу жандармов о судьбе книги Даля, четко формулирует, почему она вызвала такую реакцию: «Наделала у нас шуму книжка, пропущенная цензурою, напечатанная и поступившая в продажу. Заглавие ее: Русские сказки Казака Луганского. Книжка напечатана самым простым слогом, вполне приспособлена для низших классов, для купцов, солдат и прислуги. В ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдата и пр. Я принял смелость поднести ее его величеству, который приказал арестовать сочинителя и взять его бумаги для рассмотрения» («Русский архив», 1886, № 11, с. 412).

Сказка создана на основе народной, использует известный народно-сказочный сюжет о красавице жене и характерные для него образы (бедного, неудачливого солдата, его красавицы жены, злого и завистливого царя). Но все сюжетные ходы и образы народной сказки получают у Даля новое освещение, насыщены ассоциациями с современностью.

Не случайно Даль после своего ареста объяснил причину его следующим образом: «По указанию Булгарина обиделись Пяташные головы, обиделись и Алтынные, оскорбились и такие, которым цена была гривна без вычета» (Мельников П. И. Воспоминание о В. И. Дале.— «Русский вестник», 1873, март, с. 298).

Первый сборник сказок Даля является сейчас библиографической редкостью.

С. 265. *Повы́тчик* — столоначальник, чиновник, ведающий каким-либо отделом учреждения.

Посольщик — гонец, посыльный.

Харате́йный — пергаментный.

СКАЗКА О ШЕМЯКИНОМ СУДЕ

Напечатана впервые в книге «Русские сказки... Казака Луганского. Пяток первый. СПб., 1832, с. 55—76 (см. прим. к «Сказке о Иване Молодом сержанте...»).

Основой сказки является «Повесть о Шемякином суде» — народная сатира на воеводский суд XVII века. Однако Даль использовал лубочный вариант (воспроизведенный в сб. Афанасьева под № 319). Об источнике сказки писатель сам сказал в ее заключении: «А кто хочет знать да ведать последний приговор судьи Шемяки... тот купи за три гривна повествование о суде Шемякином... начинающееся словами: «В некоторых Палестинах два мужика живали» — и читай», имея в виду лубочное издание.

Народные сказочные сюжеты в их устной традиции послужили основой для вставных эпизодов сказки.

С. 276. *Карл Христофорович Кнорре* — астроном, директор Николаевской обсерватории, с которым В. И. Даль был близок в 1819—1822 гг.

С. 278. *Просить* (на кого-либо) — подавать жалобу в суд.

Про́тори — издержки, расходы (по судебным делам).

Убить бобра — обмануться в расчетах.

С. 281. *Авраам, Хам* — библейские персонажи; Авраам, праотец, родоначальник евреев — в переносном смысле почтенный человек; Хам — сын Ноя, проклятый отцом за непочтение, в переносном смысле — наглый, не ведающий, что хорошо, что плохо, человек.

С. 282. *Палестины* — местность, край.

Лубочное (изображение) — напечатанное с лубка (т. е. с липовой доски, на которой гравировалась картинка для печати).

СКАЗКА О ПОХОЖДЕНИЯХ ЧЕРТА-ПОСЛУШНИКА, СИДОРА ПОЛИКАРПОВИЧА, НА МОРЕ И НА СУШЕ, О НЕУДАЧНЫХ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ ПОПЫТКАХ ЕГО И ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИСТРОЙКЕ ЕГО ПО ЧАСТИ ПИСЬМЕННОЙ

Напечатана впервые в книге: «Русские сказки... Казака Луганского. Пяток первый. СПб., 1832, с. 161—201 (см. прим. к «Сказке о Иване Молодом сержанте...»).

В сказке от народно-поэтического творчества сохранилась лишь общая трактовка «нечистой силы» как ничуть не страшной и всегда пасующей перед человеком. Сюжет и конкретные образы сказки — изобретение Даля.

С. 284. *П. М. Новосильский* и *Н. И. Синицын* — товарищи В. И. Даля по Морскому кадетскому корпусу.

Окрýтник — ряженый, маскированный.

С. 285. *Хорýнжий* — корнет (прапорщик) в казачьих войсках.

Унтер-баталер — унтер-офицер на судне, ведающий провиантской частью.

С. 286. *Сплéчиться* — повредиться, вывихнуть что-либо.

С. 287. *Распáзить* — распластать.

С. 291. *Вéси* — деревни, села.

С. 292. *Кнáстер* — сорт крепкого курительного табака, особенно распространенный у немцев.

Свайка — приспособление для сращивания веревок.

Кабóлка — пеньковая нить.

Шкатóрина — нижний край паруса.

С. 294. *Пáсма* — двадцатая часть мотка пряжи, ниток.

Варгáн — народный музыкальный инструмент, состоящий из согнутой железной полоски с зубьями, вдоль которой движется стальной стержень.

СКАЗКА О БЕДНОМ КУЗЕ БЕСТАЛАННОЙ ГОЛОВЕ И О ПЕРЕМЕТЧИКЕ БУДУНТАЕ

Напечатана впервые в газете «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1836, № 17, за подписью: В. Луганский.

По мнению И. П. Лупановой, сюжет сказки заимствован непосредственно из устной традиции, ведь известно, что Даль записывал

народные сказки, начиная с 1821 года, а впоследствии подарил свое собрание (около 1000 сюжетов) А. Н. Афанасьеву (в «Указателе сказочных сюжетов» Н. П. Андреева. Л., 1925, № 325).

С. 300. *Аман* — пощади, сдаюсь.

По́ршни — род легкой обуви из сырой кожи или шкуры.

С. 301. *Клю́шва* — две боковые лопасти, образующие башмак.

Ускорнячо́к — треугольная вырезка в ухе лошади, являющаяся меткой.

С. 303. *...трех с половиною вершков...* — при определении роста называли обычно только вершки, опуская подразумеваемые два аршина.

...к семи Семионам... — братья-умельцы, персонажи русских народных сказок.

Присударить — уговорить.

С. 304. *И́верень* — то же, что ускорнячок.

Прилучи́ться — случиться, приключиться.

СКАЗКА О ГЕОРГИИ ХРАБРОМ И О ВОЛКЕ

Впервые напечатана в «Библиотеке для чтения», 1836, том 14, ч. 2, с. 133—144, за подписью: Казак Луганский.

В примечании к этой сказке в книге «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского» (СПб., 1846) Даль сообщает: «Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным...» (см. с. 307, события относятся к сентябрю 1833 г.). Сказка отличается татарско-калмыцким колоритом, видимо, Пушкин услышал ее во время своего путешествия в Поволжье и Оренбург летом и осенью 1833 г. (подробнее см.: Азадовский М. К. Сказка, рассказанная Пушкиным Далю.— Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 4—5. М.—Л., АН СССР, 1939).

Далевская сказка является обработкой сюжета из так называемой крестьянской мифологии — сюжета о «волчьем пастыре». В сб. А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды» (М., 1860) напечатана сказка «Волк», сюжет которой аналогичен далевскому, но вместо Георгия здесь выведен Христос. В примечании к этой сказке Афанасьев напоминает о сказке Казака Луганского и сообщает: «Георгий Храбрый между простолюдинами почитается покровителем стад и начальником волков, которым раздает приказания где и чем кормиться. Народные поговорки гласят: «Св. Юрий коров запасает», «Что у волка в зубах, то Егорий дал». Существует поверье, что волк ни одной твари не задавит без божьего дозволения».

С. 307. *Фирман* — указ. В журнальном тексте: *фетва́*, т. е. приговор, решение (в области дел, связанных с религией).

С. 314. *Ри́хтиг* — в меру, впору, в самый раз.

В. Ф. Одоевский

СКАЗКА О ТОМ, ПО КАКОМУ СЛУЧАЮ КОЛЛЕЖСКОМУ СОВЕТНИКУ ИВАНУ БОГДАНОВИЧУ ОТНОШЕНЬЮ НЕ УДАЛОСЬ В СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ НАЧАЛЬНИКОВ С ПРАЗДНИКОМ

Впервые напечатана в сборнике В. Ф. Одоевского «Пестрые сказки, с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным». СПб., 1833, с. 75—88.

В собрании «Сочинений князя В. Ф. Одоевского» 1844 года помещена в «третьей части», в разделе «Отрывки из «Пестрых сказок».

От лица Иринея Модестовича Гомозейко рассказаны многие произведения писателя и не только в «Пестрых сказках». От имени «дяди Иринея» писатель обращается к народным кругам в «Сельском чтении», детские сказки рассказывает «дедушка Ириней». Этот литературный персонаж сродни пушкинскому Белкину и гоголевскому Рудому Панько. В марте 1833 г. Одоевский и Гоголь задумали объединить трех этих персонажей в одном альманахе — «Тройчатка, или Альманах в 3 этажа». Об этом писал Одоевский Пушкину в сентябре того же года: «Скажите, любезнейший Александр Сергеевич, что делает ваш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко и Рудый Панек, по странному стечению обстоятельств, описали: первый *гостиную*, второй *чердак*; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность *погреб*? Тогда бы вышел весь дом в три этажа, и можно было бы к Тройчатке сделать картинку, представляющую разрез дома в три этажа с различными в каждом сценами...» («Русский архив», 1864, с. 814).

Издание не было осуществлено, но его идея свидетельствует о литературной солидарности всех трех писателей.

Сказка была напечатана во Франции в сборнике «La décameron russe, histoires et nouvelles», Paris, 1855.

С. 318. *...ничье имя выше его не стояло на визитных реестрах...* — в списках лиц, поздравивших с праздником, расписавшихся в поздравительном листе.

С. 319. *...шесть в сюрах, один на червях, мизер уверт...* — термины карточной игры, обозначающие определенную комбинацию карт в бостоне.

Сивиллин треножник — Сивиллы (Сибиллы) в греческой мифологии — пророчицы, прорицательницы, в экстазе предрекающие будущее.

...ремиз цепляется за ремизом, пулька растет горою... — карточные термины: ремиз — недобор взятки, пулька — кон или ставка в разных играх.

С. 320. *...треугольные шляпы торчат на фризовых и камлотных шинелях...* — виды тканей, из которых шили шинели: фриз — толстая, ворсистая байка, камлот — суровая шерстяная материя.

...мальчики играют в биток и катают яйца. — Пасхальные игры с крашеными яйцами.

СКАЗКА О ТОМ, КАК ОПАСНО ДЕВУШКАМ ХОДИТЬ ТОЛПОЮ ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ

Впервые напечатана в сборнике «Комета Белы», альманах на 1833 год (СПб., с. 259—278), под псевдонимом «Влад Глинский» и с гравюрой, изображающей, как «басурмане» превращают девушку в куклу. В том же году сказка перепечатана в книге «Пестрые сказки...» (СПб., 1833, с. 113—133).

В собрании «Сочинений князя В. Ф. Одоевского» 1844 года сказка без всяких изменений помещена в третьей части в разделе «Отрывки из «Пестрых сказок».

У современников «Пестрые сказки» вызвали интерес живой и неоднозначный. Ими восхищался знаток русского языка В. И. Даль. Белинский в «Литературных мечтаниях» дал очень высокую оценку сборнику в целом и лучшей назвал «Сказку о том, как опасно девушкам...» (Собр. соч., т. 1, с. 20—105), а Н. Полевой осудил книгу, увидел в ней «холодную, бесцветную, ничего не сказывающую аллегорию», от которой веет «холодом прозаизма» («Московский телеграф», 1833, № 8, апрель, с. 572—582). Московские друзья писателя очень одобрительно отозвались о сказке. А. И. Кошелев в письме от 12 февраля 1833 года сообщает, что он и Киреевский «с удовольствием велием» прочитали сказку в «Комете Белы»: «она очень хороша и имеет глубокое значение», а Н. Ф. Павлов в апреле того же года писал: «Сказку твою в «Беле» я ставлю гораздо выше того, что ты дал в «Новоселье», то есть выше «Бала» и «Бригадира» (ОР ГПБ, ф. Одоевского В. Ф. оп. 2, пер. 845, с. 32 об.).

С. 325. *В реторту втиснули они множество романов мадам Жанлис, Честерфильдовы письма... дюжину новых контрадансов...* — Жанлис С. Ф. дю Гре де Сен-Обен, де — французская писательница (1746—1830), была воспитательницей детей герцога Орлеанского, автором многочисленных, популярных во всей Европе романов, сочинений по воспитанию; Честерфильд Ф. Д. С. (1694—1777) — английский политический деятель, автор «Писем лорда к сыну» (1774), которые представляют собой свод житейских и мо-

ральных правил английской аристократии XVIII века; к о н т р а д а н с (contredanse) — танец английского происхождения, популярный в XVII—XVIII столетиях.

Сочинения Одоевского для детей печатались в начале 1830-х годов в журнале «Детское чтение» А. Очкина и В. Львова (к сожалению, до нашего времени не сохранились полные комплекты журнала, и потому затруднительно указать адрес первых публикаций сказок писателя). Позднее автор предполагал собрать все свои «детские» произведения в двухтомнике «Сказки и повести для детей дедушки Иринея», но в 1841 году вышел из печати только первый том, и издание было остановлено Одоевским из-за плохого его качества.

Позднее сказки и другие сочинения для детей Одоевского были собраны Самариным в сборник «Сказки и сочинения для детей» (М., 1871), который много раз переиздавался.

ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ

Впервые напечатана отдельной книгой (СПб., 1834).

Белинский называет сказку одним из лучших детских произведений писателя, в конце 1840-х гг. посвящает отдельную рецензию двум сказкам («Городок в табакерке» и «Червячок»): «...Две его сказки, одна старая, другая новая, милы до чрезвычайности, хотя и написаны для маленьких, очень маленьких детей. Мы уверены, что они будут в восторге от этих сказочек, которых сюжеты так ловко приноровлены к детской фантазии, рассказ так увлекателен, а язык так правилен и так похож на тот, которым говорят грамотные люди» (Б е л и н с к и й В. Г. Полн. собр. соч., т. XI, с. 180).

РАЗБИТЫЙ КУВШИН

Опубликована впервые в журнале «Детское чтение», позднее печаталась в сборниках Одоевского «Сказки и сочинения для детей».

Источник сказки не установлен.

ИНДИЙСКАЯ СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ ГЛУХИХ

Впервые — в журнале «Детское чтение», затем в сборнике «Сказки и повести для детей дедушки Иринея», СПб., 1841, с. 118—139.

Источник сказки не установлен.

МОРОЗ ИВАНОВИЧ, ДЕТСКАЯ СКАЗКА ДЕДУШКИ ИРИНЕЯ

Напечатана отдельной книгой (СПб., 1847).

Представляет собой переложение известной сказки братьев Гримм, в русских сборниках их сказок печатается под названием «Баба

Метелица» или «Снежница». Сюжет гриммовской сказки изложен у Одоевского точно, но все детали у него — русские: девочка прыгает в колодец за ведром, а не роняет туда веретено, вместо Феи Метелицы ее встречает на дне колодца Дед Мороз; в награду у Гриммов девочка осыпана золотым дождем, а другая, в наказание, облита смолой, у Одоевского награда и наказание более соответствуют сознанию ребенка: это пятачки и алмазная булавочка в первом случае, ледяной кристалл и застывшая ртуть — во втором.

В сборниках «Сказки и сочинения для детей» сказка «Мороз Иванович» печаталась с эпиграфом:

Нам даром, без труда, ничто не достается:
Недаром исстари пословица ведется.

С. 348. *Студенéц* — колодец со студеной водой.

П. П. Ершов

КОНЕК-ГОРБУНОК

Впервые напечатана в отрывке (1-я часть и строки 709—730 из 2-й части) — «Библиотека для чтения», 1834, т. 3, с. 214. Затем отдельным изданием вся сказка (СПб., 1834), но как и отрывок — с цензурными пропусками. После 3-го издания в 1843 г. книга была запрещена, и запрет продержался 13 лет.

Лишь в 1856 г. 4-м изданием сказка напечатана без цензурных пропусков; автор вновь работал над текстом, готовя это издание (его текст воспроизводится во все последующие годы). Кроме того, книга вышла с картинками: семь гравюр были выполнены Л. Серяковым по рисункам Р. К. Жуковского.

Сказка была встречена противоречиво. Одобрена Пушкиным, Жуковским и Плетневым; О. И. Сенковский сопроводил публикацию отрывка восторженным отзывом: «Библиотека для чтения» считает долгом встретить с должными почестями и принять на свои страницы такой превосходный поэтический опыт, как «Конек-Горбунок» г. Ершова, юного сибиряка, который еще довершает свое образование в здешнем университете...» (1834, т. 3, с. 214). Положительные отзывы появились в «Северной пчеле» (1834, 5 октября, № 225), в «Журнале министерства народного просвещения» (1834, ч. 4, с. 142), «Библиотеке для чтения» (1834, т. 6, отд. 6, с. 1).

Отрицательно отнеслись к сказке многие московские литераторы, в том числе Н. В. Станкевич; уничижительно отозвался о ней Белинский, назвавший «Горбунка» «подделкой» и по своему неприятию переделок народных сказок вообще не нашедший в ней «не только никакого художественного достоинства, но даже и достоинства забавного фарса» (Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 1, с. 334).

Сам Ершов, сообщая Ярославцеву о выходе четвертого издания сказки, писал: «Конек» мой снова поскакал по всему русскому царству. Счастливый ему путь! Крестный батюшка его, Крашенинников, одел его очень чисто и хвалит крестника напропалую. Журнальные церберы пока молчат... Но ведь конек и сам не прост: заслышав тому уже 22 года похвалу себе от таких людей, как Пушкин, Жуковский и Плетнев, и проскакав за это время всю долготу и широту русской земли, он очень мало думает о нападках господствующей школы и тешит люд честной, старых и малых, и сидней, и бывалых, и будет тешить их, пока русское слово будет находить отголосок в русской душе, т. е. до скончания века» (Ярославцев А. К., с. 155).

Среди источников «Конька-Горбунка» «Сказка о царе Салтане...» А. С. Пушкина, сказка «Жар-птица и Василиса-Царевна», «Сказка об Иване-Царевиче, Жар-птице и Сером Волке», сходные мотивы встреча-
ются в сказках «Сивка-бурка», «Свинка — золотая щетинка», «Утка — золотые перышки», «Золотогривый конь и золоторогий олень», «Волшебный конь», «Сказка о Ерше Щетинникове» (опубликована в «Московском телеграфе» в 1832 г.), «Сказка о Марке богатом и Василии Бесчастном»; из комической оперы А. О. Аблесимова «Мельник — колдун, обманщик и сват» заимствована песня «Ходил молодец на Пресню».

Через несколько лет после выхода в свет сказки Ершова на книжном рынке начали появляться подделки ее: в течение XIX века было изготовлено более 60 поддельных изданий «Конька-Горбунка». Издатель Крашенинников, выпуская очередное, пятое издание сказки, закончил объявление о нем следующим текстом:

«Предостережение: В июне месяце сего года появилась в продаже другая сказка, носящая название «Конек-Горбунок». В заглавии этой сказки напечатано, что она подражание сказке Ершова. Но слово «подражание» в сравнении с собственными именами напечатано таким мелким шрифтом, что многие могут принять эту сказку за самое сочинение Ершова...»

В 1906 г. на книжном рынке появилась книга «Конек-Скакунок», выпущенная издательством «Ручеек», автор ее С. Басов-Верхоянцев. В ней куски ершовского текста (поддерживающие сюжетное развитие) перемежаются с резкими, обличительными картинами жизни России. Сказка была запрещена цензурой в 1907 году, но еще несколько раз выходила под другими названиями.

В 1864 г. на сцене Мариинского театра в Петербурге поставлен балет «Конек-Горбунок», его автор Ц. Пуни, композитор и постановщик А. Сен-Леон.

С. 356. *Сенни́к,* — сеновал, сенной сарай.

С. 358. *Малаха́й* — меховая шапка с ушами.

С. 359. *Черная бабка* — кость надкопытного сустава коровы, употреблялась в игре как бита.

С. 360. *Жóмы* — тиски.
С. 361. *Зéльно* — сильно.
С. 362. *Яхонт* — рубин.
Седмúца — неделя.
С. 363. *Буерáк* — овраг, яма.
С. 364. *Зáгреби* — горсти.
С. 365. *Петь* — вопросительная частица.
С. 366. *Станичники* — разбойники.
Шайтан — черт.
С. 367. *Содóм* — беспорядок, суматоха.
С. 370. *Двá-пять* — старинная форма числа десять.
С. 371. *Ендовá* — большой сосуд для вина или меда, медный или глиняный.
Сусéдко — домовой.
С. 372. *Каýрко* (каурка) — лошадь рыжеватой масти.
С. 374. *Сы́та* — медовый взвар, пойло, замешенное на меду.
Сусéк — отгороженное в амбаре место для ссыпания зерна.
С. 375. *Белоя́рово пшено* — пшено, кукуруза, отборный корм для коней.
Зóриться — рассветать.
Еруслан Лазаревич — сказочный богатырь, персонаж сказок.
С. 376. *Тáловый* — ивовый.
С. 378. *Ажно* — разве.
Шабалки — шабаш, кончено.
С. 379. *Правéж* — пытка.
Дря́гнуть — дернуть, лягнуть.
С. 383. *Надсесться* — надорваться.
С. 384. *Решеточные* — тюремные сторожа, исполнявшие обязанности и пожарных.
С. 386. *Сúречь* — то есть, иначе говоря.
С. 401. *К водяному сесть в приказ* — утонуть.
Перья — плавники.
С. 402. *Прúчет* — церковные служители одного прихода.
С. 407. *Принудиться* — пригодиться, понадобиться.
С. 410. *Учиниться* — случиться, сделаться.
С. 414. *Ради талáна* — ради удачи, счастья.
Фряжское — заморское, иностранное.

Н. М. Языков

СКАЗКА О ПАСТУХЕ И ДИКОМ ВЕПРЕ

Впервые опубликована в журнале «Московский наблюдатель», 1835, ч. IV, с. 60—66, с посвящением Д. Н. Свербееву и датой: «Языково, 1835».

В последнем прижизненном сборнике писателя («Новые стихотворения», М., 1845) эта пьеса вошла в состав сказки «Жар-птица», ее рассказывает в ней сказочник царю Далмату; текст «Сказки о пастухе...» был вставлен в другую сказку совершенно механически, без каких-либо изменений.

Сюжет заимствован из сборника «Дедушкины прогулки, или Продолжение настоящих русских сказок» (СПб., 1786, 1791, 1805, 1815, 1819 и др.). По мнению специалистов, сюжет этот принадлежит литературной, а не фольклорно-сказочной традиции. Савченко считал, что это «просто анекдот, выбранный из книги» (Савченко С. В. Русская народная сказка. Киев, 1914, с. 97), а Пыпин указал источник сказки — переводная «История семи мудрецов», не имевшая отношения к русскому фольклору (Пыпин А. Н. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских. СПб., 1857, с. 256).

С. 417. *Свербеев* Дм. Ник. (1799—1874) — дипломат, литератор, родственник и друг Н. М. Языкова.

Подобно сфинксу, век пожрет его... — согласно греческой мифологии, крылатая полуженщина-полульвица Сфинкс задавала прохожим неразрешимые загадки и, не получив ответа, пожирала их.

М. Ю. Лермонтов

АШИК-КЕРИБ

Впервые опубликована в литературном сборнике «Вчера и сегодня» (кн. II, СПб., 1846, с. 159—167).

Датируется 1837 г. — временем первой ссылки поэта на Кавказ. В это время он усиленно интересовался местным фольклором и даже начал учить татарский язык (письмо С. А. Раевскому от второй половины ноября — начала декабря 1837 г.).

По-видимому, сказка была рассказана поэту местным кавказским ашугом, азербайджанцем по происхождению, в речи и репертуаре которого отразилось разнообразие этнолингвистических явлений этих мест (подробнее см. прим. М. К. Азадовского к сказке в кн.: Лермонтов М. Ю. Сочинения в 6-ти т. Т. 6. М.—Л., АН СССР, 1957, с. 646—648).

Сюжет сказки является одной из многочисленных вариаций известного на всем земном шаре сюжета «возвращение мужа», или, иначе, «муж на свадьбе у жены» (муж нередко заменен женихом, как в данном случае).

В конце 1880 годов близкий вариант сказки был записан в Шемахинском уезде Азербайджана, опубликован в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа» (т. XIII, Тифлис.

1892). Вариант этот гораздо полнее лермонтовского (в нем множество песен по ходу событий), но очень близок по сюжету.

По мотивам сказки Лермонтова написан Б. В. Астафьевым балет «Ашик-Кериб» (1939), постановка которого осуществлена в Малом оперном театре в Ленинграде в 1941 г., режиссер Б. А. Фенстер.

С. 423. *Турецкая сказка* — подзаголовок объясняется, видимо, тем, что в Закавказье азербайджанский язык называли турецким.

Ашик — то же, что и ашуг, народный певец.

Кериб — странник.

С. 425. *Ча́уш* — младший чин в турецкой армии.

С. 429. *Нама́з* — мусульманская молитва, совершаемая несколько раз в день.

С. Т. Аксаков

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Впервые напечатана в романе «Детские годы Багрова-внука» (1858 г.)

Аксаков поместил ее в приложение, «чтобы не прерывать рассказа о детстве». Вот как изложена ее история в тексте романа: «Эту сказку, которую слыхал я в продолжении нескольких годов не один десяток раз, потому что она мне очень нравилась, впоследствии выучил я наизусть и сам сказывал ее, со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханием Пелагеи. Я так хорошо ее передразнивал, что все домашние хохотали, слушая меня. Разумеется, потом я забыл свой рассказ, но теперь, восстанавливая давно прошедшее в моей памяти, я неожиданно натолкнулся на груду обломков этой сказки: много слов и выражений ожило для меня, и я попытался вспомнить ее. Странное сочетание достаточно восточного смысла, восточной постройки и многих очевидно переводных выражений, с приемами, образами и народною нашей речью, следы прикосновения разных сказочников и сказочниц — показались мне стоящими внимания» (Аксаков С. Т. Собр. соч., т. 1, М., 1955, с. 496).

Содержание сказки известно во многих вариантах в России («Финист ясный сокол», «Заклятый царевич» и др.) и на Западе.

В своих «Воспоминаниях» писатель рассказывает, как еще в детстве прочитал знакомую сказку в книге и под другим названием — это был сборник для детского чтения «Детское училище», а сказка называлась «Красавица и зверь». Позже он встретился с ней еще раз: «Через несколько лет пришел я в Казанский театр слушать и смотреть оперу «Земира и Азор» — это был опять «Аленький цветочек» даже в самом ходе пьесы и в ее подробностях» (См.: Аксаков С. Т. Воспоминания.— В кн.: Собр. соч. в 4-х т. Т. 2. М., 1955, с. 38—39)

Опера «Земира и Азор» основана на том же международном сюжете. Текст ее написал Ж. Ф. Мармонтель, музыку — А. Э. М. Гретри; на русском языке она была напечатана в переводе Марии Сушковой (М., 1783 г.).

С. 433. *Казна* — здесь: деньги.
С. 434. *Жемчуг бурмицкий* — жемчуг особенно крупный и круглый.
С. 436. *Инда* — даже.
Кармазинное — красное.
С. 440. *Запись заручная* — расписка.
С. 442. *Прыскучий* — стремительный, быстрый.
С. 443. *Камка́* — шелковая цветная ткань с узорами.
Мура́вчатый — здесь: поросший травой (муравой).
С. 445. *Венути* — повеять, подуть.
С. 447. *Серёдович* — человек средних лет.
С. 451. *Глас послушания* — ответный голос.





СОДЕРЖАНИЕ





Л 64 **Литературная сказка пушкинского времени** / Сост., вступ. ст. и комм. Н. А. Тарховой; Ил. Н. Г. Гольц.— М.: Правда, 1988.—480 с.

Собирание народных песен, сказок и легенд, переложение фольклорных сюжетов в литературные произведения характерны для многих русских писателей начала XIX века. Настоящий сборник русских литературных сказок объединяет произведения многих авторов — И. И. Дмитриева, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. И. Даля и др. Они вошли в золотой фонд литературы.

Л $\frac{4702010100-1636}{080(02)-88}$ 1636—88 84 Р 1





Составитель
Надежда Александровна
Тархова

Редактор
Е. М. Кострова

Оформление художника
А. Н. Жилина

Художественный редактор
Т. Н. Костерина

Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 1636

Сдано в набор 24.12.87. Подписано к печати 10.05.88. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 30,00. Усл. кр.-отт. 60,75. Уч.-изд. л. 29,16. Тираж 500000 экз.
(1-й завод: 1—100000 экз.). Заказ А-273 Цена 2 руб. 50 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства Татарского обкома КПСС.
420066, Казань-66, ул. Декабристов, 2.




2 р. 50 к.